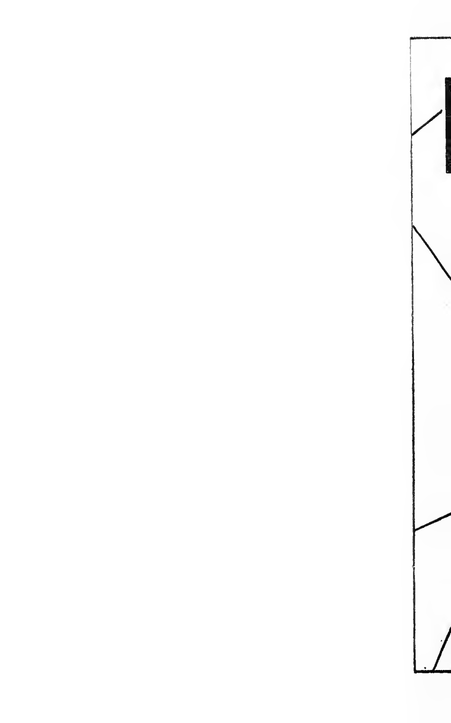
ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВАЛЕРИЙ БАРАБАШОВ

БЕЛЫЙ КЛИНОК





ВАЛЕРИЙ БАРАБАШОВ

БЕЛЫЙ КЛИНОК

РОМАН

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1990

ББК84Р7
Б24

Редактор *А. В. КИРЮХИН*

Барабашов В. М.

Б24 Белый клинок: Роман. М.: Воениздат, 1990. — 351 с.

ISBN 5—203—00644—X

Роман «Белый клинок» раскрывает малоизвестную страницу истории становления Советской власти в Воронежской губернии и, в частности, показывает борьбу партийных и советских органов, чекистов с кулацко-эсеровским мятежом в 1920—1921 гг. В основу романа положены подлинные события, он населен запоминающимися героями, судьбы которых во многом драматичны. Написан в остросюжетной, увлекательной форме.
Книга рассчитана на массового читателя.

Б $\frac{4702010201-008}{068(02)-90}$ без объявл. ББК 84Р7

ISBN 5—203—00644—X

О РОМАНЕ В. БАРАБАШОВА «БЕЛЫЙ КЛИНОК»

В современных условиях, когда многое в нашей истории пересматривается, находятся авторы, которые, похоже, готовы начисто забыть о том, что революция сопровождалась активным сопротивлением свергнутых классов, заговорами и мятежами, террором и саботажем. С этой точки зрения роман В. Барабашова, написанный на фактическом материале и отмеченный печатью строго объективного подхода к оценке событий 1917—1921 гг., убедительно показывает, какая тяжелая борьба выпала на долю первого поколения чекистов ленинского периода.

После свершения Великой Октябрьской социалистической революции Воронежская губерния в течение ряда лет была охвачена кулацко-эсеровскими контрреволюционными выступлениями. Владимир Ильич Ленин уделял исключительное внимание этим опасным политическим мятежам. Известно, например, его телеграфное указание председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Ф. Э. Дзержинскому и заместителю председателя Реввоенсовета республики Э. М. Склянскому, в котором подчеркивалось: «Надо срочно принять архиэнергичные меры! Спешно!»

Антоновский мятеж, названный так по имени его главаря, был одним из звеньев в общей цепи заговоров против Советской власти, организованный и санкционированный партией эсеров. Из тамбовских лесов тянулись невидимые нити в эсеровские конспиративные квартиры губернского центра, в Москву и даже за границу, в белоэмигрантские ставки. Штаб Антонова и «воронежские повстанцы» были крепко связаны между собой.

Самой крупной контрреволюционной бандой в Воронежской губернии была так называемая «Воронежская повстанческая дивизия», которую возглавлял Иван Колесников, выходец из зажиточной крестьянской семьи. Не лишенный определенных командирских данных, Колесников сумел в первое время захватить власть на незначительной территории губернии, в основном силой привлек на свою сторону недовольных продразверсткой, дезертиров и попросту обманутых лживыми обещаниями крестьян.

Политическим знаменем антисоветского мятежа явилась программа реакционного «Союза трудового крестьянства», разработанная эсеровскими идеологами. Эта программа ставила своей

целью свержение власти коммунистов-большевиков. Контрреволюционные силы приспосабливались к обстановке, выдвигали новые лозунги: «За свободные Советы», «Советы без коммунистов», рассчитывая привлечь на свою сторону широкие слои крестьянства. Суть этих призывов оставалась антисоветской.

Центральный Комитет РКП(б) и ВЧК принимали самые решительные, энергичные меры по ликвидации антоновского мятежа как в Тамбове, так и в Воронежской губернии. По существу, предстояло разгромить открывшийся новый, внутренний фронт, собравший в своих рядах до 50 тысяч мятежников, которые уничтожали партийных и советских работников, терроризировали население, сеяли разруху и смерть, всячески вредили Советской власти. Пресечь их деятельность было непросто. Потребовались для этого объединенные усилия партийных и советских органов губернии, частей Красной Армии, чекистов, чоновцев, милиции, отрядов самообороны, которые создавались непосредственно в селах и деревнях.

Думается, заслуга В. Барабашова состоит в том, что он правдиво изобразил в романе это сложное драматическое время, в занимательной форме рассказал о борьбе наших земляков за Советскую власть. Убедительно показаны здесь руководящая и организующая роль Воронежского губкома партии большевиков, часто смертельно опасная деятельность чекистов, беззаветная их преданность партии и народу, мужество и героизм. В то же время говорится и о просчетах на первых этапах борьбы, о сложностях того далекого времени. При этом важно отметить, что это были действия чекистов, которых еще не успело коснуться черное крыло сталинского произвола и беззакония.

«Белый клинок» — это символ опасности, нависшей над молодой Советской республикой, и одна из многих операций, проведенных чекистами ленинского призыва в годы становления Советской власти. Эта операция стоит в славном ряду важных, незабываемых дел Всероссийской чрезвычайной комиссии — детища ленинской партии. И в этом смысле роман В. Барабашова с художественной убедительностью вписывает новую, запоминающуюся страницу в нашу историю.

А. И. БОРИСЕНКО,
генерал-майор,
начальник Управления КГБ СССР
по Воронежской области

ГЛАВА ПЕРВАЯ



Старой Калитвы, разбросавшей дома по крутым меловым буграм, Дон широкой петлей забирает влево, к Новой Калитве, катит сумрачные холодные волны к югу. Калитвянское левобережье — в густых зарослях дубняка и орешника; лес, припорошенный первым снегом, стоит угрюмый и безмолвный. Между слободами, по правому берегу, раскинулся просторный пойменный луг, изрезанный с одной стороны глубокой, со студеными ключами речонкой, Черной Калитвой, а с другой — рыжей стылой дорогой. Дорога тянется от ненадежного деревянного мостка через Черную Калитву, которая дня два назад схватилась тонким молодым ледком, тускло и стеклянно блестела теперь в свете ненастного ноябрьского дня. По Дону прошла уже шуга, застыли мелководье и заводи, мерз во льду камыш. Но середина реки по-прежнему свободна от льда; над Доном поднимался белесый туман, и в этом тумане трудно разглядеть то плывущую вверх дном плоскодонку, то труп лошади, то красноармейскую папаху... Висли над округой низкие брюхатые тучи, сыпался с неба легкий, несмелый еще снег, тянул по низу ветер, разбойничьи посвистывая в голых ветвях прибрежного лозняка, налегая лихой рябью на сонные, неторопливые волны Дона.

Продотряд — несколько пустых, грохочущих подвод, с ссутулящимися на них красноармейцами — только что миновал мосток, трясся сейчас по присыпанному снегом лугу, правил к Старой Калитве. Слобода хорошо видна отсюда, с дороги: красной кирпичной глыбой торчала на ближнем бугре разрушенная в гражданскую войну цер-

ковь, тощие дымки вились над соломенными в основном крышами хат, ветер доносил лай собак.

На передней подводе, кутаясь в тонкую холодную шинель, сунув руки в рукава, сидел Михаил Назарук, местный житель и командир продотряда. Немолодое его, со шрамом через всю щеку лицо хмурилось. Время от времени он оглядывал немногочисленный свой отряд, заиндевевших, бодро идущих лошадей, переговаривающихся красноармейцев. На иных подводах курили, ветер, дувший сбоку, трепал вкусно пахнущие дымки, сорил искрами, и Лыков, сидевший рядом с Назаруком, строго прикрикнул:

— Егор! Клушин! Шинель спалишь, табакур! Глянь, сыплет-то как!

Клушин послушно мотнул головой, стряхнул с полы дымящиеся крохи табака, и Лыков, заместитель командира, удовлетворился этим. Сам он курил аккуратно, самокрутка в его больших, красных от холода руках тлела спокойно, табак не сыпался. Пара гнедых рослых лошадей бричку тянула резво, задавала ход всему отряду — Старая Калитва приближалась быстро.

Лыков, докурив самокрутку, бросил ее под колеса, сказал сочувственно и тревожно:

— Вой твои земляки подымут, Михаил. Считай, неделю назад были.

Назарук, у которого дернулся от этих слов побагровевший на холоде шрам, уронил короткое:

— Ничего, у кулачья хлеба много припрятано. Нехай поделятся с Советской властью. — Помолчал, прибавил жестко: — А в случай чего — заставим, — и похлопал по кобуре нагана.

— Да так-то оно та-ак, — протянул неопределенное Лыков; повернулся в сторону слободы, смотрел.

На пригорке лошади заметно сбавили ход, и Лыков взялся за кнут, стеганул раз-другой пристяжного:

— Но-о, дармоед! Все б тебе полегше. Тяни давай!

Подводы разорвавшейся цепочкой вползли на бугор, миновали церковь, в разбитой колокольне которой гудел ветер и жалобно позвякивал уцелевший небольшой колокол, покатили по Старой Калитве. На подводы тут же набросились слободские собаки, поднялся неистовый злобный лай; из домов кое-где повыскакивали любопытные, сбежалась ребятня. Дед Сетряков, рубивший во дворе хворост, бросил топор, из-за плетня глядел на

продотряд; когда бричка Назарука поравнялась с его домом, Сетряков крикнул визгливо:

— Мишка! Опять, что ль, по сусекам скрести собираисси?

— Значит, собираюсь, — мрачно сказал в ответ Михаил и с сердцем пнул рыжего здоровенного пса, беснующегося у самых его ног. Пес отскочил, а в следующее мгновение набросился на другую подводу.

У дома с самодельной табличкой «Волостной исполком» продотряд остановился. Красноармейцы, довольные, поспрыгивали с телег и бричек, разминались, хлопали друг друга по спинам и плечам. Подводы тотчас окружили — бедно одетая детвора, бабы, мужики. Поспешно приковылял и дед Сетряков — в подпоясанном веревкой кожушке, в стоптанных черных валенках, с клюкой в руке. Пробился к самому крыльцу волисполкома, на котором стояли и негромко разговаривали Назарук с Митькой Сакардиным, председателем, сбил набок треух, навострил голубые, выцветшие от старости глаза.

— Начнем с зажиточных, — говорил Михаил, спокойно поглядывая на толпу. — С отца моего, с Кунаховых...

— К батьке... сам, что ли, пойдешь, Михаил? — спросил Сакардин, щуплый невысокий мужичок в солдатской куцей шинели, и зябко отчего-то повел плечами.

— Могу и сам. А что? — спросил Назарук.

— Ды так... — Сакардин увел взгляд. — Нрав у Трофима Кузьмича известный. Не обрадуется тебе. Хоть ты и сын ему.

— Ну, тут родство ни при чем. Советской власти хлеб нужен.

Михаил повернулся к красноармейцам, зычно крикнул с крыльца:

— Матвеев! Вы с того вон конца начинайте. А ты, Егор, на Ключку паняй. Пацана какого-нибудь возьми, покажет Кунаховых. И лавочник там же, Алексей Фролыч. Лавочника как следует потрясите.

— Мишка! Гусей дразнишь! — погрозил клюкой дед Сетряков. — У лавочника прошлый раз все подчистую выгребли. Обидится.

— Нехай обижается, — Михаил досадливо махнул рукой, сошел с крыльца; улыбнулся Сетрякову: — Ты, дед, чего это: у кулаков заступником, что ли? Мордовали они тебя, мордовали до революции... Сам-то разверстку приготовил?

— А як же! — Дед сплюнул себе под ноги. — Спав и думав: чого б для твоего продотряду сгондобить? То ли возок овсу, то ли пашанички.

Стоявшие рядом с Сетряковым бабы сдержанно засмеялись.

— Миша, да шо ж вы, правда что, вдругорядь до нас явились? — сказала одна из баб, горестно качая головой. — Поотдавали ж все, что було. А вы опять... Чи других сел нема? И Новая вон Калитва, и Гороховка, и Дерезовка...

— Были уже везде, Дарья, — ответил Назарук строго, начальственным тоном. — И везде понимают, что без хлеба Советской власти конец. А как до дому, в Старую Калитву, явишься, так и начинается... Все одинаковы! Разговор окончен.

— Вот батька своего и тряси! — зло выкрикнул кто-то из толпы.

Михаил молча, ссутулившись, пошел к бричке.

— Хоть по цибарке зерна дайте, бабы! — повернулся он в следующую минуту, и смуглое его худое лицо исказилось болью. Михаил сжал кулак, потряс им: — В городах люди мрут! Есть детям нечего! А вы... Дерезовка!.. Голодней и деревни-то не найдешь округ. А все одно — не с пустыми телегами уехали... Расходись по домам! И ты, дед. Хватит тут воду мутить. Ишь, агитатор.

— Дык мы... Как все, так и я, — смутился Сетряков, оглядываясь, ища поддержки у слобожан. — А цибарку... что ж, можно и найтить. Скажу Матрене, нехай скребет...

— Вот и иди, — уже с брички кивнул Михаил. — Подъедем к тебе, жди. Но-о... — дернул он вожжи, и кони рванули с места, понесли Михаила к родному дому.

Трофим Назарук, отец Михаила, черным злым медведем сидел у окна просторной и теплой горницы, глядел в окно. Прибегал только что соседский малец, Васятка, выкрикнул тревожное: мол, продотрядовцы явились, дядько Трофим, в волисполкоме зараз, совещаются. И Михаил ваш там, за командира.

Назарук-старший помрачнел, велел Васятке сгонять за Кунаховым и за хлопцами, Марком Гончаровым да Гришкой, нехай с братцем побалакает при нужде. Глядишь, и образумится Мишка-то. Мало ему, всю Калитву под метлу, считай, выгреб, и опять заявился. Вот шакал! Ну, погодь...

Трофим кинулся было одеваться, теплый и тяжелый кожух накинул уже на плечи, железную занозу в рукав сунул; потом передумал, остыл. Чего это он мотаться по слободе будет? Мишка, не иначе, домой явится, тут и побалакать можно...

Евдокия, наблюдая за ним от печи, скрестила руки:

— Трофим! Чого надумав? Бог с тобою! Родный же сынок, а ты, бачь, занозу!

— Цыц, дура! — прикрикнул на жену Назарук и замахнулся на нее пудовым кулаком. — Дворовой сучке он сынок, а не мне. Ишь!..

Евдокия, и без того маленькая, сухонькая, вжалась в угол у печи, закрыла голову вздрагивающими от страха руками. Нога ее неловко оступилась, загремели ухваты, заслонка.

Назарук-старший грозно расхаживал по горнице, половицы под его ногами постанывали.

— Вот выродок на мою голову взявся! Хлеб ему давай, а! А ты его сеял, ты его молотил?! Пр-роучить мерзавца, шоб другим неповадно було шастать тут!..

Побегав по горнице, Трофим тяжко плюхнулся на лавку, сидел сейчас темнее тучи за буграми, над Доном, вглядывался — не видать ли продотрядовцев? За хлеб свой он не волновался, тот был спрятан надежно, за гумном, но Мишка, паразит, может и сыскать — знает же, где у батька потайные места! Неужто явится? Ну нехай, нехай. Мешок зерна, черт с ним, можно и дать, а на большее, выродок, не рассчитывай... Ох, Мишка, несдобровать тебе, если нос на гумно сунешь!..

Подводы на улице не появлялись, и Трофим малость успокоился — может, и пронесет бог? Не совсем же он, сынок, из ума выжил?! Разверстка разверсткой, а о батьке с матерью тож надо подумать. Хотя, конечно, хлеба у него не на одну зиму припрятано, но родная кровь в Мишке заговорить должна...

Стукнули в другое окно, не с улицы, и Трофим кинулся к нему, увидел Гришку, второго своего сына; с ним были Марко́ Гончаров, с полгода уже как дезертировавший из Красной Армии, и Куна́хов Пронька, шмыгающий красным от вечно пьяной и разгульной жизни носом.

Назарук-старший кинул на голову серую барашковую папаху, на ходу надел кожух, вышел степенно на крыльцо.

— Ну? — спросил он властно подошедших к нему мужиков. — Чего там?

— Да гребут же, Трофим! — жалостливо выкрикнул Кунахов. — Явились до мэнэ... — он пьяненько всхлипнул, — шестеро, або семеро, з винтовками...

— Да чого ты брешешь, Пронька! — укоризненно и весело ухмыляясь, сказал Гончаров, поддергивая, видно, сползающие штаны. — Их всего двое!

— Тьфу-у... — выразительно сплюнул Назарук-старший. — Й ты слюни распустыв? Да шо у тэбэ — вил нема? А, Пронька?

У плюгавенького, мокрогубого Кунахова сам собою открылся рот.

— Да як же это, Трофим Кузьмич? Вилами-то, га? Власть же... Красноармейцы.

— Бандиты это, а не красноармейцы, — наседал Назарук. — Раз — были? Были. Отдав зерно? Отдав. Ну ще отдавай, раз у тэбэ его богато. Так, хлопци?

Григорий Назарук, лицом похожий на отца, а фигурой — тощий, какой-то весь ломаный, из углов, и Гончаров, согласно хлопающий белыми, точно в муке, ресницами, дружно захохотали.

— Та-ак, як иначе?! Мы б тоже натянули шинели да пошли грабить... Га-га-га...

— У них оружие есть? — спросил Назарук-старший Кунахова.

— А? — испуганно переспросил тот.

— Винтовки, кажу, есть у продотрядовцев?

— Есть, а як же, Трофим Кузьмич. Поклалы их у дверей, а сами мешки тягают.

— Ну так иди помогай им. Чого стоишь, халяву раззявив?

Марко Гончаров с Григорием снова захохотали, а Кунахов стал отступать от них — задом, задом, и все кивал, кивал поношенной шапчонкой:

— Ага. Ото ж... Пока мы тут лясы точим, а там, мабуть, и клуня уже пуста... Ха! А я-то, дурак... Власть же...

Так, задом, Пронька Кунахов и выкатился со двора, бросился напрямки, через стылые белые огороды, к своему дому.

— Вы, хлопци, покличьте-ка мужиков на площадь, — сказал Назарук-старший. — Да нехай цацки прихватят, сгодятся, думаю.

— Это мы зараз, бать, — обрадованно подхватил Григорий. — Мы уж и сами думали...

— А моя так завсегда со мной. — Марко Гончаров хвастливо откинул полу серого, сшитого из шинели ватника — из-за поясного ремня торчала рукоять обреза.

— И до баб с этой игрушкой шастаешь? — ухмыльнулся Трофим.

— А чего... Сговорчивей делаются, — маленькие, стального цвета глазки Гончарова недобро блеснули. — На, кажу, подержи.

Все трое загоготали. Гончаров — вертлявый, на голову ниже Григория, но плотный, широкоплечий, — толкнул дружка плечом, и Григорий едва устоял на ногах.

— Ну, сила у тебя бычиная, Марко, — сказал он.

— Бабы не жалуются, — усмехнулся Гончаров.

Михаил подъехал к дому отца вместе с Лыковым. Трофим видел, как остановилась у порога подвода, как старший сын, а с ним еще один красноармеец постояли у плетня, покурили, настороженно поглядывая на притихшие окна дома, потом решительно зазвякали щеколдой в сенцах.

— Входи, открыто! — гаркнул Трофим; он сидел на лавке в белых шерстяных носках, в поддевке, мял сильными пальцами широкую, грабаркой, бороду. Евдокия немо застыла у печи — как сунула кочергу в жаром пышащий зев, так и стояла мертвенно-бледная, вздрагивая всем худеньким слабым телом.

— Здравствуйте, отец, здравствуй, мамо, — поклонился Михаил, а за ним и Лыков.

— Ну здоров, здоров! — насмешливо и зорко тянул Назарук-старший, не меняя позы. — С чем в родный дом явился? Что за гостя привел?

— Да ты, мабуть, догадался уже, — ровно, в тон отцу, сказал Михаил. — Продразверстка. Хлеб городу нужен, власти нашей Советской.

— Хлеб, говоришь... — снова протянул Назарук-старший иронично, спокойно, а потом вдруг вскочил, подбежал к Михаилу, в самое его лицо сунул кукиш.

— А вот это бачив? А?

— Ты поосторожней, отец, — выдвинулся было из-за плеча Михаила Лыков, но Михаил остановил его.

— Погоди, Лыков. Батя на испуг берет, не видишь разве? Попужает да и перестанет.

— Ха-а... — осклабился Назарук-старший. — И не думаю пугать. Предупреждаю, Мишка: из дома ничего не тронь! Где хошь скреби, а дома...

— Трофим! — тоненько вскрикнула от печи Евдокия. — Да там у нас с прошлого года два мешка овса осталось, может...

— Цыц, стерва! — рявкнул на нее Назарук-старший. — Не твоего ума это дело! Горшки вон считай!..

— Где яма, отец? За гумном? — спросил жестко Михаил.

— А нету ниякой ямы, ясно?! Хоть все тут перекопай!

— И перекопаем!

— Бать, да ты чего это? — снова шагнул вперед Лыков. — Михаил — командир наш, неудобно... Надо бы по-людски, а ты... Понимать надо.

— Нету у меня ничего, поняв? — Трофим поднял на красноармейца тяжелый взгляд. — Иди, откуда пришел.

— Хорошо, сами найдем, — мотнул головой Михаил и повернулся к двери. — Пошли, Лыков. Сыщется. Я знаю где.

Они вышли, а вслед за ними вышел из дома и Назарук-старший. Торопливо, не оглядываясь, зашагал он в центр Старой Калитвы, к площади, куда мало-помалу стекался народ. Откуда-то из проулка сунулся ему под ноги слободской дурачок Ивашка — двадцатилетний, в прыщах детина скакал на прутике, другим прутом подгонял «коня», вскрикивал радостно: «Но-о...» Трофим остановил его.

— Чего без дела носишься туда-сюда? На колокольне хочешь позвонить?

— Поп лается, Трофим, — заулыбался Ивашка. — Ухи, грит, оборву за баловство.

— Скажи, я велел. Поняв? И шибче звони, чтоб далеко было слыхать. Погоняй своего скакуна.

— Но-о! — радостно заигогокал Ивашка. — Трогай!

Когда Трофим Назарук пришел на площадь, она уже была полна народу. Бабы, мужики, девки окружили одну из бричек, на которой стоял председатель волисполкома Сакардин и выкрикивал в толпу:

— Граждане слобожане! — Тонкий, не привыкший к

речам голос Сакардина срывался от волнения. — Зря вы тут посбирались и разводите волнение. Продотряду дано задание, никуда от него не денешься. Они тоже люди подчиненные. И я как представитель Советской власти...

— Грабиловка это, а не власть! — перебил Сакардина крепкий мужской голос. — Неделю назад были.

— А что поделаешь, граждане слобожане?! — Сакардин, запахиваясь в шинель, поворачивался то к одним, то к другим слушателям. — Надо быть сознательными, иначе...

— Сам и отдавай, а у нас нету, — вроде незлобиво, больше с усмешкой тянул все тот же мужской голос.

Острым глазом Трофим Назарук нашел нужных ему людей: кучкой, чуть в стороне стояли Григорий, Марко Гончаров, с ними Сашка Конотопцев (этот месяц как дома, тоже наслужился в Красной Армии), лавочник Алексей Фролыч. Стал пробираться к ним, мощными плечами раздвигая мужиков и баб, ронял нетерпеливое, властное: «Дай дорогу!.. Дай дорогу!..»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Егор Клушин со своим напарником, молчаливым парнем, появившимся в отряде дней десять назад, подъехали к дому Кунахова, долго стучали в крепкие дубовые ворота, но никто их, видно, открывать не собирался. Тогда Клушин перемахнул через забор, и тут же на красноармейца набросился черный, гибкий телом кобель. Клушин, недолго думая, положил кобеля выстрелом из винтовки, распахнул ворота, велел напарнику:

— Заезжай!

Тот зачмокал на кобылу, задергал вожжами; подвода вкатилась во двор Проньки Кунахова, который выскочил из хаты, заорал дурным голосом на красноармейцев, а те и ухом не повели. Клушин прикладом винтовки сбил с амбара замок, стал, краснея от натуги, вытаскивать тяжелые мешки с зерном на свет божий, а его напарник ловко подхватывал их, кидал в телегу.

Выбежала во двор и хозяйка, дородная, громкоголосая, стала хватать красноармейцев за руки:

— Та шо ж вы робытэ, хлопци?! Як же нам самим зимовать? У нас же диты!

— А в городе что — не дети? — не прекращая работы, сказал веское Клушин, и рябоватое его вспотевшее

лицо ожесточилось. — Ты глянь какая! И хлеб не весь заберем, оставим, не помрешь. А корову одну уведем, хватит с вас и другой.

— Пронька! Та шо ты стоишь як чурбан?! — заголосила в отчаянии Кунахова. — Уже и корову наладили свести.

Кунахов матюкнулся, бросился со двора, а через несколько минут вернулся со свояком, Евсеем — длиннoруким, огненно-рыжим мужиком. Оба они, Кунахов и Евсей, были с вилами в руках. Евсей с ходу всадил тускло блестевшие зубья в живот Клушину; тот, охнув, выронил мешок, грузно осел на землю. Напарник Клушина скакнул было к винтовке, она стояла прислоненная к телеге, но Кунахов опередил парня, ткнул его в плечо. Парень заверещал по-заячьи, что было силы пустился прочь со двора, на огороды, но споткнулся, упал. Кунахов со свояком набросились на красноармейца.

— Не шастай по чужим слободам... Не бери горбом нажитое... — приговаривал Кунахов, орудуя вилами, а Евсей молча и деловито сопел, выполнял смертную работу расчетливо, споро...

Взбудораженная выстрелами, криками, церковным, ожившим вдруг колоколом, Старая Калитва стекалась на площадь. Колокол гудел хрипло, надтреснуто, покрывая все иные звуки: испуганное фырканье лошадей, людские крики и матерщину, лай собак, чей-то пьяный хохот. На площади перед церковью шевелилась огромная, пестро одетая толпа, плотным угрожающим кольцом охватив растерянных, вскинувших было винтовки красноармейцев и стоящих на бричке Сакардина с Михаилом Назаруком. Михаил поднял руку, долго держал ее над головой в надежде, что толпа утихнет, ему дадут говорить, но попрежнему бухал над головой колокол, гомонили сотни голосов. Тогда Михаил выхватил наган — резко, нетерпеливо треснули в сыром плотном воздухе два выстрела. Завизжали, зажав уши, две разодетые молодайки, стоявшие неподалеку от брички; лениво сплевывающий подсолнечную шелуху Марко Гончаров стал успокаивать их:

— Да он холостыми... Вот если я свою штуку достану... — И Марко, отвернув полу ватника, показал молодайкам тупое дуло винтовочного обреза. Ухмыльнулся:

— На, Маруська, подержи.

Молодайки в ужасе пооткрывали рты, а Марко, довольный произведенным эффектом, завернул похабщину, стал перед самой бричкой, снизу вверх глядя на Михаила.

Колокол смолк, как подавился. Притихли и старокалитвяне. Красноармейцы в длинных, замызганных осенней грязью шинелях, в буденовках с красными звездами поопускали винтовки, прятали покрасневшие от холода руки в рукава, пританцовывали — садился на плечи, на крупы вздрагивающих лошадей снег.

— Граждане слобожане! — снова выкрикнул Михаил, и теперь его слышали все. — Кто-то у вас тут мутит народ. Продразверстку все одно выполнять придется, а кто будет супротивничать и мешать — заарестуем, потому как это политическое дело. А в арестантской, сами соображайте, сидеть удовольствия мало. Так шо отправляйтесь по хатам и укажите нашим хлопцам, куда поховали хлеб, бо возьмем его силой. А за сопротивление властям...

— Нету хлеба, черт косопузый! — зло выкрикнула растрепанная пухлая тетка, подтыкающая в пестрый, с бахромой, платок пряди смоляных волос. — Давеча отряд пришел — выгреб, теперь ты объявился... У нас что тут — бездонная бочка, да?

— Убирайся-а...

— Не для того Советскую власть устанавливали, штоб силком у крестьянина хлеб отымать, нету таких правов!

— Это они сами, продотрядовцы, такие порядки завели. Неохота ж по другим слободам шастать по грязе́, вот и давай с нас два лыка драть.

— В шею его, мужики! Чего рты пораззявили?!

— Ткни его вилами в зад, кум. Штоб знал, как в свою слободу голодранцев водить.

— Повадится волк в стадо, всех овец порежет... Не дадим более хлеба! Нету!

— А ты, Гришка, чего на братца своего зенки таращишь? По сусалам бы заехал разок-другой. А то ишь стоит, красную гадину заслухався.

Григорий Назарук, к которому были обращены эти слова, сплюнул прилипшую к губам цигарку.

— А нехай трепется, — не оборачиваясь сказал он.— Дюже интересно слухать.

— Ты, Гришка, лучше бы молчал и мордой своей тут не маячил, — с сердцем сказал брату Михаил. — За дезертирство ответишь по закону.

— Пугаешь, значит, растудыт твою... — выругался Григорий и вдруг рванул из-за пояса штанов обрез. Но стоявший рядом отец остановил Григория.

— Погодь, — тихо сказал он. — Не порть обедню. Нехай ишо народ позлит.

Михаил стоял бледный, желваки буграми катались по его худым смуглым щекам.

— Калитвяне! — снова крикнул он. — Городу нужен хлеб. Москва и Петроград голодают, в Воронеже на заводах и фабриках хлеба также не хватает, детишки в детских домах и приютах помирают...

— А у нас кто? Щенята, что ли? Тем, значит, отдай, а свои нехай загинаются, так?

— Да у тебя с Тимохой две коровы, овец штук пятнадцать, Ефросинья! — не сдержал злости Михаил, поворачиваясь к наседавшей на него женщине в цветастом ярком платке. — И хлеба возов пять сховали, не меньше. Как тебе не стыдно?!

— А у меня не видно, — захохотала, подбоченясь, Ефросинья, статная, широкобедрая баба, откинув голову и бесстыже оглядывая мужиков. — За собой гляди.

Кругом заволновались:

— Свое считай, Мишка, а не Фроськино. Они с Тимохой с утра до ночи рукам покоя не дают.

— Ишь, грамотей! Батьку, кулака, потряси!

— Сам ты кулак! Поменьше на печи лежи! — тут же влез в спор Григорий, а Назарук-старший снова сдержал его: погодь, погодь...

— У батьки нашего мы воз пшеницы взяли нынче! — громко объявил Михаил.

— Гляди, подависси-и! — Дед Сетряков тянул худую жилистую шею, задиристым общипанным петухом поглядывал на хихикающих, дергающих его за полы кожушка баб.

— Пулю заглотнешь, комиссар! Убирайся, пока живой!

— Не грози, ты, контра! — Михаил снова выхватил наган, навел его на краснорожего сытого мужика по фамилии Серобаба, который выкрикнул эти слова. — Пулю и сам можешь словить.

Сакардин повис на руке Михаила.

— Да ты брось наганом-то махать, Мишка. Надо по-людски.

Серобаба, сотворив зверское лицо, рванул на груди полушубок, заорал дурным, пьяным голосом:

— На! Пали! Бей крестьянина-хлебороба! Последние штаны сымай!

И полез на бричку под общий злорадствующий гогот толпы, раздергивая мотню серых, в полоску, штанов. Красноармейцы стащили его с колеса, затолкали назад, в толпу.

— Тут тебе не цирк! — сурово сказал рослый, в годах, красноармеец. — Игде-нибудь там будешь показывать.

Возле брички зашумели, заулюлюкали, засвистали. Говорить было невозможно, и Михаил, пережидая, оглянулся на Сакардина, что-то сказал ему побелевшими губами. Тот кивнул согласно, присел на мешки с зерном, вздрагивающими пальцами стал вертеть «козью ножку».

Лавочник, надвигаясь на Трофима Назарука круглым, обернутым в добротный белый полушубок колобком, жарко дышал в самое ухо:

— И откуда у тебя такой выродок взявся, Трофим Кузьмич? Уси Назаруки люди як люди, а Мишка... В агенты подався, у родного батька хлиб отымает, та ще хвастается.

Трофим усмехнулся, угольно-черные его глаза недобро блеснули:

— В семье оно не без урода, Алексей Фролыч. Знав бы, что сосунок против батька пойдет, в зыбке еще данул бы да и... А теперь вон, бачишь, усы под носом, наган в руке.

— Так наган и у нас сыщется, Трофим Кузьмич! — Лавочник стал с готовностью кого-то выглядывать в толпе.

— С пушкой погоди, — удержал его Назарук-старший. — Может, Мишка образумится еще. Видит же, не слепой, что бунтует народ. Подождем. Глядишь, миром все кончится. Спровадим продотрядовцев...

— А хлеб... что ж, дарить им, что ли, собрався, Трофим Кузьмич? — не отставал лавочник.

— Мишку проучить надо, проучить, — не слушал его Трофим. — На батьку руку подняв...

Страсти вокруг продотрядовских бричек разгорались. Подъехали еще две подводы, тяжело груженные зерном, и это вызвало новую волну недовольства и злобы. Пошли в толпе перешептывания, какая-то возня, мужики что-то передавали из рук в руки. Красноармейцы забеспокоились, вскинули винтовки, встревоженно поглядывая на

Михаила, а тот строго глянул на них — уберите, мол, оружие; снова поднял руку.

— Лучше отдайте хлеб по добру! — кричал он сквозь нарастающий гул голосов. — Все одно возьмем. И скотину кое у кого заберем, рабочие у станков мрут с голоду... А всякую сволочь, подстрекателей и дезертиров, призовем к ответу, попомните мои слова!..

— Убили!.. Убили! — заполошно, издалека раздались детские голоса, и все присутствующие на площади обернулись на эти голоса: человек пять мальцов, перегоняя один другого, мчались к церкви с дальнего конца улицы.

— Ну, кажись, началось! — сказал Трофим Назарук лавочнику, и тот обрадованно замотал головой, вынимая из кармана полушубка увесистую, на шнуре, гирю.

— Марко! Гришка! — позвал Назарук-старший, и те разом откликнулись, стали продвигаться к продотрядовцам.

— Кого убили? Где? — волновались в толпе; бабы окружили мальцов, расспрашивали их, теребили.

— А там, на Чупаховке! — тыкал тонким грязным пальцем в сторону домов сопливый мальчонка лет десяти. — Дядько Пронька да дядько Евсей... Красноармейцы корову у них тянули... А дядько Пронька вилами... И кобеля у них застрелили...

— Проньку Кунахова убили-и! — заревел вдруг Трофим Назарук, отталкивая мальца в сторону. — Продотрядовцы над народом измываются, а мы все слухаем тут брехню-у... Бей их!

— Не сметь! Это провокация, это... — кричал Михаил, кричал что-то и Сакардин, но Марко Гончаров и Григорий палили уже из обрезов в стоявших поблизости красноармейцев... Стрельба нарастала, у многих мужиков оказались в руках обрезы и винтовки, кто-то орудовал хищно посверкивающей в сером дне занозой, лавочник махал гирей, сам Трофим Назарук бил тяжелым, безжалостным кулаком. Один за другим падали на землю так и не поднявшие винтовок красноармейцы, только лишь одному из них, опытному, видно, бойцу, удалось рвануть затвор винтовки...

Сакардин, убитый Григорием Назаруком, упал с брички беззвучно, с перекошенным от боли и протеста лицом; Михаил выронил наган, оседал в бричке медленно, схватившись руками за живот. «Всякую сволочь... дезертиров...» — были последние его слова: Марко Гонча-

ров расчетливо, с двух шагов, выстрелил Михаилу в спину...

Скоро все было кончено. Гудел еще над головами осатаневший колокол, Ивашка-дурачок строил с колокольни радостно-глупые рожи, и Марко погрозил ему обрезом — хватит, мол, слезай.

Оставшиеся в живых красноармейцы бросились с площадного бугра прочь, на дорогу, по которой приехали, но их настигали, срывали сапоги, шинели. Выстрелы теперь стихли, слышалась только ругань, тяжкие удары. Григорий Назарук ярился над кем-то лежащим, окровавленным, бил его в голову култышкой обреза.

— Гришка-а! — тоненько, по-бабьи, кричал лавочник. — Оставь живого. Ему теперь наш хлебушко долго отрыгиваться будет.

Пять-шесть избитых до крови красноармейцев побежали по дороге, двое из них повернули к берегу Дона; вслед им долго еще свистели, улюлюкали...

Толпа на площади сгрудилась возле убитых, мужики поснимали шапки.

— Что ж вы наделали? Ироды!! — с ужасом вскрикнула какая-то сердобольная худая баба, закрыла лицо руками, затряслась в плаче. Завыли и другие бабы; мужики стояли хмурые, прятали друг от друга глаза.

— Ну, расквасились, — зло бросил Марко Гончаров. — Не мы их, так они б нас.

— Миша!.. Мишенька! — Толпа содрогнулась от душераздирающего крика Евдокии Назарук: простоволосая, с дикими от горя глазами, она бежала по улице к бричке, на которой лежал ее сын, и толпа безмолвно расступалась перед ней. Евдокия упала на грудь Михаила, забилась в плаче.

— Не скули, — грубо оборвал ее Трофим. — Ро́дный сынок хотел голодом тебя сморить, а ты нюни распустила. Людям спасибо скажи, что избавили от такого урода.

Старокалитвяне тесным кольцом обступили бричку, слушали придавленные рыдания Евдокии, молчали. Двое мужиков отнесли в сторонку тело Сакардина, прикрыли лицо подвернувшейся под руку дерюгой.

— Дозволь Михаила по-людски схоронить, Трофимушка! — упала мужу в ноги Евдокия. — Сынок он нам. На свет его пустили-и...

— То-то и оно, что пустили, — буркнул Назарук. — Ладно, хорони. Гришка, Марко... Кто еще? Ты, Конотопцев. Отвезите-ка Мишку к дому. Нехай последний раз...

полюбуется... А винтовки, патроны соберите. Серобаба, поди-к сюда! И ты, Алексей Фролыч. Обмундированию с продотрядовцев посымайте, пригодится. Оружию — вон туда, в волисполком, снесите. Наша теперь власть там заседать будет.

Набросился на длинного, бедно одетого слобожанина, Демьяна Маншина:

— Ты чего стоишь без дела, каланча немытая?! Винтовку выбирай себе, патроны... Вон, тяни из рук. Да не бойся, он теперь не кусается.

Маншин, присев на корточки, осторожно тянул винтовку из рук красноармейца, чувствовал, что его трясет — такое на глазах произошло!.. А попробуй откажись — тут же пальнут, тот же Марко Гончаров, этому только мигни, родную мать не пожалеет.

— И ты, дед, не стой, — велел Назарук-старший Сетрякову. — Кобылка вон в постромках запуталась, подмогни. Хлебушек наш по домам развезти надо. Сам-то сдавал?

— Так ить... не успел, Трофим Кузьмич, — заискивающе гнул спину Сетряков. — Не подъезжали, стало быть, продотрядовцы. А Матрена так с дуру припасла уже.

— Вот и проучи свою Матрену, — посоветовал Назарук. — Тебе что-то никто не припасал... Дурья голова. Иди.

Награбленное обмундирование и оружие сносили в опустевшее здание волостного Совета; повстанческий отряд решили одевать в красноармейское, для маскировки. Тут же, в настывших комнатах, провели заседание штаба. Решили, что командовать отрядом будет пока что Григорий Назарук, заместителем у него назначили Марка́ Гончарова. Зажиточные слобожане также вошли в штаб, им вменялось бесперебойно снабжать отряд продовольствием, а коней — фуражом. Членами штаба стали Трофим Назарук, Митрофан Безручко, Иван Нутряков, лавочник Алексей Ляпота и еще два кулака — Кунахов и Прохоренко. Серобабу назначили комендантом Старой Калитвы, велели охранять слободу день и ночь.

Всех мужиков, от восемнадцати до пятидесяти лет, мобилизовали.

...С площади народ долго не расходился. Свезли в дальнюю балку трупы красноармейцев, кое-как закопа-

ли. Заглядывали в окна бывшего волостного Совета, старались услышать, о чем там идет разговор. Но слушать не давали: Ванька Поскотин и Демьян Маншин, еще утром такие простые и доступные, гнали всех от окон, скалили зубы: «Военная тайна». Наиболее настырных толкали взашей, материли. Дурачку Ивашке Поскотин разбил губы. Ивашка тоненько скулил, плакал; его успокаивали сердобольные старухи, вытирали кровь.

— Вот она, новая власть! — не выдержала одна из баб. — Божий человек, чем он вам помешал?

На бабу зашикали, замахали руками: молчи, дура!

Толкался среди баб дед Сетряков, толковал сам с собою: «Энти хлиб отымали, наши по зубам норовят дать... Кого слухать? До кого притулиться?..»

С площади старокалитвяне расходились подавленные, растерянные. Снег валил вовсю, слепил глаза. Кое-где робко затлели в окнах огоньки, но многие не зажигали света — ложились не вечерявши. Не до еды было. Слобода затихла, притаилась. Лишь только Гришка Назарук с Гончаровым да Сашкой Конотопцевым горланили на улице. Кто-то из них пальнул для острастки из красноармейской винтовки — не терпелось, видно, опробовать. Завизжала собака, грянул еще один выстрел, потом все стихло. Легла на Старую Калитву длинная холодная ночь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Председатель Воронежской губчека Карпунин большими размашистыми шагами ходил по своему кабинету. Он только что получил телеграмму, которая привела его в сильное душевное волнение, досадливо и совестливо думал теперь о том, что случилось на юге губернии. Месяц назад уехал он из Павловска, где работал председателем уездного исполкома, ЧП произошло в соседнем, Острогожском уезде, но теперь все они были «его» — уезды, волости, деревни... Его теперь боль и Старая Калитва. Карпунин, впрочем, и раньше знал от начальника Павловской уездной чека Наумовича, что слобода ненадежная, много там зажиточных, настроенных против Советов крестьян. Но никто еще из них не смел так открыто, с оружием в руках выступать против власти.

Карпунин, затянутый в гимнастерку, коротко стриженный, лобастый, с чисто выбритым хмурым лицом, подошел к столу, снова прочитал телеграмму:

В СТАРОЙ КАЛИТВЕ МЕСТНЫЕ КУЛАКИ И ДЕЗЕРТИРЫ РАЗГРОМИЛИ ПРОДОТРЯД. МЯТЕЖНИКИ ОРГАНИЗОВАЛИ БАНДИТСКИЙ ПОЛК, ТЕРРОРИЗИРУЮТ МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, УНИЧТОЖАЮТ КОММУНИСТОВ, СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ, МИЛИЦИОНЕРОВ. ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ГУБЕРНИИ. ЖДУ УКАЗАНИЙ.

НАУМОВИЧ

— Помощь пока не можем оказать, Станислав Иванович, — подумал вслух Карпунин, садясь за стол и закуривая тонкую дешевую папиросу. — Против полка мятежников одна наша рота губчека ничего не сделает... Время упущено.

Да, несколько дней, что прошли уже с начала кулацкого мятежа, были упущены. Здесь, в Воронеже, о гибели продотряда в Старой Калитве узнали только на третий день. В губисполкоме, да, пожалуй, и в губкоме партии факт этот недооценили — раньше в селах также случались стычки крестьян с красноармейцами из продотрядов, доходило и до драк. Но это, разумеется, была не стычка, а открытый, видимо, подготовленный заранее бунт, политическое вооруженное выступление против Советской власти. Мятежники взбаламутили всю округу, поставили под ружье несколько деревень. Теперь справиться с ними трудно.

Карпунин вызвал дежурного, велел ему найти Любушкина, начальника отдела по борьбе с бандитизмом, а в обиходе — бандотделом. Михаил Иванович скоро явился: чем-то еще возбужденный, с раскрасневшимся явно от спора лицом, в таких же, как и Карпунин, гимнастерке, галифе и сапогах. Небольшого роста, упругий и подвижный, Любушкин быстрыми шагами пересек кабинет председателя губчека, сел у стола в глубокое кожаное кресло, закинув ногу на ногу. Карпунин молча подвинул ему папиросы, и он, поблагодарив, закурил.

— Читал телеграмму, Михаил Иванович? — спросил Карпунин.

Любушкин кивнул: да, читал.

Карпунин понял, что за этим кивком стоит большее — Михаил Иванович уже хорошо изучил обстановку там, в Старой Калитве, наверняка что-то придумал. Он знал Любушкина и раньше, по Боброву, где они работали вместе с Алексеевским, бывшим председателем губчека, в ревкоме — оба считались инициативными, сме-

лыми и быстрыми в решениях людьми. И тот и другой прошли хорошую партийную и чекистскую школу. Любушкин был и на милицейской работе, несколько лет возглавлял губернский уголовный розыск, потом уехал на Украину, воевал с бандами Петлюры. А Николай Алексеевский в свои девятнадцать лет возглавил губчека. Теперь же в связи с событиями в Старой Калитве губкомпарт назначил его чрезвычкомом, то есть комиссаром с чрезвычайными полномочиями при командующем объединенными вооруженными силами губернии — губвоенкоме Мордовцеве.

Словом, губкомпарт, ответственный его секретарь Сулковский уже предприняли важные оперативные меры. Завтра-послезавтра на юг губернии специальным эшелоном выедут вооруженные отряды, собранные со всех уездов, а также разрозненные красноармейские части при ревкомах, комиссариатах. Сила эта немалая, но, судя по всему, гораздо меньшая, чем у повстанцев — они вон полки даже заимели. И Сулковский обязательно вызовет его, Карпунина, и спросит, что они, чекисты, намерены предпринять.

— Так что же будем делать? — спросил Карпунин у Любушкина, глазами показывая на телеграмму. — Положение серьезное. Смотри: каких-то два-три дня прошло, а что кулачье там натворило.

— Тут не только кулаки, Василий Миронович, — возразил Любушкин. — Поработали эсеры, не обошлось, думаю, без антоновской агентуры.

— Есть сведения, Михаил Иванович?

— Кое-что есть, — Любушкин потянулся к пепельнице, смял окурок, отряхнул галифе от табачных крошек.— Родионов накануне восстания успел передать: в Калитву приезжал какой-то человек в офицерской папахе, дня три гостил у Трофима Назарука, собирал людей. Бегали к Назаруку и лавочник, и Митрофан Безручко, и Кунахов...

— Давно это было?

— В конце сентября. Назарук рассказывал соседям: мол, приезжал свояк из Тамбовской губернии, попили самогонки, говорили за жизнь. А жизнь, дескать, там, на Тамбовщине, малость полегче, Антонов дал мужику свободу, отменил продразверстку... Мы установили потом, что «свояк» этот, Лапцуй, — из антоновского штаба, бывший белогвардейский офицер. Кстати, с год назад был

в руках армейской разведки, но каким-то образом бежал. А был приговорен к расстрелу.

— Жаль, что упустили, — вздохнул Карпунин. Он откинулся на спинку высокого, темного дерева стула, повернул голову к окну, за стеклами которого вяло сыпался снег, помолчал.

— Губком ждет от нас решительных и незамедлительных действий, Михаил Иванович. Нужны сведения о повстанцах, о зачинщиках восстания, о вооружении, связях с антоновцами... Кстати, а кто этот «полк» бандитский возглавил?

— Бери выше, Василий Миронович, — уже дивизия. Воронежская повстанческая дивизия, — сказал Любушкин. — Назначили было командиром Григория Назарука, но тот в Красной Армии был рядовым, мало что смыслит в военном деле. Хотели поставить Нутрякова — это кадровый офицер, каким-то ветром занесло его в Калитву... Так вот, Нутряков — штабист, воевал у Деникина. Командовать дивизией отказался. Мол, привык иметь дело с картами, а не с солдатами. Есть там еще одна серьезная фигура, Митрофан Безручко. Этот местный, из зажиточных крестьян, грамотный. Был у Мамонтова, после разгрома бежал, притаился дома. Его на политотдел поставили.

— Ишь ты, — крутнул головой Карпунин. — Даже политотдел?

— Да, взялись за восстание по-настоящему, все признаки регулярной армии. Не зря, не зря приезжал этот «свояк». Антоновская рука чувствуется.

— Сведения твои проверенные, Михаил Иванович?

Любушкин красноречиво поднял брови:

— Что за вопрос, Василий Миронович? Степан Родионов, коренной житель Старой Калитвы, чекистам помогает давно, так что... Его вынудили вступить в один из полков, пригрозили: дескать, откажешься — расстреляем. Собственно, это их основной метод «мобилизации». — Любушкин невесело улыбнулся, а Карпунин по-прежнему сидел хмурый, строгий.

— А связь с Родионовым?

— Через Гороховку. Все там отработано, Василий Миронович.

— Хорошо. — Карпунин расстегнул верхнюю пуговицу гимнастерки, облегченно покрутил головой, спросил: — Какие у вашего отдела предложения, Михаил Иванович? Что скажем товарищу Сулковскому? — при этих словах

он глянул на телефон, словно ждал звонка именно в этот момент.

— Прежде всего разведка, Василий Миронович. Мы представляем положение в Старой Калитве в общих чертах, много неясного. А главное — мы не знаем об их планах, намерениях.

— Так, так, — соглашался Карпунин. — Кого думаешь послать?

— Павла Карандеева, из моего отдела. Он бывший фронтовик, находчивый, в сложной ситуации не растеряется.

Карпунин покачал головой:

— Карандеев заметная фигура. Он работал в Павловске, у Наумовича, его могли там видеть...

— В Старой Калитве он не бывал, Василий Миронович. Я спрашивал. Уехал из Павловска в девятнадцатом году, люди забыли, поди.

— Забыли!.. — с сомнением в голосе повторил Карпунин. — А если нет? Если окажется у повстанцев человек, который видел Карандеева, помнит, кто он такой?.. Нет-нет, не годится так необдуманно рисковать. Давайка, Михаил Иванович... женщину подберем. Дело, понимаю, очень опасное, но женщине там будет легче, убежден. И внедряться, и вообще... Я бы предложил Катю нашу.

— Вереникину?!

— Да, ее. А что? За плечами дивчины голодное детство, гимназия, смерть родителей, общественная и партийная работа, учительство... Главное — ее классовая, непримиримая позиция. Коммунист она настоящий, не дрогнет.

— Она бывает иногда очень прямолинейной, Василий Миронович, ты же знаешь.

— Знаю. Ну и что? Ты подучи ее, расскажи, что к чему... Как думаешь: согласится?

— Согласится, — уверенно сказал Любушкин. — Она ж — огонь девка! Только намекни.

— Ну, хорошо. А связником у нее пусть будет Карандеев. Встречи организуйте в глухих местах... Словом, продумайте. Лучше через Родионова.

— Понятно.

— Теперь вот что, Михаил Иванович. Нужен, думаю, конный отряд, под видом банды. Также для разведки, для установления «контактов» с повстанцами. Пусть эта «банда» будет независимого поведения, анархического, что ли... Действовать надо самостоятельно, создавать ви-

димость грабежей, разбоя... Тут подумать надо хорошенько. Понимаешь, — Карпунин, видно, загорелся собственной идеей, оживился, — с этим отрядом горы можно своротить. Не столько воевать, сколько стараться вмешиваться в их планы, путать их. И — кровь из носу! — заманить главарей банды в ловушку, вызвать их на «переговоры»...

Зазвенел телефон, и Карпунин быстро взял трубку.

— Слушаю. Да, это я, Федор Владимирович... («Сулковский», — сказал он Любушкину, и тот прикрыл глаза — понимаю, дескать).

— ...Федор Владимирович, мы кое-что уже подготовили, Любушкин как раз у меня... Хорошо, через час будем в губкоме.

Карпунин положил трубку, устало потер ладонью лоб.

— Иди, Михаил Иванович, разговаривай с Верникиной. Если согласится... тогда уж и я с ней поговорю. Надо дивчине прямо все сказать. Из Старой Калитвы можно и не вернуться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В первых числах ноября черным слякотным вечером въехал в Старую Калитву одинокий всадник. И сам он, в командирской шинели, с винтовкой за плечами, с белыми ножнами шашки, с притороченным к седлу дорожным мешком, и статный горячий конь были забрызганы грязью — видно, не один десяток верст отмахали они по осенним дорогам. Конь устало пофыркивал, ловил широкими, в пене ноздрями незнакомые запахи, а всадник прямил согнутую многими часами пути спину, нетерпеливо поглядывал вперед.

У дома Сергея Никаноровича Колесникова всадник остановился, грузно спешился. Стоял несколько мгновений, поглаживая влажную шею коня, разминая затекшие ноги. Под сапогами чавкала грязь, шел, видно, в Старой Калитве дождь или снег, сейчас же земля вокруг была черная.

Раздались поблизости голоса, кто-то шел по переулку, матерился, осклизаясь.

Фигуры приблизились; приехавший хорошо теперь различал и голоса, и самих людей. Это были односельчане Григорий Назарук, Марко Гончаров и Сашка Коно-

топцев. Он подивился, что все трое, молодые по возрасту, дома, не на службе, а в следующую минуту они были уже возле него; загомонили, отчего-то радуясь встрече.

— Колесников?! Иван?! Ты?! Здорово! — хлопал приезжего по спине Марко Гончаров, и несло от него крепким сивушным духом. — Откуда взялся? Не иначе от красных сбежал, а?

Подали руки и Назарук с Конотопцевым, эти тоже были навеселе.

Колесников взял коня под уздцы, ответил осторожно:

— Да вот, приехал, батько ж захворав. Письмо в полк пришло, отпустили меня.

Марка́ Гончарова эти слова развеселили.

— Да батьку твоего мы уж с месяц, считай, похоронили, — хлопал он себя по ляжкам. — Ох и поминки были!

— Как?! Что ты мелешь?! — Колесников наступал на Марка́. — Я письмо неделю назад получил.

— Да правда, Иван, правда, — примирительно сказал Григорий. — Схоронили мы твоего батьку, кровью Никанорыч изошел. Дело стариковское, чего уж тут.

Колесников угнул голову.

— А я спешил... — глухо уронил он. Постоял. Махнул рукой, повел коня к воротам дома.

— Слышь, Иван! Погоди-ка! — окликнул его Гончаров, и все трое снова подошли к Колесникову. Из окон дома падал на их небритые хмельные лица слабый свет, в свете этом тяжело, немигающе смотрели на Колесникова насмешливые и холодные глаза Марка́.

— Ты с красными-то... полюбился, чи шо? Служишь у них, братов наших небось ловишь да к стенке ставишь, а?

— Ты к чему это? — не понял Колесников, сглатывая комок в горле.

— Да к тому. Заглянул бы завтра в наш штаб, дело есть.

— Какой еще штаб?! Хватит с меня и штабов, и войны. Шесть годов дома не был, идите вы...

Молчавший все это время Сашка Конотопцев, узколицый, с бегающими, неспокойными глазами, в белом распахнутом полушубке, картинно положил руку на торчавший за поясом обрез.

— Марко вон Мишке Назаруку дырку в башке сделав, Иван, — сказал он как бы между прочим. — Тот то-

же супротив народа пошел. Теперь у него одна забота — землю нюхать.

Колесников, толком не понимая, чего от него хотят, зябко повел плечами, попросил миролюбиво:

— Шли бы вы своей дорогой, хлопцы, а? Ну выпили, ну почесали языки. А человек с дороги, неделю с коня не слезал, по бабе своей соскучився. Должны понимать.

Тройка дружно захохотала.

— По бабе, говоришь? — скалился Гончаров. — Да Оксана твоя сейчас-то дома ли? А то скачи прямиком к Даниле Дорошеву, там поищи.

— Ну! Ты! — Колесников схватился за эфес шашки. — Чего брешешь? Зарублю!

— Не успеешь, Иван, — уронил Марко, сплевывая.— Пока селедку свою доставать будешь, я и того... У меня просто.

Колесникова трясло; он никак не мог задвинуть в ножны наполовину выдернутый клинок.

— Ты гля-а-нь, хлопцы. Шашка-то у него белая, командирская. — Конотопцев, приплясывая, скоморошничая, обошел Колесникова, оглядел его экипировку. — Вострая, а, Иван?

— Да уж о твою башку не затупится, — мрачно отшутился Колесников.

— Ну, чем там, у красных, командуешь? — спросил Григорий, закуривая, пряча огонек цигарки в кулаке. — Сергей Никанорыч хвастался, шо полком вроде, а?

— Каким там полком... Эскадронный. Сейчас вот в отпуску, после ранения, да и батьку ж повидать собрался. — Он вздохнул.

— Обижают тебя красные, Иван Сергев, — тянул свое Григорий. — Я, к примеру, и то полком командую; Сашка вон — разведкой; Марко — при пулеметах. А? Тебе целую дивизию можем дать. Командир, военное дело хорошо знаешь.

— Слышь, хлопцы. — Колесников решительно потянул коня к воротам. — Хватит лясы точить, еле стою. Нашли время для шуток.

Григорий вплотную приблизился к нему, дышал в лицо перегаром.

— Да тут, Иван Сергев, не до шуток. Восстал у нас народ, Советскую власть скинули, сами теперь и власть и...

— Ну? Дальше что?

— Дальше-то?.. Скажи ему, Марко, а то все я да

я. — Григорий, ухмыляясь, отступил чуть в сторону, жадно и нервно затянулся.

— Завтра в штаб приходи, Иван, — веско бросил Гончаров. — Дело есть. А утекёшь если... на себя пеняй. И родню не пожалеем. До люльки всех вырежем.

Опять все трое захохотали, обнялись, пошли прочь, загорланив несуразное, дикое...

Колесников, сжав зубы, смотрел им вслед.

— Дурачье пьяное, — пробормотал он. — Нажрутся и шастают тут... И взялись же откуда-то на мою голову.

Нагнувшись к окну, Колесников постучал; занялся в доме переполох — заметались в тусклом свете керосиновой лампы полуодетые женские фигуры. Чье-то лицо прилипло к стеклу, вглядывалось в ночь.

Услыхав, что ворота отпирают, Колесников потянул коня, но перекладину кто-то неумело и долго вынимал из проушин, которые они ладили года два назад вместе с отцом, и возня эта раздражила его — усталого, падающего с ног.

— Ну кто там возится! — прикрикнул он, и тотчас раздался виноватый, немного заискивающий голос Оксаны:

— Да я это, Ваня, я! Никак ее, подлюку, не вытащу, тяжелая... Параска, подсоби-ка, а то я не сдюжу. Тягни ее книзу, заразу!

«Сама ты зараза, — зло подумал Колесников, вспомнив, что ему сказали хлопцы. — Разберусь с Данилой, гляди, Оксана».

Ворота наконец распахнулись, две женщины бросились к Ивану, повисли на нем. Он стоял спокойный, даже равнодушный к объятиям жены и сестры, Прасковьи, не выпускал из рук повод уздечки, думая о том, что коня надо поставить в сарай, а потом, когда высохнет, напоить.

— Ну будет вам, будет, — урезонил он особо радующуюся его приезду сестру, рослую грудастую Прасковью, и отстранил обеих, ввел коня во двор. На крыльце показалась мать, Колесников подошел к ней, поздоровался.

— Правда... с батькой-то? — спросил он, и Мария Андреевна мелко закивала — правда, правда.

Повернулась, ушла в дом, а Колесников, отдав женщинам мешок с гостинцами, занялся конем: вытер его мокрую, вздрагивающую под руками спину, отнес в сарай тоже мокрое, остро воняющее потом седло, выдернул из лошадиных зубов теплые трензеля.

В доме он появился хмурый, с серым усталым лицом, тоже насквозь провонявший; даже от недельной щетины, казалось, несло терпким лошадиным потом.

Женщины встретили его с радостью, успели уже разглядеть гостинцы; Оксана помогла снять шинель и сапоги, Прасковья сняла с головы брата папаху, повесила ее на шесток у печи, Мария отнесла на лавку шашку, с опаской поставила в дальний угол передней винтовку, а самой меньшей сестре, Насте, не нашлось важного дела, и она у порога, присев на корточки, скребла веником грязные сапоги брата, поглядывала на него с некоторой робостью — такой он стал... грозный, что ли, совсем уж мужик! Да и то, сорок один, а ей всего-то тринадцать. Мать же молчком, но с улыбчивым, радостным лицом возилась у печи, гремела ухватами.

— Воды тебе поставила, — сказала она, оборачиваясь к сыну.

Колесников молча пошел в дальнюю комнату, где в подвешенной к потолку зыбке заплакал в этот момент ребенок, и Оксана торопливо шагнула к ней, закачала с извечным припевом: «Баю-баюшки... а-а-а-а...»

— Танюшке-то два года уже сполнилось, Ваня, — улыбнулась она мужу, а Колесников скользнул равнодушным взглядом по свернувшейся клубочком девочке, отвернулся.

— Данилин ай мой? — спросил он не оборачиваясь, сдергивая резкими рывками гимнастерку. Спиной чувствовал, что Оксана онемела: стоит, видно, с открытым ртом, не знает что сказать.

— Ну? Язык проглотила, чи шо? — уже в белой рубахе, с глазами еще больше потемневшими, беспощадными, повернулся он к ней и стоял, покачиваясь, засунув руки в карманы галифе.

— Да что... что ты говоришь, Иван?! — Оксана зябко охватила себя руками поверх серого, накинутого на плечи платка, вздрагивала всем телом; даже уложенные венчиком темно-русые волосы мелко и заметно тряслись.

— А что знаю, то и говорю, — хмыкнул Колесников, а Оксана, стыдясь, торопливо стала говорить ему, мол, помнишь же, в восемнадцатом году, ты несколько дней был дома, отпускали тебя, за лошадьми посылали на конезавод, вот и... Но он не стал слушать жену, пошел в переднюю, к матери. Сел на скамью у печи, закурил. Спросил, где похоронили отца, и Мария Андреевна рассказала, что исполнили его волю, положили Сергея

Никаноровича рядом с дедом, могилу огородили, а по весне надо бы березки посадить — просил он. Колесников слушал, кивал рассеянно, думал о чем-то своем.

Пришла Оксана, робко села рядом, спросила:

— Надолго, Ваня?

Он не ответил ничего; молчком свернул новую цигарку, выхватил из гудящей белым огнем печи толстую хворостину, прикурил.

— Что ж ты все молчишь, Иван? — не выдержала Мария Андреевна; она закрыла заслонку печи, вытерла о тряпицу руки. — И жена вон спросила, а ты как и не слыхал.

— Жена! — он недобро усмехнулся. — Не успел порог переступить, а уже про Данилу знаю. А?

Оксана, будто ее ветром подхватило, выскочила из передней, задернула занавеску в дальнюю, их с Иваном и дочкой комнату, послышался оттуда сдавленный, глухой плач.

— Про Данилу брешут, — сурово сказала мать. — Оксана у меня на глазах, вижу. Чего уши развесил, слухаешь кого зря?!

— Но шо-сь именно про Данилу и сказали, а не про кого другого? — упрямо возразил Колесников.

Мария Андреевна вздохнула:

— Сказать про человека все можно. Баба шесть годов одна. Ты явишься, побыл день-два и был таков. А злым языкам покою нету... Теперь-то долго дома будешь?

Колесников вытянул ноги к теплу, пыхал самокруткой. Сказал неопределенное:

— Покамест нога заживет.

Мария Андреевна оставила ухват, подошла к сыну, вгляделась в лицо.

— Ты чего надумал, Иван? — спросила с тревогой.— Или списали тебя с Красной Армии?

— Спишут, как же! — хмыкнул он. — Третий раз уж дырявют, а малость шкуру залижешь — и опять, айда на коня да за шашку.

— Соседи... браты твои что скажут, Иван? — Мария Андреевна всплеснула руками. — И Григорий, и Павло... письма ж поприсылали, про тебя спрашивают, как ты там?

— Чего про меня спрашивать, — хмурился, отворачивал лицо Колесников. — У каждого своя дорога. Они в армии не так давно, может, им это в охотку, а я шесть годов вшей кормил. Да и за что, главное? В старое время

у нас и кони, и коровы, и земли сколько было. Хозяйство вон какое батько держал! А сейчас, при новой власти, где все это? Кому поотдавали?

— Власть поддержать надо, сынок, — горестно вздохнула Мария Андреевна. — Вишь, тяжко-то как. Голод в нонешнем году, смута. Да и многие сейчас бедно живут.

— Лодыри — они всегда бедно жили! — вспылил Колесников. — А мы с батькой да с дедом, помню, от зари до зари землице кланялись, рук и горба не жалели. И все прахом пошло. Все! Воюй теперь неизвестно за что. Нашли дурака. Коммуны, социализм... Шо это такое?

Мария Андреевна не знала, что сказать сыну. Про коммуны эти она и сама толком не слыхала, сердцем чуяла в словах сына какую-то неправду, злость, но возразить ему не сумела.

«Нехай недельку-другую полечится, отдохнет, — подумала она. — А там видно будет».

Заплаканная Оксана шмыгнула из-за занавески, стала помогать Марии Андреевне у печи, на мужа поглядывала с обидой, испуганно. Колесников смотрел на ее склоненное лицо, сгибающийся в работе стан, полные ноги в грубых, домашней вязки чулках.

«Бегала, бегала к Даниле, — думал он. — Дыма без огня не бывает. Ну ладно, хромой черт, попадешься ты мне в темном проулке...»

Но зло свое он сорвал на жене. Когда вода в чугуне согрелась, Колесников разоблачился за занавеской у печи, позвал Оксану, велел мыть его; придравшись («Куда льешь такую горячую, лярва!»), ударил ее, коротко и хлестко, шипел в самое ухо: «Узнаю точно про Данилу, уродкой зроблю, поняла?»

Оксана молча глотала слезы, поливала ему из ковша, а он, сатанея и все больше распаляясь от ее молчания, всей кожей чувствовал женину ненависть к себе.

За стол сели поздно; помянули Сергея Никаноровича, женщины поплакали, повздыхали, а Колесников сидел безучастный ко всему, мрачно гладил деревянным гребешком короткие, мокрые еще после купания волосы, сердито поглядывал на жену. Оксана почти не ела, сидела за столом подавленная, грустная.

Спать легли за полночь. Оксана подчинилась его ласкам равнодушно, щеки ее по-прежнему были мокрыми.

— Ладно, будет тебе, — сказал Колесников грубо. — Не любил бы, дак и не трогал — гуляй с кем хошь или вовсе со двора иди. А тут... Народ зря брехать не будет.

Он ждал, что Оксана после этих его слов станет оправдываться, в чем-то, может, и признается — ну, встренулись на улице с Данилой, случайно, в одной же слободе живем, поговорили минутку, так что с того? Как с живым человеком не поздороваться, молчком, что ли, оббегать его? Ну, и ухаживал за ней Данила в молодости, нравилась она ему, но жена-то я твоя, Ваня, за тебя пошла! А что языками брешут — так завидки людей берут, красивая я у тебя, всякий бы мужик прилабуниться готов, да что ж она — распутная какая, что ли! Шесть годов верой-правдой его ждала и еще ждать, сколько надо, согласна... а он сразу руки распускать! И он бы помягчел от ее слов и теплых слез, может, и прощения бы за битье попросил... Да какое это битье, господи! Разок и съездил по шее. Но она не сказала ничего, и слезы ее упрямые какие-то, себя, видно, жалко, ишь!

Колесников встал с постели, курил у окна; вернулся в кровать озябший, с заледеневшими на голом полу ногами.

— Что тут, в Калитве, стряслось? — спросил он. — Маркá Гончарова с Гришкой да Конотопцевым встренул, болтали всякое.

— Продотрядовцев они, бандюки, побили, — жалостливо всхлипнула Оксана. — Совет наш разогнали, Сакардина с продотрядовцами порешили, войско сколотили... Ой, шо тут було, Иван! Всех мужиков в слободе мобилизовали.

Она привстала на локте.

— Тебя, мабуть, тоже привлекут, а? Ты бы ехал в свой полк, Иван? Мы уж как-нибудь одни тут перебьемся.

— В полк, говоришь? — Колесников посопел в раздумье, спросил: — Лапцуя, Ефима, помнишь? Ну, который у церквы жил?.. Ну вот. Он у Деникина был, потом, когда их разбили, в банде какой-то отирался, на Украине. Словили его у нас, под Новочеркасском. Узнал гад один, богучарский. Трибунал Лапцуя к расстрелу приговорил. Ну, а перед этим толковали мы с ним. Что ж ты, говорит, шкура продажная, за красных воюешь? Против самого себя идешь, Иван! Вы-то, Колесниковы... Да на таких Россия сколько веков держалась, опора государству российскому была. И в царской армии ты, Иван, господин унтер-офицер был. А сейчас кто? Ну, эскадронный, так что с того? Шашкой впереди других махать, под пули первым лезть. И было бы за что. Был ты с батькой зажиточным хозяином, а сейчас что у тебя? Коняка, да и та

казенная. Тьфу!.. Я и думаю: а правда ведь! Затеяли большевики мясорубку, а ты и суй в нее то руку, то ногу. Кому мою голову жалко? Да никому!.. А в старое время хвалили меня, мол, способный до военных наук, хоть на полк ставь.

— Может, тебя и назначут еще? — с надеждой спросила внимательно слушающая мужа Оксана и, поколебавшись, придвинулась к нему ближе — теплая, забытая. — В слободе тоже говорят, шо ты башковитый до военных дел.

— Теперь мне дорожка назад заказана, — уронил Колесников. — Лапцую побег организовал, наган ему дал, он охранников побил. Потом, через знакомых, шашку эту белую от него получил в подарок.

— Ой, Ива-ан... — Оксана села в постели; струились с ее головы темные душистые волосы, щекотали его грудь. — Что ж ты наделал?! Как людям в глаза смотреть? Вдруг узнают, что... Сообчат или...

— Да какие люди, дура! — зло зашипел Колесников. — Кто про Ефима знает? Ни один человек, кроме тебя. А ты гляди помалкивай, не то... — он жестко сгреб ее волосы, потянул. — Жизнь, она всяко еще может повернуться. Новой властью недовольные в пароде, и армия тоже не вся на стороне большевиков, слухи там разные ходют. Переждать надо, поняла? Ногу я долго лечить буду, травить знаю чем, фельдшер в полку научил...

Завозилась, заплакала в зыбке Танюшка, и Оксана соскочила с кровати, тихонько говорила дочери что-то ласковое, нежное, а голос ее то и дело срывался, вздрагивал.

* * *

Оксана долго еще не спала, плакала. На душе было обидно, горько — почему Иван так жесток с ней? И какой она дала для этого повод? Была у нее в молодости с Данилой Дорошевым «любовь» — провожал он ее несколько раз, да на гулянках вместе сидели. Что ж теперь...

Поплыли перед ее глазами картины далекого прошлого: какой-то праздник, шумная Калитва, молодежь у одного из домов, на завалинке. Иван Колесников — с гармошкой, гармонистом он славился на всю округу. Заиграет — ноги сами в пляс идут...

И видится ей, как будто это было вчера, широкий круг, девки, парни, она, Оксана, среди них. Здесь же и

Марко Гончаров, Гриша Назарук с братом, Михаилом, Данила Дорошев и сестры Ивана — Мария и Прасковья. Настя — третья его сестра, тогда совсем еще девчонкой была, Мария Андреевна на гулянки ее не пускала...

А Данила и тогда был красивенький, она его и вправду любила, но тайно, с опаской. Иван так и зыркал за ними глазами, никогда ее одну не отпускал.

А в тот вечер Данила, прихрамывая (он еще в детстве сломал ногу, упав с коня, так она у него и срослась неправильно), подошел к ней, спросил несмело:

— Можно, я провожу тебя, Оксана?

Она не ответила ничего, только плечами повела. Но сердце забилось часто-часто. И хотелось ей, очень хотелось, чтобы Данилушка проводил ее до хаты, говорил ей хорошие ласковые слова, может быть, и обнял бы...

Какая-то сила сорвала Оксану с места, она влетела в круг, запела частушку:

Меня милый целовал,
К стеночке приваливал.
Он такую молодую
Замуж уговаривал.

Частушка многих рассмешила, а больше, может, саму Оксану — слыла она дивчиной серьезной, песни любила петь протяжные, сердечные. А тут вдруг — частушка.

Влетел в круг и Марко Гончаров, выкрикнул развязное:

Целоваться — не грех,
Стыда никакого.
Губки бантиком сложи —
Раз-два и готово!

Приплясывая, Оксана остановилась против Данилы Дорошева, смутила парня очередной частушкой:

Я по садику гуляла,
Вишенка висела.
Меня милый целовал,
А я его не смела.

Колесников, не прекращая игры, втиснулся между Оксаной и Данилой, смотрел на них с холодной какой-то улыбкой, от которой Оксане стало не по себе, и она — боком, боком — выскочила из круга, села поодаль... Уж сколько лет прошло, а она до сих пор помнит и тот, Иванов, взгляд, и смущенного Данилу, и ненатуральное какое-то веселье в кругу. Много было пьяных парней, те

же Марко с Григорием, да и Иван тоже был хорош, разило от него сивухой... А Данилушку она никогда пьяным не видела, и это ей нравилось. Был бы он немного посмелее, что ли, понастойчивее. Может быть, в тот вечер пошла бы она с ним, а не с Колесниковым... Ведь ничегошеньки у них не было с Иваном решено...

Оксана вытерла слезы, вздохнула. Что это она? Сколько лет уже мужняя жена, дите вон в зыбке. За Ивана пошла хоть и без любви, но с охотой: дом их был зажиточным, хотелось ей хоть как-то из бедности выбиться. И мать тоже — иди да иди, Ксюшка, за Колесникова. Вот и пошла. Радости особой не испытывала никогда, все работа, работа... Мария Андреевна, правда, и сама без дела никогда не сидит, но и дочерям и невестке прохлаждаться не позволит. А уж когда Сергей Никанорыч слег, тут им всем работы прибавилось. Но она все равно никогда никому не жаловалась — жила и жила, что ж теперь. Дочку Ивану родила, с первой мировой войны его ждала, потом с гражданской. Теперь и гражданская кончилась, а покоя все нет. Иван вон что рассказал, сердце у нее прямо обмерло. И волком на нее кинулся. Сколько не видел, а первым делом — обижать, руку поднял...

Оксана снова заплакала; забылась потом в тревожном, неглубоком сне.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пришли за Колесниковым к обеду.

Застукотели вдруг в сенцах чужие грубые шаги, раздались по-хозяйски уверенные голоса, и в переднюю ввалились все те же Григорий Назарук, Марко Гончаров и Сашка Конотопцев. Вооруженные, с пьяными физиономиями, они сразу заполнили собою весь дом — сивушным и табачным духом, развязным хохотом, сальными шуточками.

— Ты глянь, девки-то какие. — Гончаров подмигивал Григорию. — Повымахали, а? Чего невест хоронишь, тетка Мария? На гулянках Колесниковых нема, на улице нема... Сватов вон за Параску хочу заслать.

— Не шуткуй, не игрушки, — нахмурилась Мария Андреевна. — Девки как девки. У тебя их до черта. Хоть Глашка Свиридова, хоть Настька Чеботарева. Надоели, чи шо?

— А может, и надоели, — согласился с ухмылкой во

весь рот Марко. Увидел выходящего из горенки Ивана, повернулся к нему. — Ну, как почивали, красный командир? Не болять ли бока?

— Чего тебе? — сухо спросил Колесников, настороженно оглядывая всех троих.

— Да чего... — Гончаров скинул рыжий лисий малахай, почесал пятерней слипшиеся волосы. — Ждали-ждали тебя в штабе. Мабуть, кумекаем, не выспався ще после дороги, не накохався с жинкою... А дела не ждут, Иван Сергеевич.

— Вы шо это надумали, хлопцы? — Мария Андреевна стала между Гончаровым и сыном. — Человек до дому приехал, нога вон у него раненая, а вы...

— Девок пам своих не даешь, тетка Мария, — Гончаров сплюнул на пол, — придется сына у тебя забрать. Сама знаешь, в Калитве военное положение, мужиков мы всех мобилизуем. А Иван — командир, человек грамотный.

— Да оставьте его, хлопцы, он же хворый! — Мария Андреевна заломила руки, лицо ее исказилось болью. — Оксана! Дивчата! Да шо ж вы стоите?! Иван! Ты-то чего молчишь?

Колесников стал собираться. Рукой оттолкнул бросившуюся к нему Оксану, хмуро глянул на мать.

— Надо сходить, чего там скажут. Делать им тут нечего. Я скоро. Коня моего напоите.

— Коня напоите, — хохотнул Григорий, вставая с лавки. — А то вдруг ехать нынче придется.

Трофим Назарук, в распахнутом полушубке и без папахи, которая лежала на столе, сидел на председательском месте, что-то рассказывал внимательно слушавшим его лавочнику, Алексею Ляпоте, и Прохоренко с Кунаховым. Те смолили самокрутки, посмеивались, развалившись вокруг стола — кто на табуретах, кто на неизвестно как попавшем сюда диване с вылезшими пружинами.

С появлением Колесникова все примолкли, смотрели на вошедших с интересом, стараясь прочитать на их лицах какой-то важный для всех ответ. Но лица самого Колесникова и сопровождающих его мужиков были непроницаемы. Трофим Назарук поднялся из-за стола, пошел навстречу Колесникову, вытянув вперед руки, улыбаясь приветливо, радушно.

— Ива-ан Сергев! Скоко годов тебя не видел!.. Ну

здорово, здорово! — Он хлопал его по плечам. — А заматере-ел ты, заматере-ел, — и одобрительно оглядывал его рослую внушительную фигуру в ловко сидящей шинели, перехваченной ремнями, любовался его командирской осанкой. — Хоро-ош!

Трофим оглянулся на вставших со своих мест и приблизившихся к ним Прохоренко с Купаховым, как бы приглашая их разделить его восторги; те тоже потянулись к Колесникову с улыбками и рукопожатиями, а лавочник попытался даже приобнять Ивана, но малый рост не позволил ему это сделать — Ляпота ткнулся подбородком в грудь Колесникову.

Колесников отвечал на приветствия сдержанно, без ответных улыбок, с каждой минутой все более тревожась, настораживаясь. Шагая по Старой Калитве в сопровождении Гончарова, Назарука и Конотопцева, понял, что вчера с ним не шутили: по слободе носились вооруженные всадники, многих из которых он знал; у штаба стояли две тачанки, рыла «максимов» зорко поглядывали по обе стороны улицы, у крыльца переминались с ноги на ногу часовые. У церкви, на утоптанной рыжей площадке, вышагивали мужики, в основном молодые, слышались команды, ругань. Возле марширующего воинства стояла толпа зевак, смотрела на все происходящее с интересом, серьезно, лишь пацаны носились вокруг с гиканьем и смехом. Возле соседней со штабом хаты, в облезлом сейчас, голом садочке Колесников увидел пушку — возле нее возились с десяток мужиков, о чем-то громко спорили.

Трофим Назарук жестом предложил Колесникову сесть, и тот, чувствуя в ногах дрожь, сел, выдавив из себя слабую улыбку. В штабную комнату входили все новые и новые люди, и Колесников понял, что ждали здесь его появления, что состоится сейчас какой-то очень важный для него разговор.

Входили, вероятно, приглашенные на заседание штаба: Иван Нутряков, Митрофан Безручко, Богдан Пархатый из Новой Калитвы, Ульян Серобаба... Каждый из них подходил к Колесникову, подавал руку, говорил что-нибудь вежливое, нейтральное: «С приездом, Иван!», или «Радый бачить, Сергеевич!», или «Как она, жись-то?» Он, чувствуя, что внутри все мелко-мелко дрожит, отвечал на приветствия, мгновенно забывая то, о чем говорил, и того, к кому обращался. Мысль Колесникова работала напряженно: он окончательно понял, что влип в нешуточное дело и что надо скорее найти какой-то выход — чем

скорее, тем лучше. Слободские повстанцы взяли его практически в плен, и теперь он знал точно, чего от него хотят. Собственно, ему сказали вчера об этом Назарук и Гончаров, но вчера он все-таки не придал этому значения, думал — болтовня пьяных людей, местного хулиганья. А здесь — вооруженное восстание, у повстанцев пулеметы, пушка, строевые занятия на площади у церкви. М-да-а... И все-таки надо попытаться потянуть время, сослаться на ранение, не ввязываться в эту заварушку.

— Ну, як ты там? — добродушно спросил Трофим, ласково поглаживая черную свою, лопатой, бороду, и Колесников вскинул на него быстрые, заметно испуганные глаза — не понял вопроса.

— Да у красных, спрашиваю, як служишь? С душой або по принуждению?

— Служу... — неопределенно повел плечами Колесников и кашлянул в кулак. — Власть.

— Ну, власть... власть это дело такое. — Назарук обвел веселым взглядом мертво сидящих членов штаба. — Сегодня одна, завтра — другая. В семнадцатом году вон царь у нас был. А в Калитве так и Советы заседали, Жимайлов с Сакардиным тут верховодили, — он усмехнулся. — Теперь червей кормют...

Вошел еще один человек, Колесников его тоже знал, Иван Поздняков, в шестнадцатом году служили с ним вместе в кавалерийском полку. Тот склонился к уху Григория, что-то сказал, потом сел на подоконник, расстегнул полушубок, поигрывал плеткой. На Колесникова смотрел ободряюще, подмигнул смешливым глазом: чего, мол, белый сидишь и роса на лбу? Не дрейфь, ничего с тобой не случится.

— Батька твоего, жаль, нету с нами, Иван Сергев! —сказал Трофим с чувством. — Не дотянул Сергей Никанорыч, не дотянул... Жаль.

— Вы... зачем меня позвали сюда, мужики? — Колесников не узнал своего голоса. — Я в отпуску... Батьку собирался побачить...

Назарук-старший усмехнулся:

— Знаем тебя не первый год, Иван Сергев, потому и позвали. То, что у красных служил, не беда, и другие там были, — Трофим медлил. — Восстал у нас народ, Иван. Антонова Александра Степановича решили поддержать. Життя от коммунистов не стало. Голод, продразверстка, мать иху!.. Власть нам эта дюже не по душе. Поотымали все, воевать заставляют.

— У меня нога вон... — Колесников, морщась, вытянул ногу. — Да и дома делов невпроворот, бабы одни.

— Да делов — оно, конешно, у всех много, — согласился Назарук. — И бабы тож... Нехай они подождут, бабы. Тут теперь не до них, важное дело затеяли... Командовать у нас некому, Иван. Хлопцы ж, в основном, рядовыми были, а командиров — черт ма. Ну, Иван Михайлович хоть и служив в частях, — он глянул на склонившего в согласии прилизанную голову Нутрякова,—но при штабе был. Он и у тебя, Иван, штабом будем заворачивать. Безручко Митрофан — этот больше балакать любит, говорун, политотделом направляе... Позднякову Ивану мы кавалерию отдали, любит он ко́ней. Гришка мой — Старокалитвянский полк возглавив, Богдан Пархатый — в Новой Калитве народ подняв, там полк. Сашка Конотопцев — твои глаза и уши, разведка, стало быть. Марко Гончаров до техники потянувся, пулеметная команда у него под началом. Ну, кто еще?.. Артиллерии пока мало у нас, Серобаба вон за начальника над пушкой. Ну, и комендантом заодно.

— А если я откажусь? — шевельнулся на табурете Колесников.

Трофим, выщипывая из бороды табачные крошки, засмеялся.

— Да не, Иван, не откажешься. Мы ж не с бухты-барахты тебя выбрали. Цэ дело серьезное, нешуточное. И карты тебе все пораскрывали, куда ж теперь? Командуй. А побежишь — так родне твоей и Оксаниной не жить. Да-а... Батько твой наказывал нам перед смертью — Ивана от Красной Армии отлучить, подневольный он там человек, до Советской власти не дюже ластится. И привет тебе... чуть не забув! — хлопнул себя по лбу Назарук. — Ефим Лапцуй передавал. Живой, здравствует. На службе у Антонова.

— Какой... Лапцуй? — Колесников похолодел.

— Да наш, калитвянский. — Трофим засмеялся. Какого ты от большевистского расстрелу спас. Кланяется тебе.

— Мне надо подумать, Трофим Кузьмич, — хрипло выдавил Колесников.

— Подумай, Иван Сергеев, подумай, — охотно согласился Назарук, тоже вставая. — Ногу мы подлечим, врач у нас есть. Зайцева помнишь? Нет? Ну цэ не так важно. Поезжай сейчас до дому, вон у крыльца тачанка твоя, охолонь чуток. А чтоб не обидел кто — Опрышко Кондрат

да Филимон Стругов будут у тебя вроде как телохранители, ординарцы, а? Паняй, Иван.

Колесников, ни на кого не глядя, пошел к двери; у крыльца, запряженная тройкой вороных, действительно стояла уже тачанка, с которой спрыгнули два слобожанина — здоровенный Кондрат Опрышко и вертлявый, рябой лицом Филимон Стругов.

— Прошу, ваше благородие! — осклабился Кондрат, жестом приглашая Колесникова в тачанку. — Сидайтэ!

Стругов правил в тачанке лошадьми, а Опрышко скакал рядом на рыжем дончаке, покрикивал на встречных:

— Эй, с дороги! Командир едет. Ну, кому сказав?! — И замахнулся плеткой на стреканувшего в сторону мужичка.

* * *

...Дома Колесников был с полчаса, не больше. Покидал в сидор кое-какие пожитки, взял шашку, наган. Велел Насте пришить покрепче пуговицу на шинели, сменил портянки на высохшие уже после стирки шерстяные носки.

Мать приступила с вопросами, стала на дороге.

— Та ты шо, Иван, в своем уме, а? С бандюками связався! Не пущу-у!.. Не позорь братов своих, меня не позорь! Народ на все века проклянет нас, одумайся!.. Оксана! Да что ж ты чуркой стоишь?!

Оксана бросилась к мужу, запричитала; испуганно толпились в дверях горницы сестры.

Колесников с перекошенным лицом оторвал от себя жену. Почерпнул из цибарки ковш ледяной воды, жадно выпил — сох отчего-то язык. Потом раздраженно спихнул с дороги мать, вышел из дома, с сердцем пристукнув тяжелой, обитой мешковиной дверью.

...Этой же ночью Колесников сбежал. Выйдя из штабной избы, направился к нужнику, через щель в двери оглядывал залитый лунным светом двор, прикидывал, в какую сторону лучше податься, чтоб не потревожить собак и не напороться на караулы. Пошел низом, огибая Старую Калитву с луга, поминутно оборачиваясь, вздрагивая от малейшего шороха. Потом побежал вдоль голых кустов тальника, пригибаясь, прячась за ними, понимая, что его все равно хорошо видно со слободских бугров, и если за ним уже наладили погоню... Но погони не было, штабные и его охранники, видно, безмятежно спали. Сей-

час он зайдет домой, оденется потеплее (выскочил же, считай, раздетым, в одной гимнастерке да сапогах на босу ногу), прихватит провианту хотя бы на сутки и — поминай как звали, ищи ветра в поле. Искать его бессмысленно, местный, все тропки-дорожки с мальства знает. Только бы добраться до дому... А насчет баб, мол, не жить им, если утекешь, — Трофим пугал, не иначе. Бабы-то при чем? Ну, а если и случится... что ж, на все божья воля...

Старая Калитва спала, и Колесников благополучно добрался до родного дома, перемахнул через ворота и... обмер. Три молчаливые темные фигуры, стоявшие у крыльца, бросились к нему, так же молчком стали бить, и Колесников единственное, что мог делать, так это закрывать лицо руками.

Били его долго и жестоко, до тех пор, пока он не упал.

— Ладно, Евсей, будет, — скомандовал Гончаров. — А то совсем прибьем. А он нам живой нужон. Гришка, помоги-ка подняться.

Назарук подхватил Колесникова под мышки, сильным рывком поставил на ноги. Колесникова качало из стороны в сторону.

— Ты что это... собака! — сплюнул он кровь, угрожающе надвигался на Гончарова. — На кого руку подняв, а?!

— Та мы же не разобрали в темноте, Иван, — ехидно засмеялся тот. — Бачим, хто-сь через ворота лезет, може, ворюга який... Ну, мы и того... Ты уж извиняй, командир, шо так получилось.

В доме Колесниковых затлел огонь; разбуженные голосами, выскочили на крыльцо полуодетые женщины — Мария Андреевна и Оксана.

— Шо тут робытся?! Иван?! Ты это?

— Я, я, — недовольно отвечал матери Колесников. — Чего раскудахталась? Воды вынеси, рожу сполоснуть.

— А лучше по стакану горилки, — хохотнул Гришка Назарук. — Для здоровья оно полезней.

Оксана, которую трясло как в лихорадке, ахнула:

— Они ж тебя убить могли, Ваня!

— Зато вы жить будете, — с сердцем и злобой в голосе рванулся он из ее рук, шагнул навстречу матери, выхватил у нее ковш с водой...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Из губкома партии Карпунин возвращался вместе с Любушкиным. И председатель губчека, в аккуратно сидящей на нем шинели, и начальник бандотдела, одетый в короткий белый полушубок и кубанку, молчали, обдумывали услышанное. Сказано было в губкоме не так уж много, но говорились серьезные вещи.

Сулковский принял чекистов с губвоенкомом Мордовцевым и чрезвычкомом Алексеевским, совещание шло за закрытыми дверями, только они, пятеро, знали пока что самое главное, то, что намечалось, планировалось на ближайшие две-три недели. Сулковский напомнил, что на состоявшемся на днях совместном пленуме губкомпарта и губисполкома говорилось о восстании в Старой Калитве со всей откровенностью и тревогой за судьбу Советской власти в губернии. Положение усугублялось тем, что летом этого года вновь вспыхнуло восстание на Тамбовщине. Бои частей Красной Армии с антоновцами шли с переменным успехом, судя по всему, скорой победы там не добиться. Теперь вот огонь контрреволюции перекинулся и в Воронежскую губернию, опасность возрастает с каждым днем, ряды повстанцев быстро растут, все больше территория, которую они контролируют...

Ответственный секретарь губкомпарта сообщил все это встревоженным глуховатым голосом, то и дело поправляя сползающую на лоб прядь смоляных волос. Обращался он в основном к Мордовцеву:

— Мы собрали тебе в губернии все, что могли, Федор Михайлович. Отряды при ревкомах, милицию, чоновцев. Знаю, сил мало, но действовать надо немедля. Колесников захватил весь Острогожский уезд, часть Богучарского, угрожает Павловскому. По последним данным, — Сулковский поднялся, поскрипывая сапогами, подошел к карте на стене кабинета, — смотрите, товарищи, повстанцы контролируют большой район, от Россоши до Верхнего Мамона, а с этой стороны — от Журавки до Дона. Они парализовали работу многих железнодорожных станций, мешают продразверстке, нападают на ссыпные пункты, угоняют скот и лошадей. Жестоко расправляются с коммунистами, со всеми, кто помогает и сочувствует нам.

— Какая численность их полков, Федор Владимирович? — спросил Алексеевский, и Карпунин видел, как напряглось в ожидании ответа молодое, в жесткой курчавой бородке лицо чрезвычкома.

Сулковский назвал цифру — более восьми тысяч человек, и Алексеевский покачал головой, серые его выразительные глаза заметно потемнели. Он записал цифру в блокнот, подчеркнул ее дважды жирными линиями. Взгляды их с Карпуниным встретились, и Карпунин, как только мог теплее, улыбнулся Алексеевскому.

— Раза в четыре больше того, что есть у нас, — сдержанно покашливая, сказал Мордовцев. Он, осунувшийся, худой, в мешковато сидящей на нем гимнастерке, крестнакрест перехваченной ремнями, был похож на недавно выписанного из госпиталя красноармейца. Мордовцев и вправду был недавно болен — простудился, мотаясь по уездам. Недавняя его болезнь едва не стала причиной отказа Федору Михайловичу в нынешнем деле: командующим войсками губком партии хотел было уже назначить другого человека. Но Мордовцев настоял на своей кандидатуре, ссылаясь на то, что хорошо уже изучил обстановку на юге губернии, имеет тщательно продуманный план наступления частей и готов этот план лично осуществить... А что касается его щек, то они такие от природы, а еще от переживаний — стыдно в такой момент ссылаться на недуги.

Сулковскому настойчивость и искренность Мордовцева понравились, на президиуме губкомпарта его утвердили командующим объединенными войсками губернии по борьбе с повстанцами.

— Мы будем постоянно пополнять твои отряды, Федор Михайлович, — сказал Сулковский, возвращаясь к столу. — Проведем мобилизацию, развернем агитационную работу. Обещала помочь и Москва. Владимир Ильич знает о восстании.

— Я понимаю, Федор Владимирович, — поспешно отозвался Мордовцев. — Просто... силы неравные, вот и вырвалось.

Сулковский сцепил на столе руки, смуглые его крупные пальцы заметно побелели.

— Силы неравные, согласен, — сказал он. — Но восстанию нельзя давать разрастаться. Кулаки и эсеры рассчитывают, вероятно, что мы растерялись, будем медлить, а тем временем они вовлекут в бунт новые села. Потому дорог каждый час. Даем вам с Алексеевским всю необходимую власть... Кстати, вот ваш мандат, Николай Евгеньевич.

Сулковский открыл лежащую у него под руками папку, подал Алексеевскому напечатанный на машинке лист

бумаги с подписями и гербовой печатью. Карпунин, сидевший рядом с Алексеевским, прочитал:

«Предъявитель сего, член Президиума губисполкома и губкома РКП(б) тов. Алексеевский является Чрезвычайным уполномоченным губисполкома и губкома РКП(б) в районе восстания, которому поручается: Руководство политической стороной подавления восстания. Привлечение всех партийных и советских сил для ликвидации бандитов. Руководство репрессиями по отношению к восставшим.

В силу этого тов. Алексеевскому предоставляются следующие права:

1. Все уездные исполкомы и укомпарты районов, прилегающих к восстанию, переходят в подчинение тов. Алексеевского и обязаны безусловно выполнять его распоряжения.

2. Все органы ЧК на месте и выездная сессия Ревтрибунала работает по заданиям тов. Алексеевского и выполняет его приказы.

3. Все вопросы, касающиеся мер наказания бандитов, местные органы обязаны выполнять по его распоряжениям.

Ответственный секретарь
Воронежского губкома РКП(б)
СУЛКОВСКИЙ Ф. В.»

— Придется ли этот мандат кому-нибудь показывать? — вполголоса сказал Алексеевский Карпунину. — Больше, пожалуй, оружием...

Сулковский услышал его слова, густые черные брови ответственного секретаря протестующе вскинулись.

— Ваше оружие — слово, Николай Евгеньевич.—Голос Сулковского был суров. — Подумай там, на месте, как можно прежде всего помешать восстанию: ведь многие из крестьян поддались пропаганде, каким-то обещаниям. Возможно, нам нужно будет отпечатать листовки, воззвания, сказать правду о мятеже — о его причинах и организаторах, целях. Важно, думаю, нам, большевикам, проявить гуманность к тем, кто перешел по непонятным причинам на сторону восставших...

— Многие перешли несознательно, их принудили, — подал голос Любушкин.

— Вот именно — принудили! — Сулковский поднял палец. — Значит, запугали, сыграли на наших просчетах, повернули их в свою пользу. Следовательно, такие люди — потенциально наши. Их надо найти, провести работу.

Сулковский говорил еще, говорил быстро, строго-вдохновенно, и Алексеевский, склонившись над столом, едва успевал записывать.

— Да ты лучше запоминай, Николай Евгеньевич, — улыбнулся Сулковский. — А то вдруг потеряешь блокнот.

Засмеялись и все остальные.

— Да это я так... для верности, — смутился Алексеевский, как школьник потряхивая усталой рукой.

— Ну вот, закраснелся, засмущался, — откровенно теперь и весело засмеялся Сулковский. — Ладно, товарищи, продолжим. Василий Миронович, а что за птица этот Антонов? Я, честно говоря, мало о нем знаю.

— Враг он Советской власти серьезный, Федор Владимирович, — стал рассказывать Карпунин. — Родом из Кирсанова Тамбовской губернии, мещанского происхождения. С молодых лет в партии эсеров, по наклонностям — террорист. За убийство двух человек, жандарма и булочника, был отправлен царской охранкой на каторгу. После революции, в семнадцатом, вернулся в Тамбов, служил начальником милиции, вел двойную, подпольную жизнь. Советскую власть не принял. Для конспирации перевелся в Кирсанов, также на должность начальника уездной милиции, собирал со своими помощниками оружие, организовывал боевиков, создавал тайные отряды, запасался продовольствием. Был уже тогда связан с «Союзом трудового крестьянства»... Вот вкратце. Из подпольного полка выросла, увы, армия. Антонов теперь начальник Главоперштаба в этой армии. Птица опасная.

Сулковский покачал головой:

— Это уж точно. Смута перекинулась и на Саратовскую, и на нашу, Воронежскую, губернии... Владимир Ильич очень обеспокоен этим. Он поручил, насколько мне известно, Склянскому и Дзержинскому принять срочные меры по подавлению восстания. В Тамбовскую губернию направлен Антонов-Овсеенко. К нам вот-вот приедет товарищ Милютин, у него также чрезвычайные полномочия Реввоенсовета республики... У Колесникова есть прямая связь с Антоновым, Василий Миронович?

— Есть, — сказал Карпунин. — По нашим агентурным данным, накануне восстания в Старой Калитве появлялся человек с особыми полномочиями.

Сулковский побарабанил пальцами по столу.

— Мы большие надежды возлагаем на вас, чекистов, — он обращался к Карпунину и Любушкину. — Силы сейчас неравные, положение для губернии опасное. Нельзя воевать вслепую, ничего у нас из этого не полу-

чится. Разведка, разведка и разведка — инициатива должна быть в наших руках.

— Мы готовы доложить о некоторых планах, Федор Владимирович, — поднялся Карпунин. Он говорил коротко, сжато — о том, что в лагерь восставших на днях будут посланы разведчики, сотрудники губчека, что создается конный чекистский отряд — он будет действовать под видом банды, что чекисты постараются в ближайшую неделю наладить получение информации о военных и организационных планах повстанцев.

Сулковский слушал с интересом и одобрением в карих умных глазах, согласно кивал. Сидел на стуле в свободной позе, вертел в пальцах толстый красный карандаш, постукивал им по краю большого, под зеленым сукном стола.

Совещание шло к концу, многое уже было ясно.

Мордовцев, нетерпеливо поглядывающий на старинные, в резном футляре часы, решительно поднялся:

— Федор Владимирович, сейчас должна начаться погрузка эшелона на станции, нам с Алексеевским надо идти.

Встал и Сулковский.

— Ну что ж, товарищи, — развел он руками, — если вопросов нет...

Он подошел к Мордовцеву, обнял.

— Ты постарайся там, Федор, — сказал Сулковский дрогнувшим голосом. — Вся надежда сейчас на тебя. Продержитесь хотя бы неделю, десять дней... Помощь будет, обещаю. И ты, Николай Евгеньевич. Все, что зависит от вас... Хорошо понимаю ситуацию, но выхода нет, товарищи.

Сулковский обнял и Алексеевского, и тот ответил на объятие сдержанно, скованно. Стоял против ответственного секретаря губкомпарта невысокий девятнадцатилетний парень, комиссар с чрезвычайными полномочиями, член партии большевиков, ее надежда и боец...

Мордовцев и Алексеевский вышли, а Сулковский с чекистами все еще стояли посреди кабинета, глядя на закрывшуюся высокую дверь.

— Я все им отдал, — словно извиняясь сказал Сулковский. — Все, что можно было.

...И вот сейчас Карпунин шел чуть впереди Любушкина (они пробирались для сокращения пути мимо домов,

по глубокой снежной тропинке), думал о том, что смертельной опасности подвергнутся там, на юге губернии, не только Мордовцев и Алексеевский, но прежде всего Катя Вереникина, в недавнем прошлом учительница Бобровского уезда, Иван Шматко, бывший командир пулеметной команды Богучарского полка, Павел Карандеев...

Жалко было председателю губчека своих подчиненных, но за судьбу Советской власти сердце его болело еще больше.

Они миновали дворы, снова вышли на просторную заснеженную улицу, шли рядом.

— Что молчишь, Миша? — спросил Карпунин Любушкина, и начальник бандотдела пожал плечами:

— Ты молчишь, и я молчу.

Так они дошли до двухэтажного неказистого здания губчека, стоявшего на тихой улице в глубине квартала, откозыряли часовому, стали подниматься наверх.

— Вереникину ко мне позови, Карандеева, — сказал Карпунин уже в дверях своего кабинета. — А вечером, часов в одиннадцать, с Иваном Шматко встретимся. — Только не в губчека. Не надо, чтобы его видели.

— Понял.

Любушкин пошел по коридору, а Карпунин, не раздеваясь, сел за стол, заказал телефонный разговор с Павловском. Его скоро соединили с уездной чека, и Наумович доложил, что бандиты предприняли налет на Верхний Мамон, но милиция вместе с чоновцами* и отрядом самообороны отбили нападение. Погибли два милиционера, один чоновец тяжело ранен.

— Как ведет себя Колесников? — спросил Карпунин. — Какие о нем есть у тебя сведения, Станислав Иванович?

— Осторожный и хитрый черт, — напористо говорил на том конце провода Наумович. — Поперед батька́ в пекло не лезет, голову свою бережет. Понемногу проясняется его тактика: в бой с превосходящими и даже равными силами не ввязывается, нападает на слабых, безоружных.

— Подлая, бандитская тактика, — вырвалось гневно у Карпунина.

— Так оно и есть, — согласился Наумович.

— Его из н а ш и х людей видел кто-нибудь? Можешь описать приметы?

---

* Чоновцы (ЧОН) — части особого назначения. — *Примеч. автора.*

— Видели, конечно. Ездит на кауром дончаке, одет в черный полушубок, папаха серая, каракулевая, хромовые сапоги... Да, клинок у него белый, Василий Миронович, то есть ножны шашки. Вещь приметная, ни у кого такой нет. И вообще, сказали, щеголь он, любит красивые вещи...

«Да, шашка приметная, — думал Карпунин. — Такую и в бою отличить можно... Ну что ж, операцию по уничтожению Колесникова так и назовем: «Белый клинок».

Наумович продолжал говорить о том, что Колесников, по-видимому, собирается воевать долго, полки свои муштрует и обучает военному делу с пристрастием, завел палочную дисциплину, жестоко расправляется с ослушниками — два повстанца уже казнены за попытку перейти на нашу сторону. Агентуре среди бандитов находиться непросто, приходится приспосабливаться, риск огромный, штабные подобрались тертые, есть при дивизии разведка, которую возглавил некий Конотопцев Александр...

— Все у них поставлено на широкую, профессиональную в военном отношении ногу, Василий Миронович, — закончил Наумович.

— Понятно, — кратко сказал Карпунин. — Двадцать седьмого числа, Станислав Иванович, поможешь нашему человеку перебраться за Дон. Связь через Любушкина, он позвонит тебе.

— Слушаюсь, — сказал Наумович, и Карпунин невольно улыбнулся, хорошо представив в этот момент старательного и влюбленного в чекистское дело начальника Павловской уездной чека: тот и спал в служебном кабинете. Впрочем, а сам он, Карпунин? Семьи тоже нет, спешить после работы некуда да и незачем. «Квартира» его — вот она, за простыней: жесткая узкая койка с темно-синим одеялом и белым холмиком подушки на ней, этажерка с книгами и чемоданом в углу. Вот и все его пожитки. В любой момент готов подняться, ехать, идти... А хочется, так иногда хочется прийти домой, взять на руки сынишку, поговорить с ним о чем-нибудь простеньком, земном, повозиться... Будет ли когда-нибудь это в его жизни?..

В дверь постучали.

— Да! — сказал Карпунин, снимая шинель, с усилием отводя глаза от простыни. — Входите!

Дверь открылась, вошел Любушкин — с озабоченными глазами, с папкой в руке, за ним — Катя Вереникина и Карандеев.

— Садитесь, прошу, — показал рукой Карпунин, тоже садясь к столу, с сожалением расставаясь с таким непривычным для себя расслабленным состоянием души.

Скоро он забыл обо всем — навалилось дело.

...Со встречи с Иваном Шматко (она состоялась в маленьком частном доме на Чижовке) Карпунин вернулся далеко за полночь. Пока раздевался, пока пил чай и обдумывал детали разговора с «батькой Вороном» — Шматко, часы в кабинете хрипло пробили два раза, сна оставалось не более четырех часов. «Ничего, высплюсь, — успокоил себя Карпунин, забираясь под одеяло и натягивая его до подбородка. — Утренний сон самый свежий».

Он ворочался на жестком матраце, все никак не мог найти удобного положения тела, а мысли текли сами собой. Вспомнилась решительность Шматко, с какой он согласился идти на контакт с повстанцами, его выдержка, ум, знание военного дела — все это ему скоро, очень скоро пригодится. Но действительность может легко нарушить задуманное ими, преподнести «батьке Ворону» такое испытание, что потребуются не только выдержка и находчивость, а, вероятно, нечто большее...

* * *

В этот час, далеко от Воронежа, на станции Россошь, в жарко натопленной комнатке дежурного телеграфиста раздался звонок.

— Выдрин на проводе, — доложил дежурный.

— Срочно пошлите кого-нибудь к Ивану Сергеевичу. Скажите, чтобы ждал гостей. Много гостей. Разгружаться будут у вас, в Россоши. Наступление — двумя группами, с Евстратовки и Митрофановки. На Старую и Новую Калитву. Понял?

— Понял, ваше благо...

— Ну! — грозно оборвала трубка. — Действуй!

Выдрин положил трубку, торопливо накинул на плечи черную поношенную шинелишку с голубыми петлицами и змейками на них, выбежал в ночь. Нужный ему дом был недалеко, за углом, и он, подтягиваясь к окну, осторожно трижды постучал...

Скоро из Россоши, осклизаясь на невидимых кампях и застывших конских яблоках, скакал тепло одетый всадник, держащий направление на меловые бугры, прячущие в распадке тихий некогда хутор Новая Мельница,

там — штаб Колесникова. Вышла на небо полная луна, белые бугры были хорошо видны всаднику, как и вспыскивающие в ночи далекие огни...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С самого утра над Меловаткой* вьюжило: тянул над соломенными крышами села верховой ветер, гнал в окна домов снежную колючую крупу, сек лица редких прохожих. Людей на улицах почти не видно, разве только баба какая пробежит к соседке за щепоткой соли, или укутанный в тулуп мужик проедет на обсыпанных сеном розвальнях, или подаст мерзлый ленивый голос прячущаяся где-то собака...

В волостном Совете холодно. Слабая печурка прожорливо и ненасытно глотает стылый, принесенный со двора хворост, но греет лишь саму себя: дом волостного Совета большой, наполовину пустой и оттого гулкий, настороженный, зябкий. Когда-то жил в нем местный богач Кульчицкий; Кульчицкий убежал за границу еще в революцию, развалив печь, сняв с крыши железо. Крышу перекрыли той же осенью камышом, отремонтировать же печь на дурничку охотников в Меловатке не нашлось, а платить Совету было нечем. Поставили временную печку-«буржуйку» с трубою в окно и работали лишь в одной комнате дома. А в сильные морозы, как это было в девятнадцатом, Совет на несколько дней и вовсе закрывался, потому как в доме было холоднее, чем на улице, а все советские вопросы решали у бывшего председателя волисполкома Григорьева на дому. Какая будет зима в этом году, не могли сказать и старики, прогнозы их путались, противоречили один другому. Но какая б ни была, работать все равно надо, в хате отсиживаться не придется, не до того.

Председатель волисполкома Клейменов — в шапке из вылинявшего зайца, в накинутой на сутулые плечи шинели, лицом черный с лета и хмурый — оторвался от окна, обернулся.

— Вот, считай, и третью годовщину своей власти празднуем, — сказал он секретарю, смешливой молоденькой Лиде, дувшей в это время на пальцы: зябли. Лида си-

* Калачеевский уезд. Ныне — Калачеевский район Воронежской обл.

дела за столом в пальто и теплом платке шалашиком, кокетливо стоящим над ее выпуклым немного лбом, смотрела на Клейменова весело, озорно. Холод и предстоящая большая работа — Лиде нужно было написать несколько отчетов в уезд — не портили ей настроения, а откровенно мерзнущий Клейменов чуточку смешил — так он потешно гнулся и передергивал плечами. Лида понимала, что нехорошо смеяться над человеком, старшим по возрасту и к тому же израненным, но ничего не могла поделать с собой, прыскала потихоньку.

— Кулачье да разная контра радуется небось, что год нынче голодный, — продолжал Клейменов, — засуха, неурожай. А мы с продразверсткой к народу приступаем, хлеб требуем, по сусекам скребем. Все врагам нашим на руку. Дуганов, уездный наш голова, говорил третьего дни, что в Калитве кулаки восстание подняли, взбаламутили народ. В Советах народу много побили. В Дерезовке, которая против Гороховки, знаешь?.. Ну вот, в Дерезовке этой коммуниста одного... не упомнил его фамилию, эх, голова дырявая!.. Под лед его, живого, слышь, Лидуха, под лед, говорю, живого спустили.

— Ой, какие изверги, Макар Василич! — Девушка всплеснула руками. — Да как это — живого, под лед?! Звери!

— Звери и есть, — согласился Клейменов и повернулся к Лиде другой щекой, на которой страшно белел до самой шеи шрам.

— Хорошо, что Дерезовка эта и вообще Калитва далеко от нас, — успокоенно сказала Лида. — У нас-то хоть нету бандитов этих.

Девушка подошла к печурке, гудящей раскаленным белым огнем, протянула руки к дверке, шевелила стылыми пальцами. Она села перед «буржуйкой» на маленькую скамеечку, задумчиво смотрела на огонь.

Клейменов, свернувший цигарку, выхватил из печурки уголек, вертел его в пальцах, хмурился. Совсем близко от Лидиных глаз шевелились его бескровные, причмокивающие губы, дергался шрам.

— Пальцы-то сгорят, Макар Василич! — воскликнула Лида, невольно хватая председателя волисполкома за руку. — Чем бумаги подписывать будешь?

Клейменов прищурил в улыбке глаза; цигарка его разгорелась, поплыл по комнате сизый, щекочущий горло дымок. Швырнул уголек в распахнутую дверку.

— Белые не так меня жгли, — усмехнулся он. — Там,

Лидуха, погорячей было. Шомпола накалят в такой вот «буржуйке» и охаживают по спине да по ногам... В свою веру обратить норовили. Мол, ты, Клейменов, дурак, что с большевиками связался, царю-батюшке изменил. Рыло, дескать, немытое, а туда же, в политику. А меня такие слова еще пуще озлили. Ах мать вашу, думаю. Силком, значит, старого солдата хочете заставить режиму вашему служить. Нет, ваше благородие! — погрозил он кому-то, зримо стоящему перед памятью. — Хрен ты меня поломаешь. Похлебал я при вашей-то власти кровавой юшки, поизгалялись надо мной, хватит. Хоть живьем с меня кожу сдирай, а от партии своей рабоче-крестьянской ни в век не отрекусь!

— А щеку — тогда же, Макар Василич, да? — спросила Лида и очень ей хотелось в этот момент протянуть руку к щеке председателя волисполкома, погладить шрам.

— Нет, это под Бобровом, в девятнадцатом. Мамонтов же шел на Воронеж, а я тогда в Красной Армии служил. Клинком это, Лидуха. И руку тогда же перебило, в ногу ранило. Списали меня подчистую. А то б я и по сей день, может, служил, любо мне было в армии-то!

— Да война ить кончилась, Макар Василич. Чего зазря хлеб есть?

— Зазря!.. Кулачье вон голову подняло. Неизвестно еще, как оно обернется... Ладно, Лидуха, давай-ка попиши. Согрелись руки?

— Отошли малость.

— Вот и ладно. — Клейменов поплевал на окурок, швырнул его в алый прямоугольник поддувала. — Отчитаться надо по хлебу-то. Пиши: выполнили задание по хлебозаготовкам на два процента...

Лида перешла к столу, макнула перо в водянистые фиолетовые чернила, сняла с кончика волосок.

— Ругать нас в уезде будут, Макар Василич, — сказала она со вздохом. — Скажут, мол, плохо в Меловатке работают.

— Плохо! — согласился с ней Клейменов. — Из уезда, а пуще из губернии, просто глядеть: спустили бумагу и сполняй. А поди-ка у того же Рыкалова возьми хлеб! Знаю, что зарыл где-то, боров пузатый, а выколупнуть— руки у нас с тобой коротки. Тем паче продотряду... Да ты пиши, пиши!

— Как писать-то, Макар Василич?

— Ды как... — Клейменов в раздумье поскреб заросший светлым курчавым волосом подбородок. — Пред-

седателю Калачеевского уезда... Не, Калачеевского уисполкома, поняла? Дуганову. Сообчаем, что по Меловатской волости, а также по сельсоветам...

— «Сельсоветы» — с большой буквы? — Лида задержала перо над желтой, линованной от руки бумагой.

Клейменов растерянно заморгал голубыми простодушными глазами, сморщил лоб.

— С большой! — сказал потом уверенно. — «Советы» все с большой буквицы пишутся — хоть сельские, хоть какие. Власть наша, уважение к ней.

Лида, от старательности высунув кончик языка, снова принялась выводить слова отчета:

«...Сообчаем, что по Меловатской волости хлебозаготовки выполнили на 2 процента, так как кулаки и имущие середняки прячут хлеб и не отдают его в ссыпные пункты добровольно...»

— Погоди-ка.—Клейменов поморщился, недовольный собой. — Ты про то, что не отдают, не пиши. Все одно возьмем! Я за Рыкаловым да за Фомой Гридиным тенью ходить буду, волком и лисой стану, а хлебушко у них вырву. Вырву! — погрозил он сухим костистым кулаком в окно.

— Гридин-то... может, и не прятал, Макар Василич,— заикнулась было Лида и тут же пожалела об этом: Клейменов белыми страшными глазами уставился на нее, багровый его шрам дергался.

— Ты эту контру брось, Лидуха! — сурово одернул он свою помощницу. — Ни Гридину, ни Рыкалову веры у меня нету. И не будет! И хлеб мы у них возьмем. Сами с тобой кочерыжки от кукурузы, макуху есть будем, а рабочему в город, красноармейцу — отдай! Все нашей власти отдай. Иначе крышка ей, поняла? И нам с тобой тоже. Снова Рыкалов меня батраком сделает, снова я у него как и до революции горб гнуть буду. Только не дождутся они этого, поняла? Назад дороги нету!

— Да я это просто так ляпнула, Макар Василич, — смутилась девушка. — Не подумавши. И больше про твоих беспокоилась. Я вон одна у матери, а у тебя — шестеро. И все мал-мала...

— Ляпнула, — помягчел Клейменов. — А ты не ляпай. Сознательная, комсомолка... Пиши!

«Товарищ Дуганов. Хлеба покамест мы выполнили по Меловатской волости...» Не, лучше напиши: «Покамест хлеба, что спущено нам уездной бумагой, не заготовили, так как разная контра и сволочь-кулак...»

— «Сволочь» с мягким знаком али как, Макар Василич? — спросила Лида, подняв голову.

— Эт для чего же с мягким-то?! — вскинул на нее строгие глаза председатель волисполкома. — Рыкалов и тот же Гридин — да еще с мягким знаком?! Они тебе смягчат, попадись токо в лапы им. Сволочь она и есть сволочь. Так и пиши. От ней одно шипение и злоба. «...Припимаем меры к изъятию излишков крестьянского двора. Активисты волисполкома разъясняют в селах текущую политику партии большевиков...» Вон дружка твой, Ванька Жиглов, разъясняет, к примеру? — спросил Клейменов Лиду.

— Он складно агитирует, Макар Василич. Я с ним по дворам ходила. Говорун он.

— Во! А это, Лидуха, важней, чем силком-то. К чему мужика озлоблять? Призывать его надо, словом на свою сторону клонить. Чтоб момент политический понимал, чтоб власть нашу, Советскую, сознательно поддерживал. Вот.

Довольный сказанным, Клейменов поднялся, принялся расхаживать по комнате; снова взялся вертеть цигарку из газетного, аккуратно сложенного и потертого на сгибах клочка, с наслаждением задымил. Сказал спокойнее:

— Хитрое это дело, Лидуха, разговоры говорить. Уж я паслушался говорунов этих. И так повернут — правильно вроде, и так — тоже правильно. Ежли в тебе тут, — он постучал кулаком в грудь, — нету стержня, прута железного — в болото заведут али еще куда.

У Лиды снова замерзли пальцы, она подошла к печурке, протянула руки к огню. Слушала Клейменова с серьезным лицом, кивала.

— Вот и Ваня Жиглов так говорит, — вставила она.— Большевики, говорит, во главе с Лениным за народ жизни кладут, нашу с вами жизню хочут лучше сделать.

— Головастый он, Ванька,— согласился Клейменов.— Ты, девка, держись его, не верти хвостом. Хотя он и не дюже красавец, а умом взял.

— Да я и так, Макар Василич, — тихо, покраснев, сказала девушка. — Ваня мне и предложение сделал.

— Вот молодец, — одобрительно откликнулся Клейменов. Подошел к печурке, опустился перед нею на корточки, кочергой шурудил в поддувале. Сказал потом мечтательно:

— Эх, Лидуха, жись у вас, молодых, будет! Ленин говорил, коммунизм строить для вас будем.

— Интересно, а какой он, коммунизм этот, а? Люди какие будут?.. Правда, дожить бы, Макар Василич!

Клейменов придвинул ближе к печурке табурет, сел, раскинув полы шинели.

— А что? Ты и доживешь, молодая. В крайнем случа́е, ребятня ваша с Ванькой. А я, видать, не дотяну. Побитый весь, старый.

— Сорок годов-то всего! — возразила Лида, но Клейменов не слушал ее, продолжал:

— Хорошая жись будет, Лидуха, попомни мои слова. Никаких тебе Рыкаловых, продразверсток. Хлеба досыта будем есть, люди меж собой ладить станут, любить друг дружку. А как иначе? В коммунизме первое дело — ладить меж собой. А чего им тогда делить-то, Лидуха? Все равными будут, ни богачей тебе, ни бедных. Ровня завсегда ладит. Мы-то с тобой ладим?

Девушка радостно и охотно кивнула.

— Ну вот. И все так. Грамоте все обучатся, читать-считать... Эх, хоть одним бы глазком на ту жизню глянуть.

— Дети твои увидют, Макар Василич.

— Увидют, ага! — Клейменов светло улыбнулся. — Они доживут. И нас с тобой, Лидуха, вспоминать будут. Батька наш, скажут, революцию делал, в гражданскую с белыми бился... Как не вспоминать!

Возбужденный разговором, Клейменов вскочил с табурета, забегал по комнате, улыбался своим мыслям; заросшее его лицо помолодело, светилось.

— Хаты наши заместо соломы железом покроем, электричеству проведем, как в городах. А чего? Проведем!.. Машинку тебе, Лидуха, печатную купим. Будешь как городская какая мамзель сидеть, тюкать пальцами-то. Платок свой сымешь, валенки и — та-та-та... Как пулемет вон, «максим». А?

Лида смеялась, слушала Клейменова с удовольствием, живо представляя себя в белой блузке и с прической. А машинка печатная и вправду как пулемет: та-та-та...

Они оба вдруг повернули головы к окну, насторожились — донесся до слуха то ли топот, то ли голоса... Клейменов в два корявых прыжка пересек комнату, потеснил Лиду от окна.

— Банда! — вырвалось у него удивленно. — Откуда? Кто такие?!

Из-за плеча Клейменова Лида видела, как, пригнувшись к лукам седел, скакали по улице их Меловатки конники, палили из обрезов и винтовок, размахивали тускло взблескивающими в сером безрадостном дне клинками.

— Прячься! В чулан! — хрипло выкрикнул Клейменов Лиде, хватая из кармана шинели наган, но в этот момент за их спинами с грохотом вылетела рама окна, и два обреза мертвыми зрачками уставились в их лица.

— Бросай пушку, председатель! А то дырку в башке сделаю. Ну!

— Ты?! Кого пугаешь?! Я всю гражданскую... таких, как ты, гадов... — хрипел вне себя Клейменов, вскидывая наган, нажимая на спусковой крючок, но наган раз за разом давал осечку.

— Не стреляй, Макар Васили-и-ич! — пронзительно закричала Лида, повиснув на руке председателя волисполкома. — Убью-у-ут же-е... Не надо-о-о, миленьки-и-ий!

Бандит палил из обреза, тоже что-то кричал, а в дверь уже вломилось пятеро или шестеро, бросились на Клейменова...

Били его тут же, в исполкоме. Два старательных мужика сдернули с Макара Васильевича шинель, разодрали рубаху, обрезом сбили шапку, повалили на пол.

— Ну, Марк Иваныч, чого из председателя зробыть: отбивну или какое другое лакомство? — привычно уже спрашивал рыжий Евсей, зажимая при этом широкую и круглую, как дуло обреза, ноздрю и шумно высмаркиваясь на пол. Вытер потом руку о штаны, пнул лежащего Клейменова в лицо. — Палить еще собрався, курва!

Марко Гончаров, возглавлявший этот набег на Меловатку, поморщился.

— Ты погоди, Евсей. Надо, шоб народ побачив, поняв, шо к чему. А пустить в расход цю красную заразу мы успеем.

Гончаров косолапо подошел к Лиде; девушка с ужасом смотрела в его бесцветные ледяные глаза, с циничным любопытством щупающие ее всю, обжигающие холодом. Он — в белом полушубке, в сбитой набок папахе, с кобурой нагана на боку — взял Лиду за подбородок, поднял ее голову.

— Ай спугалась, красавица? Что так? Мы люди как люди, кого зря не забижаем. А ежли всякие палить в

нас собираются... — он с ухмылкой обернулся к Клейменову, — то таких мы по сусалам, по сусалам...

Гончаров оставил дрожащую с головы до ног Лиду, подошел к столу, к бумагам, взял исписанный Лидой листок; стал читать с трудом: «...сообчаем... что по Меловат-ско-му вол-испол-кому... хлебозаготовки выполнены на два... п... процента...»

Понял, захохотал, скаля, как жеребец, длинные желтые зубы.

— А шо ж так мало, председатель, га? — крикнул он Клейменову. — Шо так плохо работаешь? На месте вашего Дуганова снял бы я с тебя штаны да дрыном, дрыном!..

Повстанцы, толпой забившие вход в комнату, дружно захохотали. В высаженном окне торчала пегая лошадиная морда, жевала все в пене трензеля; всадник на ней клонился к окну, заглядывая вовнутрь комнаты, хохотал вместе со всеми.

Клейменов — белый, в изорванной и окровавленной рубахе — завозился на полу, с трудом сел, сплюнул сукровицу.

— Сволочи, — с сердцем сказал он. — Гады ползучие.

Евсей подскочил к нему, схватил за волосы, рванул.

— Ну ты, красный ублюдок! — заорал он дурным голосом. — Что себе дозволяешь?! С командиром повстанческого полка говоришь, мать твою за ногу!

— Шакалы вы, а не полк, — усмехнулся Клейменов.

Удар в голову снова свалил его на пол. Клейменов застонал, страшно заскрипел зубами, и Лида в ужасе закрыла лицо руками, заплакала.

— Сзывай сход! — велел Гончаров одному из своих помощников. — Сейчас мы председателя этого перед народом выставим, нехай полюбуются на свою бывшую власть... А ты, красавица, — повернулся он к Лиде, — чего тут забыла, а? Советской власти помогала, да?.. Чья будешь-то?

— Соболева я. Местная.

— Местная... За коммунистов, да? Чего молчишь? Шлепнем сейчас и тебя, пуля — она дура, не разбирает.

— Пожалей девку, Марк Иваныч, — осклабился Евсей. — Гля, какая. Ягода, в самом соку. А то мне отдай, жаниться охота.

Гончаров обошел Лиду вокруг, плеткой потыкал ей в талию, в бедра. Протянул:

— Гарна-а... Придется, правда что, с собой взять.

— Никуда я не поеду! Не поеду! — забилась в плаче Лида.

— Ну тогда с председателем своим к стенке станешь! — Гончаров замахнулся на девушку: — Цыц!

— Проучи ее, Марк Иваныч, проучи,— услышала Лида знакомый голос и повернулась на него — в комнату входил Рыкалов, из-за его спины выглядывала ехидная злорадная морда Фомы Гридина.

— Кто такой? — насторожился Гончаров, кладя руку на рукоять нагана. — Откель знаешь? Кто пустил?

— Дожидались вас, Марк Иваныч. — Рыкалов поклонился Гончарову в пояс. — Слух от самой Калитвы прошел, слыхали, как же! Слава богу, хочь вы народ подняли, а то от Клейменовых этих жизни вовсе не стало.

— А-а... — медленно соображал Гончаров. И, снова ткнув Лиду плеткой, спросил Рыкалова:

— А это шо за цаца? Ваша, нет?

— Да наша, наша, Соболева. Отец священником был, а эта — в кого только пошла? — с комсомолом путается. Клейменову вон помогала. Чего, дура, зенки вылупила? — закричал он вдруг на Лиду. — Дождалася хорошей жизни, ага? Кончилась ваша Советская власть, поняла? Некому больше бумажки-то писать. К стенке ее, подлюку!

— Ну, ты нам не указывай, — уронил тяжелое Гончаров. — Коней надо накормить, и хлопцев моих тоже. Считай, два дня до вас скакали. Ты укажи, — он усмехнулся, — кого тут раскулачить можно.

— А сподряд, все село красное, Марк Иванович, — засуетился, забегал глазами Рыкалов, ища поддержки у Фомы Гридина, а тот важно и торопливо кивал: «Истинно так, Лясаныч. Все красные...»

Вслед за Гончаровым они выскочили на исполкомовское крыльцо, где один из повстанцев лупил железякой по ржавому, подвешенному к дереву рельсу. Тек над Меловаткой беспокойный, тревожный звон.

— Баба есть у председателя? — не оборачиваясь, спросил Гончаров у Рыкалова, и Рыкалов угодливо заскочил сбоку.

— Есть, как жа! И выводок, шесть душ.

Гончаров презрительно ухмыльнулся.

— Ишь, даром что тощий, а в энтом деле, видать, мастак. Котляров! — крикнул он в толпу спешившихся всадников. — Ну-ка, сгоняй с кем-нибудь... Демьяна Ман-

шина возьми с собой. Бабу председателя сюда пригони и щенков ее, поняв?

— Не трожь детей, сволочуга! — раздался позади них высокий, дрожащий от ненависти голос Клейменова. Евсей подталкивал Макара Васильевича в спину, вел его с крыльца.

Глаза Гончарова налились кровью. Коротко размахнувшись, он стеганул Клейменова по лицу, подскочив к председателю волисполкома, брызгал слюной, орал:

— Я твою красную породу под самый корень выведу, поняв? Ни одного твоего щенка в живых не оставлю. Вот тебе, собака! — и саданул Клейменова ногой в пах.

На звон рельса собирались испуганные жители Меловатки. Тихо, робко подходили к исполкомовскому крыльцу, жались один к другому, перешептывались, кивая на окровавленного Клейменова.

В конце улицы раздался вдруг душераздирающий женский крик, выстрелы, потом стихло все. По толпе бедно одетых меловатцев волной прошла судорога ужаса, ужасом подернулись и лица. «Клейменова, Настя...» — прошелестело быстрым жутким ветром.

Макар Васильевич, удерживаемый Евсеем, поднял голову.

— Детишек-то за что?! — выкрикнул он, рванулся из рук палача, но на Клейменова насели еще двое, заломили до хруста руки, притиснули к стене дома.

Гонцы Гончарова вернулись одни. Спешились с фыркающих лошадей; Котляров, маленький, с мордой хорька, заспешил к крыльцу. Зашептал что-то на ухо Марку.

— Ну и ладно, — одобрительно кивнул Гончаров. — Все одно здесь бы поклали... Всех побил, нет?

— Да один пацаненок утик, Марко. — Котляров виновато шмыгнул носом. — Сховался. Я лазыв, лазыв...

— Евсей! — тут же крикнул Гончаров. — Где эта девка, исполкомовская? А то стреканет еще.

— У меня и мыша не ускользнет, Марк Иваныч, — даже обиделся Евсей. — В чулане я ее запер, нехай там...

Гончаров, оглядев внушительную толпу меловатцев, вышел к краю исполкомовского крыльца.

— Стало быть, Советской власти тут у вас конец! — зычно крикнул он. — Поздравляю вас с освобождением от коммунистов. Теперя красные паразиты не будут сидеть на вашей трудовой мозолистой шее. Слухайтесь вот его, — Гончаров ткнул плеткой в сторону Рыкалова, и

тот подобострастно снял шапку. — А паразиты-коммунисты очищены нами во многих волостях, мы вам возвертаем прежнюю жизню.

— Сам ты паразит! — выкрикнул плачущий женский голос. — Детишек Клейменовых за что порешил?! Бабу его, Настю...

Налившаяся кровью физиономия Марка люто дернулась.

— Кто? Кто це сказав? — заорал он, хватаясь за наган, надвигаясь на подавшуюся от него толпу. Спрыгнул с крыльца, тыкал плеткой в груди баб: — Ты? А может, ты, рябая стерва? А? Или ты хайло раззявила, га?

Бабы шарахались от него, отступали под его разъяренным, волчьим взглядом. Мужики молча и угрюмо сопели, прятали глаза.

— Ну я, я сказала. Так что?! — закричал, не выдержав, все тот же голос, и все разом обернулись на него — соседка Клейменовых, Наталья Лукова, молодая, с горящими глазами женщина, кинулась к Гончарову. — Детишки тебе чем помешали? Бандит ты, а не освобо...

Наталья не договорила — Гончаров кулаком сшиб женщину с ног, бил ее ногами в живот.

— Что ж вы стоите, мужики-и?! — отчаянно закричал другой женский голос, и толпа пришла в движение; Гончаров отскочил от Натальи, снова впрыгнул на крыльцо, орал Евсею:

— Пороть ее, суку-у!.. Голую! Ну, кому сказав!

Трое бросились в толпу, схватили поднявшуюся уже с помощью баб Наталью, вырвали ее у них из рук, поволокли к крыльцу.

— Не трожь женку-у! — угрожающе закричал из толпы высокий, с повязкой на глазу мужик и бросился к плетню, схватился за кол. На него тут же налетел конный, шашкой плашмя ахнул по голове, и мужик, схватившись за враз окровянившееся лицо, выпустил кол из рук.

А у крыльца вовсю уже полосовали раздетую женщину. Наталья кричала, ругалась матерно, звала на помощь. Мужики, не выдержав, кучей бросились к крыльцу, кричали женщины, но всех их теснили конные, пороли нагайками.

Наталью наконец отпустили; избитая женщина, всхлипывая, поднялась с колен, похватала одежонку, пошла, прихрамывая, за угол дома, прочь.

— Ну, председатель! — ярился теперь сам Гончаров,

подскакивая к Клейменову. — Гляди последний раз на небушко.

— Кончай скорее, гад! — Клейменов плюнул ему кровью в лицо, и Гончаров отступил, вытираясь, оскалив зубы.

— Ну, председатель, легкой смерти теперь не жди. Не жди-и, — хищно тянул он, лихорадочно придумывая казнь. — Евсей! Режь председателю флаг на спине... Или погоди, не ты! Эй, сосунок! — крикнул он в толпу, плеткой показывая на паренька в кубанке и куцем зипуне.— Подь сюда. Ну!

Пока паренек — бледный, с перекошенным в ненависти лицом — пробирался к крыльцу, Рыкалов что-то быстро сказал Гончарову, и Марко хмыкнул удовлетворенно: «А-а, вон оно что-о». Схватил паренька за плечо:

— Как зовут-то? Ага, Ваня, значит, Жиглов... Голова комсомола, да? Ну-ну. — Выхватил у Евсея нож, сунул в руки Жиглову: — Ну-ка, Ванюшок, рисуй на спине своего председателя флаг. Ну? Убью!

Ваня оцепенело, со стучащими зубами, смотрел на тускло вспыхивающее в сером осеннем дне лезвие ножа, на замерших в ужасе односельчан и вдруг бросился с криком отчаяния на Гончарова, взмахнул ножом, но Марко ждал этого выпада с наганом в руках, в упор, безжалостно, бил Жиглову в лицо...

Закричали в толпе меловатцев женщины, насмерть перепуганным стадом бросились от крыльца волисполкома, потянулись было за ними и мужики, но конные теснили к крыльцу тех, кто помоложе, покрикивали с угрозой: «Куды-ы... Мобилизация... Кому сказано: мобилизация...»

Торопливо и деловито добили Клейменова, бросили его окровавленный согнутый труп у крыльца.

Евсей вывел из темного чулана Лиду; девушка, дрожащая всем телом, увидела убитого Макара Васильевича, узнала в лежащем лицом вниз Ваню Жиглова.

— Ванечка-а! — закричала она нечеловеческим голосом, бросилась было к нему, но Евсей поймал ее за руку, потянул от крыльца. Шел сбоку девушки, рыдающей взахлеб, истерично, сально оглядывал ее фигуру, чмокал языком: «Ах, гарна яка дивчина. Губа не дура у Марка Иваныча. Таку девку зацепив...»

Конные между тем носились по селу, грабили крестьян. То там, то здесь гремели выстрелы, истошно кричали женщины, взвизгивали поросята, предсмертно мычали

коровы. К крыльцу волисполкома одна за другой тянулись брички с награбленным, повстанцы довольно гоготали, любовно оглядывая возы с сеном, тревожно мотающий головами, мычащий и упирающийся скот, кудахтающих в цепких, безжалостных руках кур и гагакающих гусей, тяжелые, литые мешки с зерном...

Толпились у крыльца и перепуганные молодые мужики, «мобилизованные», — их охраняли, не давали матерям и женам подходить, отпихивали самых настырных, материли.

К ночи длинный обоз двинулся из Меловатки на юг, в Старую Калитву.

* * *

Демьян Маншин, одетый в обнову — широкую бабью доху, пьяненько и сыто улыбаясь, качался в седле на длинноногом и худом коне. Коня как нарочно выдали ему норовистого и глупого: поводьев он почти не слушался, привык, видно, к дрыну или доброй плетке, из строя мог потянуть в сторону, за клоком оброненного сена или просто в кусты. То ли его никогда досыта не кормили, то ли, скорее всего, не ходил он до этого под седлом, только в первые дни службы в Старокалитвянском полку помучился Демьян со своим скакуном изрядно. Обратился он было к взводному Ваньке Поскотину, мол, как, Иван, на таком одре ездить, но тот лишь выматерился и сплюнул:

— Скажи спасибо, шо такого дали. А лучшего хочешь — отыми у красных. Дурак!

Демьян обиделся, пошел назад, к коновязи, где, понуро опустив голову, стоял его Серко, пнул коня в обвислое мягкое брюхо. Конь сонно вздрогнул, нехотя встряхнул гривой, потянулся к Демьяну заиндевевшей грустной мордой. Демьян обошел коня, оглядел — нет ли где ран, чего это он такой квелый? Ран не было, на первый взгляд Серко выглядел здоровым, хотя ребра у него и торчали, как ободья на бочке, а в глазах стояла усталость.

Сейчас Серко шел довольно бодро. В Меловатке, как и другие лошади, он передохнул, поел дармового сена. Пока Ванька Поскотин и другие шарили по избам, Демьян кормил коня, решив, что дома, в Калитве, прихватит с воза мешок овса — сам же клал его сюда, помогал Гришке Котлярову потрошить общественный амбар.

В доме Клейменова он прихватил лишь эту вот бабью доху да теплые рукавицы. Председатель волисполкома жил небогато, поживиться особо нечем было. Котляров же греб из сундука председателевой бабы все подряд, ничем не гнушался...

Подумав об этом, Демьян зябко повел плечами. Снова перед глазами ожила картина: они с Гришкой потянули Клейменову за собою, как им и было приказано, на площадь, а та — ни в какую, взялась кусаться, визжать. Тогда Котляров и давай палить в нее да в пацанят, всех почти и положил. Один только белоголовый пацаненок и шмыгнул в сенцы. Пацаненку лет двенадцать, не больше, ноги шустрые, не угнаться. Демьян выскочил за ним в сенцы, шарил-шарил по двору, но того и след простыл. Бог с ним, пусть живет. Для острастки Демьян все же пальнул из обреза в копешку сена у изгороди, снова пошел в дом. Сердце у него зашлось — на полу, в крови, — баба председателева, пацанята... жуть! А Гришка Котляров — в сундук уже забрался, выгребал оттуда бабьи наряды, детскую одежонку... «Бери, чего стоишь?!» — заорал он на Демьяна. И Демьян взял — доху. Руки тряслись, глаза сами собой все на убитых пацанят смотрели, душа болела. Пацанят-то, наверно, Гришка зря положил, в чем они виноваты? Ну, сам Клейменов — этот Советская власть, тут ясно. Баба его... А что баба? Жила и жила, детей рожала-растила. Какая ей разница — при той ли власти, при этой?..

Но ослушаться Гришку Котлярова Демьян не посмел: доложит Марку Гончарову, а у того разговор короче воробьиного носа.

Уже выходя из хаты, Демьян прихватил рукавицы. Лежали они на припечке, сохли. Видно, на всю семью одни были, носили их по очереди — за водой да по дрова.

Рукавицы, конечно, пригодятся. Они ладные, на меху. Да и доха. Можно и самому в ней ходить, тепло. Можно бабе своей, Христе, отдать. Хотя у Христи душегрейка есть, обойдется. А тут, на коне в зимнюю пору — в самый раз!

Перед дорогой, когда все уже в Меловатке побрали и рассовали по возам и попривязали к седлам, вперед погнали сначала «мобилизованных», Котляров затащил Демьяна в дом Рыкалова, где пировали калитвянцы во главе с Марком Гончаровым. Демьяну налили кружку самогона, он хватанул, морщась и дергаясь кадыком, зашелся потом в кашле — не туда попало. Рыкалов услуж-

ливо подал Демьяну миску с квашеной капустой, от капусты дышать стало легче, да и на душе сразу как-то повеселело. Гришка Котляров, как, впрочем, и другие, жрал за столом так, что за ушами трещало, подмигивал Демьяну — ешь давай, чего сидишь, глазами хлопаешь!

Рыкалов и тот, другой, Фома Гридин, суетились в доме, подгоняли каких-то молчаливых перепуганных баб — мол, подливай да подкладывай освободителям трудового народа, пусть едят сколько влезет.

Рыкалов прощался с Марком; они облобызались как родные братья. Рыкалов просил не забывать Меловатку, наведываться, а то коммунисты-большевики снова возьмут верх. Гончаров хохотал, хлопал Рыкалова по плечам — ты, дурья голова, кто посмеет?! Дай только знать в Старую Калитву, прискочем... чертям всем жарко станет!.. Марко цапнул было одну из прислуживающих молодых баб, но та глянула на него с ненавистью, ушла. Демьян видел, как дернулось бурое от выпитого лицо Гончарова, злоба сверкнула в глазах — не привык Марко к отказам по бабьей линии, не привык. И уж сунулся было вслед за бабой (та скрылась за занавеской у печи), но Гончарову стал что-то говорить сидящий рядом с ним Евсей, и Марко слушал с рассеянным взглядом, икал...

«Пацанят жалко, пацанят...» — тягостно думал Демьян, с ужасом представив, что и его с Христей ребятишек кто-то вот так, из обреза... А их у него двое — девчушка да паренек, такой же почти, как и тот, что убежал...

Демьян искоса глянул на Гришку Котлярова — тот все еще жевал; потом сунул за пазуху вареную курицу, облизал пальцы, отвалился на стуле.

— Хозяин, взвару не дашь? — крикнул не оборачиваясь, и Рыкалов цыкнул на нерасторопную, неловкую бабу, едва не уронившую жбан: «Ну! Чего стоишь?!»

Потом, на улице, Котляров хвастался Демьяну, дескать, сапоги добыл добрые, кожушок «справил», бабе вон юбок набрал, тряпок — пусть разбирается. Можно и перешить, в случае чего... А еще топор прихватил да пилу. Можно было и одеяла с подушками взять, да куда ж их класть, и так на коня навьючил...

«А если пацаненок тот в копне сидел? — размышлял о своем Демьян, вполуха слушая Котлярова. — Я же палил, в копешку-то! Да нет, пацаненок забился куда-нибудь, как воробей под стреху, притих... Ну, бог с ним, че-

го теперь. А руки не в крови, нет, он никого нынче не убивал. И все равно тошно, не по себе как-то. Продотрядовцев в Калитве когда били, он ведь тоже в стороне не стоял... Эх, что теперь?! Кто прав, кто виноват — поди разберись».

Демьян выпил еще кружку самогонки, в голове совсем заколодило, не разобрать что к чему, где уж тут думать, на коня бы влезть...

Качался сейчас в седле, клевал посом, а конь вез его куда-то в неведомое...

На полкилометра растянулся обоз, не меньше, — с хорошей добычей возвращался из набега Марко Гончаров, похвалят его за это в Калитве, другим в пример поставят. Может, и его, Маншина, похвалят...

Ладно, начальству виднее, а он, Демьян, человек маленький.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПРИКАЗ

Начальника штаба Воронежской повстанческой дивизии

Хутор Новая Мельница
12 ноября 1920 года

Трудные дни переживаемого нами тяжелого времени, когда каждый гражданин должен быть на страже своих интересов, побудили нас защитить себя от предстоящей голодной смерти, явно еотовимой для нас нашими врагами, варварами-коммунистами. Витающая смерть над нашими жизнями заставила взять в руки все, что попало, и идти против этих бандитов, самовольно вставших у власти.

Для свержения этого тягостного ига, а посему для защиты своего хозяйства, жизней и будущности детей наших, а также для уничтожения готовимых для нас авантюристами ужасных репрессий

Приказываю:

1. Всем гражданам, имеющим от роду 19 по 40 лет, считаться мобилизованными. Они должны нести усиленную строевую службу, строго следя на постах, заставах и караулах за своею обязанностью, данной начальством. Все лошади, кавалерийские и артиллерийские, а также обозные, должны быть безотлагательно мобилизованы и при первом требовании должны немедленно выдаваться. Каждый командир полка обязан следить, чтобы все несли службу и никто не уклонялся от нее, ибо уклоняющиеся от службы будут караться по строгостям военного времени.

2. Также отбитое имущество — трофеи, ценности, добытые в боях, при наступлении, в набегах, — должно немедлснно сдаваться в полковую хозяйственную часть, и ни одна отбитая у непри-

ятеля вещь под страхом строгого наказания не должна оставаться у солдата и переходить в его собственность.

3. При занятии какого-либо селения или хутора грабежей, бесчинств и хулиганства не разрешается, вплоть до расстрела и предания суду по законности. Все граждане, не выполняющие служебных обязанностей, будут жестоко караться.

4. Только благодаря всему этому, тесно сомкнув ряды, мы доблестно добьемся заветной цели, уничтожим и даже сотрем с лица земли жестоких паразитов-варваров, и только тогда для себя и своих детей добьемся свободы, а над всей окровавленной коммунистической страной взойдет счастливая заря спокойной гражданской жизни.

Начальник штаба
И. НУТРЯКОВ
Зав. канцелярией
В. ПОПОВ

* * *

Подписывать этот приказ Колесников отказался. Объяснил Нутрякову: мол, бумага не военная, а так, больше по организации порядка и дисциплины, ты и подписывай. Нутряков пожал плечами, потоптался в недоумении, стал было говорить, что положено командиру дивизии подписывать все приказы, независимо от их назначения, но Колесников стоял на своем, заорал на начальника штаба, и тот, щелкнув каблуками, выскочил вон.

Мрачный и злой, Колесников расхаживал по большой, чисто вымытой ординарцами горнице штабного дома, поглядывал на часы. До начала заседания штаба, которое он назначил на три часа пополудни, еще было время, большинство из штабных уже пришли, можно было их пригласить сюда, в горницу, но Колесникову не хотелось этого делать. За минувшую неделю столько свалилось на него испытаний, столько пришлось пережить, что пора было хоть на час остановить время, разобраться в событиях и в самом себе.

Шаг за шагом Колесников стал восстанавливать в памяти факты, стараясь ставить их в строгой последовательности.

Получалось, что в Красной Армии он служил без особой охоты, хотя быть командиром ему нравилось. В командирской должности чувствовал он себя... увереннее, что ли. Нет, не те слова. Уверенным он был и в царской армии, в звании унтер-офицера, когда в его подчинении числилось полтора десятка солдат, с которыми он делил окопную жизнь на первой мировой войне. Надеялся тогда, что рано или поздно война кончится, он вернется до-

мой, примет у отца запущенное хозяйство, поднимет его. Что ж, в самом деле, пускать по ветру нажитое?! Как-никак, а они, Колесниковы, считались в Старой Калитве хорошими хозяевами: было у них три коровы, пять лошадей, десятка два овец, куры, гуси... Да и техника имелась: косилка, веялка, единственная на слободу молотилка, швейная машина у матери. Горбом все это и отец его, и дед наживали. Ну бывало, конечно, скупал отец лошадей у каких-то темных людей, с выгодой потом перепродавал их, но кто об этом знал? Сам он, Иван, да разве соседи, Шугайловы. Но те помалкивали: старший Колесников был крут на расправу, не пойман — не вор.

После семнадцатого года отец сдал, часто хворал, в письмах, которые писала Настя, меньшая из сестер, сыновей и прежде всего его, старшего, укорял: мол, кому все это я наживал? Девки — дуры, разметают нажитое по чужим семьям, а тебе, Иван, надо хозяином становиться, возвертайся домой. Но что он мог сделать? После революции гражданская война началась, его мобилизовали в Красную Армию, заставили бить Мамонтова, потом Врангеля. Бил. И его били. В девятнадцатом году серьезно ранили (он тогда взводным был), месяца три долечивался дома. Думал: все, спишут на инвалидность, какой из него воин?! Но плечо зажило, его снова вызвали в полк, воевавший в Крыму. И снова закружилась карусель. В одном из боев, у Перекопа, убило эскадронного командира, Меньшикова. Тут же, под горячую руку, назначили эскадронным его, Колесникова, некого больше было. Не спрашивали: хочет он, не хочет... Воевал эскадронным, понял, что это лучше, чем взводным, тем паче рядовым — больше шансов остаться в живых. Рубка на фронтах была страшная, гибли с обеих сторон не то что эскадронами — полками, и тут уж надо было смотреть в оба, изворачиваться. Приходилось иной раз и ловчить: чего ради соваться лишний раз в самое пекло?! Можно и чуть припоздать, пойти на хитрость.

Понятно, приказ есть приказ, попробуй его не выполни, но в любом деле можно при желании найти лазейку, вывернуться. Отец вон как его сызмальства учил: вперед не суйся, задним топтать себя не давай. Так он и старался. Вперед ему, правда что, соваться совсем резону не было, не за ордена воевал, ждал. Положение на фронтах в том же девятнадцатом было шатким: чья возьмет — еще, как говорится, на воде вилами писано. Большевики, конечно, крепко стояли, насмерть, но и белые поддавать-

ся не хотели. Если бы адмирал Колчак не сдал Урал и Сибирь, неизвестно еще, как дела повернулись. Может, и их верх бы вышел. Интересно, как бы тогда его жизнь пошла? Наверно, вызвали бы в белую контрразведку, спросили: воевал? Воевал, а что с того?! Тыщи, миллионы воевали за красных. Поди, откажись. Враз к стенке поставят. И от командирской должности не мог отказаться — тот же расстрел, в бою не до шуток.

Да-а... Дома, в родной Калитве, и то пригрозили: командуй, иначе... А что — тот же Марко Гончаров и глазом не моргнет. Он, Колесников, для него красный, значит, враг, а с врагом разговор короткий. Будешь разве рассказывать Марку, что все эти годы душой противился большевикам, хоть и служил им, что ближе ему по духу и речам социал-революционеры, уважающие в нем, Колесникове, хозяина, его вековой крестьянский уклад. А скажешь — тоже попрекнут, чего сам к нам не пришел, воду мутил? Командуй, и все дела.

Он бы, пожалуй, и не стал сейчас мучить себя этими мыслями, но как еще дело повернется? Выждать бы надо, повременить. Ведь хотел же именно так — проваландался бы дома месяца три-четыре, а там видно было бы. Повоевал, раненный дважды, помотался по белу свету, хватит. Пускай другие, помоложе... Глядишь, большевики еще и окрепнут, тогда уж хочешь не хочешь — принимай их веру окончательно, живи их жизнью. И служба его в Красной Армии засчиталась бы ему на пользу. Но сейчас большевиками многие недовольны. Антонов поднялся, Фомин и Каменюк по Дону гуляют, махновцы на Украине... Все рядом, все — рукой подать. Придут если к власти, спросят: а что же ты, Иван Колесников, отсиживался за бабьим подолом? Что на это скажешь? Тут ему и припомнят службу в Красной Армии, да так, что чертям тошно станет.

Колесников стал у печи, приложил озябшие отчего-то руки к теплому ее беленому боку, грел ладони. Злость на самого себя кипела в душе. Ведь снова, можно сказать, струсил — припугнули, он и... Но кому нужен командир, использующий данную ему власть без цели и желания, а только из страха?! Какой от него прок?

«Лучше бы они меня шлепнули», — тоскливо подумал Колесников, чувствуя, что нет больше сил ломать голову над проклятыми этими вопросами, что он устал, измаялся душой за долгие годы войны, в тайных своих одиноких раздумьях, в бессильной злобе на людей, кото-

рые заставляли и заставляют его делать то, чего ему не хотелось. Он отчетливо понял вдруг, что ему противны и те и другие, и даже более чем противны — ненавистны: большевики за то, что лишили его тихой, пусть и трудной крестьянской жизни, отняли и разорили хозяйство; эти, свои, — за насилие...

В следующее мгновение животное его нутро взбунтовалось — как это «шлепнули»?! За что? Что он сделал людям такого, чтобы они его расстреляли так вот, походя, как собаку? Никаких преступлений он не совершил, если и убивал кого, то в открытом бою, когда воевал за царя-батюшку, за красных...

«Но в душе ты ведь против большевиков, Иван!» — сказал внутренний твердый голос, и Колесников не сумел возразить ему. Он стал было оправдываться перед самим собой — мало ли, дескать, о чем я думал там, на фронте, ничего же не делал против них, большевиков, но тут же вспомнился и отпущенный им из смертных рук трибунала Ефим Лапцуй, и свое недовольство политикой большевиков, и несколько боев, в которых его эскадрон спасался бегством. Но многие же уцелели, да и он сам — живой, почти здоровый. Разве нет среди его кавалеристов тех, кто сказал бы спасибо Колесникову?! Не только же о себе он пекся! В конце концов, отступление — это воинский маневр, хитрость — тактика. Остаться живым и победить — разве так уж это глупо и трусливо? Ведь красные, а значит и он, победили в гражданскую...

Колесников почувствовал уже знакомую ноющую боль в затылке: еще в первую мировую его тяжко контузило, засыпало в блиндаже — едва выжил. Рухнувшие бревна придавили, одно из них ударило в голову. Спасибо солдатам, откопали... Только теперь при сильном волнении начинает звенеть в ушах, а перед глазами мельтешат желтые искры.

Он подошел к цибарке у печи, почерпнул ковшиком ладони тепловатой воды, помочил затылок. Стало, кажется, легче. Да нет, все так же... А, черт!

Но почему все-таки большевиками недовольны? Пусть он один чего-то недопонимал и недопонимает, ему жалко хозяйство отца, он, положим, один не хочет жить так, как ему велят, заставляют. Но поднялась вся Калитва, Дерезоватое, Криничная, Терновка... Бунтует Антонов, а с ним тыщи народа, тот же Фомин, казачий предводитель, украинцы... Им-то всем чего надо? Разве все такие, как он, Иван Колесников?..

А что, правда, придет к власти тот же Антонов? Поставит везде своих людей, бившихся с большевиками, доверит им большие посты, в той же армии... А он разве не смог бы, малость, конечно, подучившись, командовать и полком, и...

«Тебе дивизию дали, командуй! Видят же, что ты — мужик с головой, к военному делу способный...»

«Дали-то дали. Но что это за «дивизия»? Что сделаешь с таким войском? Оружия мало, положение ненадежное...»

«А ты учи. Воевать, бить красных. Верить в победу. В тебя же поверили».

«Поверили! Как бы не так. За спиной — два охранника, день и ночь глаз не сводят. Чуть шагнешь в сторону...»

«А ты не шагай. Зачем? Оглядись, подумай. Будь хитрее. Командуй, а сам — как бы в стороне. Пусть потом, в случае чего, сами и расхлебывают».

«Раскусят. Спецы в штабе не дураки. Те же Нутряков, Безручко Митрофан...»

«Ну и что? Пока побеждаешь — воюй за них. А начнут тебя бить... Из любой ситуации есть выход. Скажешь потом — заставили, смертью тебе и семье пригрозили. Подумаешь тут. А сейчас пока больше помалкивай, пусть делают что хотят. Придет время, скажут: мол, неспособный ты, Иван, на дивизию, ошиблись мы... Иди-ка ты на все четыре стороны».

«Чушь! Никто меня не отпустит. Не справился с дивизией — полком, скажут, командуй. Все одно, из круга его не выпустят. Может, всерьез воевать попробовать? А там — что бог даст».

Колесников снова намочил затылок; стоял теперь бездумно, внутренне опустошенный, безучастно глядя через стекло во двор штабного дома, где что-то делал возле коней Стругов, а стоящий поодаль Кондрат Опрышко лениво смолил цигарку, сплевывал под ноги, время от времени поглядывая на окна...

Колесников прислушивался к голосам за дверью — штабные громко о чем-то спорили. Выделялся голос Трофима Назарука.

«Главное, подлюги, моим именем все творят, — думал Колесников, — убивают, грабят. Сказал же сразу, как только назначили: никакого насилия. Повстанцы должны вести себя аккуратно и с народом ладить. А так получается бандитизм да и только. И какая тут идейная

борьба с большевиками? Кто нас будет поддерживать? А стоять надо на том, что большевики обманули народ, мордуют его продразверсткой. Это прямой обман крестьянства.

Нет, воевать надо знать за что...»

«Иван, а ты можешь крупной птицей стать, если повстанцы победят. — Колесников радостно взволновался.— А что особенного? По военной части вполне мог бы верховодить и на всю губернию. Опять же партия какая-нибудь новая будет, в партию надо обязательно всунуться, легше с нею. Вон Антонов с эсерами крепко подружился, как говорится, ноздря в ноздрю тянут... Надо бы как-то самому смотаться к Александру Степановичу, потолковать с ним. Он мужик башковитый, посоветует...»

Несколько повеселевший, Колесников ходил в хромовых поскрипывающих сапогах по чистому полу горницы; в мыслях он переключился теперь на сегодняшние заботы, злясь на себя за то, что разрешил Марку Гончарову отправиться в дальний набег, аж в Калачеевский уезд, где, по слухам, можно было хорошо разжиться хлебом, а также раздобыть коней. Гончаров обещал вернуться ко вчерашнему вечеру, да, видать, забыл об обещании, увлекся. Может, он со своим эскадроном схватился в бою с каким-нибудь красноармейским отрядом или конной милицией? Все могло быть. Но прислал бы в таком случае нарочного, договаривались же. А теперь думай что хочешь. События под Калитвой разворачиваются таким образом, что и сам Гончаров, и эскадрон, который он увел, очень нужны здесь. Три дня назад, ночью, прискакал из Россоши человек, сообщил, что на Старую и Новую Калитву двинется скоро целая бригада красных войск, состоящая из частей Красной Армии, чека и милиции. И бригаду эту возглавляют губвоенком Мордовцев и комиссар Алексеевский; у бригады — пушки, пехота, а главное — задание как можно быстрее покончить с ним, Колесниковым...

— Сетряков! — зычно крикнул Колесников в закрытую дверь, и тотчас выглянуло в нее сморщенное и глуповатое лицо деда Зуды, добровольца (по годам дед мобилизации не подлежал), назначенного при штабе истопником и «бойцом для мелких поручений».

— Слухаю, Иван Сергеич! — подобострастно и забыто тянулся дед в старорежимной стойке, и весь его вид при

этом смешил: рваный треух свисал на одну сторону, видавший виды кожушок был подпоясан веревкой, а из валенка, в носке, торчала солома; зато из-за пазухи у Сетрякова выглядывала рукоять обреза.

Колесников подошел к деду, потянул обрез.

— И что ж, твоя пушка стреляет? — спросил он строго.

— Та ни-и... — отвечал дед, виновато моргая красными, воспалившимися от дымных печей штабного дома глазами. — Яке там стреляе, Иван Сергев! Ото ж Григорий отдав, каже, шось с бойком. А я все одно узяв. Якый же я бандит без обреза?!

— Ты не бандит! — сурово одернул деда Колесников. — Ты боец Воронежской повстанческой дивизии. И выступил сознательно против коммунистов, бо они готовят для народа голодную смерть. Так и Ленин говорит: кто с Советской властью не согласный и не хочет сполнять продразверстку, того в распыл. Поняв?

Дед согласно затряс головой, треух его сполз на нос, закрыл глаза.

— Так, Иван Сергев, так! — как кобыла торбой, мотал он седой бороденкой. — Шо ж цэ такэ: при земле живем, а голодные як собаки. А?

— Во-о! — похвалил Колесников. — Начинаешь понимать, шо к чему. А то «бандит», «бандит»...—Он вернул деду обрез. — Скажи Опрышке, чтоб наладил твою пушку, мало ли где пальнуть придется. — Он нахмурился.— Оружие чтоб в исправности було, поняв?

Он помолчал, ожидая, что Сетряков что-нибудь скажет в ответ, возразит или согласится, но тот как воды в рот набрал.

— Командиры собрались? — спросил Колесников.

— Та уси вже съихались, — тянулся Сетряков. — Марка́ Гончарова тильки нэма, запропав.

— Ладно. Скажи Опрышке, чтоб звал всех сюда. Иди.

— Слухаю!

Дед, стукнув пятками, повернулся по-военному, пошел к двери, но на первом же шаге наступил на торчащую из валенка солому и, чертыхнувшись, едва не упал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Штаб Повстанческой дивизии сидел за чисто выскобленным пустым столом — Колесников в торце его, а все остальные — Григорий Назарук, Митрофан Безручко,

Иван Нутряков, Ульян Серобаба, Богдан Пархатый — по бокам. Присутствовали на заседании штаба и старокалитвянские кулаки: Трофим Назарук, Пронька Кунахов, Никита Прохоренко, лавочник Ляпота; они расселись вдоль стены, на широкой удобной лавке, слушали, что говорил им Колесников.

— Верный человек дал знать, что коммунисты двинули против нас целую бригаду, — рассказывал тот со значением в голосе. — Сколько их, как вооружены, не знаю пока, но людей богато. Пушки у них есть, пулеметы. Конницы нету, так что тут мы с ними...

— Нехай только сунутся, — хохотнул Григорий, шумно сморкаясь в грязную тряпицу. — Пустим большевикам красную юшку.

— Наступать на нас собираются с двух сторон, — продолжал Колесников, строго глянув на Григория — нашел время болтать! — С Митрофановки и с Евстратовки. На этих станциях выгрузка их войск.

— А когда ж они планируют наступление, Иван? — простодушно поинтересовался Пронька Кунахов.

— А ты сбегай и спроси, — не удержался, съязвил Колесников. — Может, они тебе и скажут по секрету.

— Да ото ж! Врасплох не застали, и ладно.

— Чего там лясы точить, Иван. Готовиться надо да дать красным так, чтоб они и носа больше в Калитву не совали.

— Может, первыми нам напасть на станции, Иван Сергев? Побить их прямо там, в теплушках.

Колесников слушал всех, хмурился. Потом положил тяжелую ладонь на столешницу, прекращая споры.

— Нападать на станции пока не будем, обстановка неясная. Нехай разведка пошастает по округе. Слышь, Иван Михайлович? — Колесников обращался к начальнику штаба, и Нутряков кивнул, поднимаясь: бывший офицер царской армии, он хорошо знал свое дело, в подсказках, в общем-то, не нуждался, сам все предусмотрел. Все это довольно ясно читалось на его выбритом, с холеными усиками лице, как и во всей фигуре, затянутой в ладный френч. На стоящего по стойке «смирно» Нутрякова любовались сейчас кулаки — вот какие орлы в их дивизии, вот какого красавца завлекли они на свою сторону!

— Так вот я и говорю, — продолжал Колесников, исподлобья разглядывая Нутрякова. — Чтоб Сашка Конотопцев не девок на Чупаховке у нас щупав, а гонял бы

со своими хлопцами по округе. На станцию своих людей надо послать, нехай поотираются там, послухают, понюхают... Глядишь, чего нужное и поймают. Иначе на кой черт нам целый взвод разведки держать?

— Понятно, Иван Сергеевич, — вежливо, несколько даже переигрывая в вежливости и в своей стойке, отвечал Нутряков. — Зря мои разведчики хлеб не едят, не думайте. Мы имеем кое-какую новую информацию о намерениях красных, я потом доложу. Сведения конфиденциальные.

— Чого вин сказав? Яки сведения? — завозились на лавке кулаки.

— Попрошу чуток потише, — глянул в их сторону Колесников. Жестом велел Нутрякову сесть, обвел притихших штабных суровым взглядом. — Требую от командиров дисциплины. Нияких там шатаний, гульбы, грабительства. Людям своим вбивайте в головы: край свой мы от голодной смерти спасаем. Это каждый повстанец должен хорошо понимать и биться за это насмерть. Коммунистам скоро крышка. Мы в ближайшем будущем соединимся, мабуть, с армией Александра Степановича Антонова, ведем пока переговоры. Советуют нам слить местные силы с нашими соседями — Вараввой, Стрешневым и Курочкиным, с отрядом Костина... запамятовал, как величать его... Андрей Мироныч, да!.. Там же, в Борисоглебском уезде, отряды Шурки и Пани не знаю, как их полностью величают. С батькой Махно надо снестись, може помощь какая нужна нашим украинским братам. Главное же, будем держаться Александра Степановича. У него прямая связь с партией эсеров, с белокаменной нашей. Подымемся дружно, освободим столицу...

— Вот это дело! — одобрительно кашлянул Пронька Купахов. — Ленина в первую голову скинуть из Москвы треба. Я так розумию.

— Доберемся и до Ленина, — важно сказал начальник политотдела Митрофан Безручко, молчавший до сих пор. — Разобьем коммунистов, свою, народную власть установим. Безо всякой политики. Нехай она и Советской будет прозываться, слово хорошее. А политика у крестьян одна — жито сеять, землю пахать, детей ро́стить. Так, не?

— Так, Митрофан, так! Ты крестьянина не замай, и он за ружжо браться не сунется.

— Ох, голова наш политотдел!

— Гарно сказав!

— Може, и по-мирному с коммунистами поладим, а? Чего людей переводить?! Пахать некому будет.

Колесников терпеливо пережидал шум.

— С красными схватиться придется, — мрачно сказал он. — Большевики ничего просто так не отдадут, я их породу знаю. А потому надо отбить у них охоту являться сюда раз и навсегда. Колошматить их будем для началу по балкам да по лощинам. Больше, думаю, ночами надо. У нас пока мало боеприпасов, да и оружия. Пушек всего две... Как там со снарядами? — повернул он голову к Серобабе.

— Да як, — Серобаба, черный как грач, посатый, с бельмом на правом глазу, тоже вскочил за столом, тянулся, подражая Нутрякову, но куда там! Ни выправки, ни осанки — пугало огородное, да и только. Колесников не сумел сдержать ухмылку.

— По два снаряда на орудие, Иван Сергеевич, — докладывал Серобаба, красный от натуги и волнения — не привык ко всеобщему вниманию. — Курям на смех, бабам на потеху. Як веницу ока снаряды берегу. Пальнув бы когда, надо ж хлопцив обучать, да... Дрючок закладаем, а кто-нибудь из хлопцев горлом бабахае... Гм.

— Пушки надо при первой же возможности отбить у красных, — сказал Колесников. — А из наших пальнуть при случае, нехай думают, что снарядов у нас много. Тут главное панику среди красных начать, — продолжал он после паузы, какую не посмел нарушить никто из штабных. — И от одного снаряда побежать могут.

Серобаба, моргая усиленно кривым глазом, кивал, соглашался, а диковатая его физиономия бурела в смятении — ну где их взять, эти чертовы пушки, красные и сами их пуще глаза берегут, поди отыми!..

— Санчасть как? Банки-склянки? Бинты? — напористо спрашивал Колесников, потеряв интерес к начальнику артиллерии — команда дана, пусть сам голову поломает.

— С этой стороны никаких неожиданностей не будет, Иван Сергеевич, — снова поднялся Нутряков. — Я лично проверил у нашего доктора Зайцева запас медикаментов и перевязочных материалов. Полагаю, что на три-четыре боя их хватит. Бинты и марлю взяли в одном из набегов в Бобровский уезд, пришлось... хе-хе... красным товарищам поделиться с нами. В помощь Зайцеву выделены два фельдшера и несколько сестер милосердия из слободских молодых баб; фельдшеры — из дезертиров...

— Не из дезертиров! — тут же оборвал начальника штаба Безручко. — Заруби это себе на носу, Иван Михайлович! Не дезертиры у нас, а сознательные граждане-бойцы! Поняв?

Нутряков, не привыкший, видно, чтобы на него повышали голос, заметно побледнел.

— Пусть будет по-вашему, Митрофан Васильевич. Я полагаю, что сути это нисколько не меняет...

— Нет, меняет! — заорал Безручко и трахнул ладонью по столу. — Это там, у них, дезертиры, а у нас — повстанцы, освободители народа!..

Нутряков молчал, царапал ногтем столешницу; молчали и все остальные.

Колесников примирительно поднял руку.

— Батьки! — повернулся он к старикам. — Теперь до вас дело. Мы сегодня на Новую Мельницу двинем, там штаб будет. Просторней у хутора, с бугров хорошо округу видно... В Старой Калитве Григорий остается со своим полком. — Он поднял глаза на Григория Назарука, и тот поспешно кивнул, привстал. — Во все глаза тут гляди: посты выставь, конные разъезды пусти по-над Доном, по балкам нехай проезжаются туда-сюда. На колокольню одного-двух посади, кто глазами позорчей, мало ли... А к вам, батьки, вот какое дело: коней надо хорошо накормить, сена или овса в лесу, мы скажем где, припрятать. Мало ли как бои повернутся... Может, и отсидеться придется день-другой, не без этого.

Назарук-старший шевельнулся на лавке, лапищей погладил бороду.

— Ты, Иван, про то не думай, это наша забота. Воинство твое прокормим. Давай красных гони подальше от Калитвы. А зерна да сена найдем. Вон цельный обоз из Боброва пригнали — и пашаничка есть, и овсу немало. И Гончаров вот-вот явится...

Колесников поднялся, одернул гимнастерку. Белой рыбицей шевельнулась на боку шашка в отделанных замысловатой вязью ножнах.

— Ну шо, батьки? Кланяюсь вам. Дай вам бог здоровья!.. Сейчас вы, мабуть, ступайте по домам, а мы тут покумекаем еще по военному делу.

Старики поднялись, загомонили разом; двинулись один за другим, как гусаки, к дверям, в приоткрытую щель которой сунулась любопытствующая бороденка деда Сетрякова. Боец для мелких поручений топорщил ухо, спраши-

вал выцветшими глазами: «Ну, шо тут у вас? Шо решили?»

— Дед! — позвал Колесников. — Скажи Опрышке или Стругову, чтоб лампу нам засветил. Да выпить там, закусить... командиры проголодались.

— Слухаю, слухаю! — торопливо ронял Сетряков и горбился в кожушке, пятился задом. А затворив дверь, переменился, закричал визгливо: — Опрышко! Кондрат! Игде ты, черт волосатый?! Картоху давай!

Явился не спеша Кондрат Опрышко, телохранитель Колесникова, поставил на стол квадратную бутыль с самогонкой, вытянулся изваянием у Колесникова за спиной — какие еще будут приказания? Колесников молчал, с интересом наблюдая за дедом Сетряковым, который, семеня, обжигая руки, тащил полуведерный чугунок с парящей картошкой; под мышкой у него торчал толстый шмат сала.

— Чаво ишшо, Иван Сергеевич? — прогудел за спиной Опрышко, и Колесников даже вздрогнул от неожиданности.

— Ничаво, — поморщился он. — Деда карауль. А то выкрадут еще лазутчики.

— Не выкрадут, — серьезно и деловито прогудел Опрышко, не поняв иронии. — Мыша не пробежит.

— Ну-ну, иди.

Опрышко, а вслед за ним и дед Сетряков вышли, а штабные потянулись к стаканам... Сдвинули потом лбы к карте, которую Колесников самолично развернул на столе; сытые и полупьяные, слушали дивизионного командира вполуха.

За окнами штабного дома уже хозяйствовали вязкие, скорые на расправу с ноябрьским днем сумерки.

* * *

Гончаров с эскадроном и обозом явился в Старую Калитву к концу штабного заседания, к полуночи. Издали раздался топот притомившихся дальним переходом коней, скрип множества подвод, возбужденные голоса людей.

Колесников вышел на крыльцо, зябко подергивая плечами, настороженно нюхая стылый морозный воздух. Высоко над головой в фиолетовом, без дна, небе блестели крупные белые звезды. Висела где-то за спиной яркая молодая луна, заливала густым молочным светом округу.

Шире казался пойменный калитвянский луг, дальше, к самому горизонту, отодвинулся лес, дома слободы стали игрушечными, ненастоящими. Звуки, доносившиеся с края улицы, воспринимались остро и отчетливо, тревожили душу и слух. Сжалось сердце: необычайный простор и свобода чудились Колесникову в этом подлунном мире, среди тишины и звезд, где каждое живое существо по праву и желанию должно выбирать себе путь, стремиться к избранной цели. Ведь так просто все и понятно: вон, на лугу, белой дорогой лежит лунный след, иди по нему куда хочешь, чувствуй себя независимым, сильным, уверенным...

Мелькнула в небе какая-то тень, наверное, испуганная людьми птица искала себе новое пристанище, и Колесников долго глядел вслед этой тени...

Зачем он смалодушничал тогда, в штабе?! Зачем согласился возглавить Повстанческую дивизию? Ведь ничего путного из этой затеи все равно не выйдет. Он знает большевиков: они не отступятся, не отдадут власть. Что значит для них горстка тех же антоновцев, махновцев, бунтующих на Дону казаков, взявшихся за оружие калитвян против могучей России? Что они могут сделать с этим вот безбрежным миром, с этим лунным светом и далекими звездами? Можно ли заставить солнце подниматься с другой стороны?

Бежать! Надо бежать! Пока не поздно, пока еще руки не в крови... А Лапцуй? Если об этом узнают в полку... Теперь узнают, если он и убежит. Трофим не простит, позаботится о том, чтобы в полку узнали. Он, Колесников, сам себя загнал в западню, захлопнул дверь. Выхода нет. Теперь ему не простят — ни те, ни другие.

— Сволочи! — с отчаянием сказал Колесников, сам не зная, кому адресует свой безысходный гнев и бессильную злобу. — Сволочи! — повторил он уже спокойнее. В конце концов Трофим Назарук и тот же Марко Гончаров могли его только припугнуть — за что же, в самом деле, лишать жизни Оксану, мать и его сестер? Они же и раньше знали, что он служит в Красной Армии!

Колесников скрипанул зубами: да нет же, нет! Чего он паникует, нагоняет страху на самого себя?! Он на службе, в отпуску, обязан вернуться в полк. Пойти вот сейчас, потихоньку, за Дон, через лес и Гороховку, в Мамон — там красные. Штабные — пьяные, придет из набега Гончаров, все будут заняты им...

«Иди, иди, — сказал знакомый насмешливый голос.—

Ждут тебя там у красных, в особом отделе, не дождутся. Шашечку белую припомнят, еще кой-чего. Дорожка у тебя теперь одна, Колесников. Покатился колобок — не остановишь».

«Да не хочу я, не хочу! Долго ли это «восстание» продержится?»

«Раньше надо было думать, не маленький... А тут, глядишь, есть смысл повоевать. Никто же не знает, чем дело кончится».

«Ненавижу! Ненавижу всех до единого!» — черной кровью обливалось сердце Колесникова. Он отчетливо понимал, что ненавидел сейчас прежде всего самого себя, как понимал и то, что нет уже для него пути ни назад, ни вперед...

* * *

Эскадрон Гончарова на вялой рыси скоро подскочил к крыльцу; за эскадроном тянулась длинная вереница тяжело груженных подвод и даже саней, хотя снегу еще было мало.

У штабного дома сразу стало многолюдно, шумно, колготно.

Марко гарцевал на высоком белоногом коне; по-кошачьи цепко спрыгнул на землю, кинул поводья уздечки деду Сетрякову, вынесшему Колесникову шинель, — не захворал бы Иван Сергеевич, распарился в доме да сразу на холод.

— Ну? Как сходил? — спросил Колесников Марка́, в свете луны приглядываясь к его довольной физиономии. — Что долго так?

— Да что, — сплюнул Марко. — Пока власть скинули, председателя волисполкома судили, комсомолу мозги вправляли... Ну, бабу одну гузкой заставили посверкать, больно уж она кудахтала... Много было делов, Иван Сергев. Воинство свое увеличил на пятнадцать человек, с конями...

— Ну-ну, хорошо. Овса привез?

— Семь подвод. Да пшеницы восемнадцать.

— Кони-то, что взял, добрые? И люди — кто они?

— Кони верховые, а люди... — Марко пятерней почесал в голове, под шапкой. — В бою покажутся. Разговор с ними короткий був: не хочешь до нас идти, становись к стенке. Двоих проучили, остальные сами побегли.

Колесников, слушая Гончарова, пошел с крыльца, оглядывая спешившийся эскадрон, вслушиваясь в голоса

людей, усталое всхрапывание лошадей; у одной из подвод он остановился, удивленно приглядываясь к сидящей в ней женщине, — что за явление? Молча повернул голову к Марку, и тот, понимая молчаливый вопрос, лихо цыкнул сквозь зубы:

— Вот, командир, девку себе отхватил. При председателе тамошнем секретарем была. Злющая — ух! Ни с какого боку не подступишься. Еж да и только.

— Секретарь, говоришь? — рассеянно переспросил Колесников, подошел ближе, вгляделся.

Лида — замерзшая, перепуганная, наревевшаяся до головной боли и слабости во всем теле — подняла глаза.

— Как зовут? — отрывисто спросил Колесников.

— Соболева, — сказала Лида и отвернулась. — Говорила уже.

— Пошли-ка на свет, — велел Лиде Колесников и смотрел, как она неловко слезала с брички, оглядывалась, переминаясь на задеревеневших, видно, от долгого сидения ногах; молча смотрела в свою очередь на него — ну куда, мол, дальше?

В комнате при свете лампы Колесников оглядел Лиду с головы до ног.

— Хм... — Лицо его дернула жесткая улыбка. — Грамотная?

— Грамотная.

— При штабе тебя оставлю, бумаги будешь писать.

Лида сузила глаза, голос ее срывался.

— Думаешь, работать на тебя буду?! Грамоту свою тратить на бандитские ваши дела?! Макара Василича на моих глазах убили, Ваню Жиглова... Жениха моего...

Колесников, коротко и зло размахнувшись, ударил Лиду в лицо. Девушка, вскрикнув, упала.

— Тут я приказываю! — чеканя каждое слово, гаркнул он. — И ты будешь делать то, что прикажу, или шкуру с тебя спустим. Опрышко! — властно позвал он.— Или кто там есть?

В комнату сунулся Филимон Стругов, ездовой, за ним, деловито сопя, протиснулся в дверь Кондрат Опрышко; вошел и Марко Гончаров, исподлобья недовольно поглядывая на Колесникова — что еще тот задумал?

Лида поднялась с пола, глаза ее горели ненавистью.

— Справился, да? — бросила она с вызовом Колесникову. — С девкой-то. Глянь какой! С одного удара валишь.

— А ты б сама ложилась, — хохотнул Марко, постукивая плеткой по руке.

— Погоди! — бросил ему Колесников. И снова Лиде: — Ты поняла, что я сказал? При штабе бумаги будешь составлять.

— Ты что же это, Иван... — У Гончарова сам собою открылся рот. — Себе девку забираешь, так?

— При штабе останется, — отрубил Колесников. — Бумаги писать, а ты, Марк Иваныч, те бумаги читать будешь, поня́в?

Гончаров изменился в лице; матюкнувшись, повернулся на каблуках хромовых, раздобытых в прошлом набеге сапог, пошел к двери. У самого порога замедлил шаги, что-то хотел сказать — резкое, злое, даже спина его в добротном кожухе выражала протест и лютое недовольство решением Колесникова, — но передумал, трахнул дверью, ушел.

— Стругов! Опрышко! — как кирпичи, положил Колесников слова приказа. — Девку бачите?

— Так точно, Иван Сергев!

— Бачимо!

— Так вот, чтоб ни один волос с ее головы не упав, понятно? Бо я из ваших волосьев уздечку прикажу сплести, понятно? А тикать вздумает эта краля — руби!

Филимон с Опрышкой, как кони, замотали головами. Повинуясь жесту Колесникова, один за другим вышли вон.

— Страсть люблю занозистых девок, — сказал Колесников Лиде. — Ще парубком за такими ухаживал... Да ты раздевайся, натоплено тут. Трошки посиди, а потом на Новую Мельницу поедем, там будешь жить.

Лида не ответила ничего, сидела, понурившись, на лавке.

— Сговорчивой будешь, так и вправду волос с головы не упадет. — Колесников ходил перед нею, тяжело скрипели под его ногами половицы. — А дурить примешься, вон Опрышке для разносу отдам. Видала, какой?

— Потянули-и-и... Хлеб потянули-и... — донеслось визгливое с улицы, и Колесников подхватился чертом, вылетел на крыльцо.

Лида, припав к окну, видела, как сгрудились у подводы с мешками какие-то люди, как Гончаров подскочил к одному из мужиков, вскинувшему на спину поклажу, ахнул его кулаком в лицо. Мужик уронил мешок, упал и сам, сбитый с ног очередным ударом.

«Зверь!» — с содроганием подумала Лида, отворачиваясь от окна, вздрагивая уже знакомой дрожью, окончательно теперь понимая всю сложность своего положения.

— Кого это Марко прибил? — услышала она строгий голос Колесникова.

— Да Маншина, Демьяна, — весело ответил чей-то молодой голос. — Я, говорит, сам этот мешок на телегу клав, до дому собрався утащить.

— Мало ли что клав, — уронил начальственное Колесников. — Добро теперь общественное, коней кормить...

Он вернулся в дом, хмуро, мимоходом глянув на побледневшую Лиду.

* * *

Этой же ночью штаб Колесникова переехал на новое место — в хутор Новая Мельница. Хутор стоял под бугром в затишке, в лунной тени еще одного бугра, слева. Внизу блестела схватившаяся льдом речушка Черная Калитва, вяло дымили десятка полтора труб, заливисто брехали разбуженные собаки, фыркали, осваиваясь в новых конюшнях, лошади штабных.

Лиду поместили в боковухе небольшого деревянного и теплого дома, хозяйкой которого была острая на язык старуха Авдотья — уже в первые минуты она наговорила Лиде бог знает чего: и чтоб сама себе «постелю» хлопотала, и чтоб корову ей доила, и чтоб полы через день мыла — будут тут топтать... За стеной разлеглись Опрышко с Филимоном Струговым. Опрышко почти моментально захрапел — да какое там захрапел! Стекла зашлись протестующим нервным звоном!.. А Стругов долго возился, вздыхал, почесывался: донимали, видно, блохи.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Лежа на жесткой полке прокуренного и неимоверно скрипящего вагона, Шматко намеренно делал вид, что спит. Говорить ему с попутчиками — двумя без умолку тараторящими бабами и пыхающим самокруткой мужиком — не хотелось. Было о чем подумать в этом переполненном людьми поезде, медленно ползущим на юг губернии. Да и не стоило привлекать к себе внимание. Бабы явно любопытные: та, что помоложе, несколько раз уже

поднимала голову, звала попить вместе с ними кипятку — мол, не стесняйся, парень, если у тебя ничего нету, и сахарину найдем, и кусок хлеба, слезай. Шматко сказал, что ел недавно, сыт, скоро будет дома... К тому же он не любит сладкого. А за приглашение спасибо, бабоньки...

Его оставили в покое, и Шматко, повернувшись на шинели, затих. Смотрел в крашенную липкой коричневой краской стену вагона, слушал близкое сырое дыхание паровоза, лязг буферов, думал. Часа через три поезд придет на станцию, до родной Журавки там рукой подать, две версты. Можно и пешком, а случится какая оказия — подъедет.

В Журавке, кроме тетки Агафьи, тугой на уши старухи, теперь у него никого нет. Отца в восемнадцатом году забили шомполами казаки генерала Краснова, мать померла следом, по весне. Дом их стоит пустой, разграбленный. Тетка присылала как-то письмо, написанное соседской девчонкой: не обессудь, Иван, что не уберегла ваше добро — лихие люди все повытаскивали. Да какое там «добро»! Ухваты остались и чугунки. Живности у матери было две-три курицы да тощий петушок, ну, одежонка кой-какая осталась от отца...

Хоронили мать без него, Ивана, гонялся он в это время за махновцами на Украине. Потом вернулся, служил в Богучарском полку начальником пулеметной команды, бился в Крыму с Врангелем. За годы гражданской войны раза два, наездом, был дома. Заколотил хату кусками горбыля, постоял на родном подворье да и был таков. Шла еще великая битва с белогвардейщиной, не до хаты — некогда горевать. Бросил все и уехал.

Теперь вот возвращается. Для людей — насовсем, так как хватит, навоевался. Жить пока будет у тетки, Агафья хоть сварит ему да бельишко при случае простирнет. А там видно будет. В его хате и печь развалили, холодно, глина со стен осыпалась, как там жить? Но хата пригодится: на днях из Богучара приедут трое назначенных в отряд, потом еще. Спрашивать будут «батьку Ворона»: мол, прослышали о таком, дело к нему есть. Люди эти проверенные, из Богучарской милиции и ревкома, кое-кто из Павловска приедет, там Наумович подбирал кандидатов. Любушкин, когда прощались в Воронеже, сказал: твое дело, товарищ Шматко, самому хорошо в Журавке закрепиться, нужный слух пустить, показать себя. А люди будут, это наша забота. Из местных мужи-

ков тоже подбери нескольких, больше будет веры. Но смотри, чтоб не вышло осечки, иначе...

Да что он, маленький?! Заподозрят «батьку Ворона» — считай, дело провалено. Колесниковцы ни на какие переговоры с ним не пойдут, а просто уничтожат отряд и все. В том-то и задача, чтоб поверили. А там можно будет договариваться о «совместных» действиях, с Любушкиным они хорошо это обдумали, даже операции наметили. То на железнодорожную станцию нужно будет напасть, то на общественный ссыпной пункт, то обоз с хлебом перехватить или тот же продотряд разгромить...

«Банду» они с Любушкиным решили создать человек в семьдесят, не больше. Эскадрон. Часть лошадей возьмут в милиции да по окрестным деревням, а другие придется отбить в «набегах»...

Кого-то, видно, предупреждая на путях, заревел паровоз. Шматко свесил голову с полки, глянул в окно. Пошли уже знакомые места. Россошь проехали, долго стояли в Митрофановке, теперь уж километров десять осталось, не больше. Можно слезать.

Шматко спрыгнул на пол, натянул сапоги, шинель. Бабы, привалившись друг к другу, дремали, крепко держа на коленях чем-то набитые корзины. Мужик сидел у окна, позевывал.

— Приехал, что ль? — спросил он равнодушно.

— Ага, приехал, — кивнул Шматко.

Бабы услышали их разговор, проснулись, завозились, как куры. Молодая поглядывала на Шматко с прежним интересом — он, по всему, нравился ей.

— Мне, что ли, тут сойтить? — игриво сказала она.— А, Марусь?

— Гришка тебе сойдет, — ворчливо ответила другая баба. — Што я ему говорить-то буду?

— Ай, ну ево! Скажи, что у Россоши застряла, не смогла на поезд сести.

— Езжай, езжай, — улыбнулся молодухе Шматко. — В другой раз сойдешь.

— А ты... еще будешь ехать? — с надеждой спросила она. — Я дак в Россошь часто ездию, у меня свояченица там.

— Буду, буду, — пообещал Шматко. Он застегнул на все крючки шинель, присел на лавку — было еще время.

— Как зовут-то тебя? — спросил молодую.

— Дуня, — сказала она и зарделась. — Ветчинкины мы.

— Понятно. А меня Иваном зовут.

— Ага, Иван, — повторила Дуня и отчего-то засмеялась.

Поезд подкатил к станции, дернулся и стал. Шматко поднялся, кинул на плечо котомку, поклонился попутчикам.

— Ну, прощевайте, бабоньки. Ауфвидерзеен. Счастливо вам.

Он пробирался в тесном проходе между суетящимися людьми, спиной чувствуя взгляд молодой женщины. Уже с перрона махнул ей рукой — Дуня прилипла к окну, улыбалась ему. Хорошо было на душе, радостно как-то...

На голой степной дороге в Журавку его нагнала подвода. Шматко услышал позади себя грохот колес, фырканье лошади; повернув голову, смотрел на приближающегося возницу — плюгавенького мужичонку, в облике которого было что-то знакомое.

— Никак Иван?! — крикнул издали мужичонка и обрадованно затпрукал на лошадь, натянул вожжи.

— Яков? Ты?! — удивленно сказал Шматко, подавая односельчанину руку. — А я сразу и не признал.

— Да я, кто ж еще! — смеялся тот щербатым ртом, и желтые его, острые на концах усы смешно топорщились. — Садись, подвезу... Откуда путь держишь?

Шматко сел поудобнее, не спешил с ответом. Якова Скибу знал он с мальства, парубками на улицах Журавки сходились, бывало, в кулачных потасовках. Яшка открытого боя избегал, норовил ударить исподтишка, сбоку. Сторону в драках принимал сильных, тех, кто побеждал, слыл трусливым и ненадежным. Его потом били и те и другие. Щербатый рот — это с молодости, с памятных тех молодецких утех.

— Как там дом наш, стоит? — спросил Шматко.

— Стоит, куды денется! — Яков стегнул кобылу концами вожжей, но та лишь шевельнула куцым, в репьях хвостом, а ходу не прибавила. — Я слыхал, ты у красных был,— снова завел разговор Яков.

— И у красных, и у зеленых, у кого только не был!— Шматко досадливо махнул рукой. — С Махно вот как с тобой говорил...

— Так ты что же... у него... Или как?

— Гуляли, гуляли по Украине. — Шматко притворно зевнул. — Надоело все до чертиков!.. Ты-то, Яков, как живешь?

— Ды как! По-разному. Днем, стал быть, — так, ночью — эдак.

— Непонятно.

— А чего ж тут понимать, Иван? — хитро щурил маленькие бесцветные глазки Скиба. — Днем светло, а ночью — темно...

— Ну-ну, философ. Большевики тут сильно жмут?

— Да не так, чтобы очень... А ты из каковских будешь, Иван?

— Я-то?.. Я теперь сам по себе. Свободу люблю. Батько Махно научил. И вообще. Жизнь — она штука короткая.

— Да эт так, конешно. А что ж до дому бегишь? Разбили или как?

— Может, и разбили. Тебе-то что? — Шматко подозрительно глянул на Скибу.

— Так я... — Яков увел глаза. — Интересно, поди мы с тобой из одной слободы. Сколько годов не встречались.

— Вот и встретились, — неопределенно сказал Шматко.

С заснеженного бугра открылась им Журавка: припорошенные снегом соломенные крыши слободы, черные, как паутина, ограды огородов и дворов, белые дымы из труб. Тихо было и хорошо.

— Три года прошло, — вздохнул Шматко. — А вроде вчера уехал. Слобода по ночам снилась. Хоть и нет никого, а душа все не на месте.

— Родная землица, как жа, — согласился Яков. — Тянет до дому, это уж известно... Чем займаться думаешь, Иван? Голодное время-то.

— Чем!.. Хм. Подумать надо. На первый случай припас маленько, хватит, а там поглядим. А ты что это, Яков, выспрашиваешь? А? Не свистун у большевиков? А то гляди, у Ворона разговор короткий,— Шматко выразительно сунул руку за пазуху.

Скиба ненатурально как-то, испуганно захихикал.

— Токо мне и свистеть, Иван. Со щербатым-то жевалом. Чего мелешь?! Да и шкура — одна у каждого. Жалко.

— Шкуру береги, пригодится, — посоветовал Шматко. Он помолчал, зябко повел плечами: холодно, однако, в шинели, продувает. Как можно безразличнее спросил Якова: — А что в Журавке — тихо? Никто не шалит? Большевики вроде далеко.

Тот пожал плечами, шмыгнул простуженным носом.

— Ды как тебе сообчить, Иван. Время, конешно, неспокойное. Всякое бывает. Говорят, Колесников какой-то объявился.

— Колесников?.. Не слыхал. Кто это?

— А кто его знает! Говорят, из Калитвы, мужиков против Советов поднял.

— Гм. Смелый. Ну и что дальше-то?

— Дык... — Яков поперхнулся. — Власть свою установили, войско у них.

— А ты? В стороне? Или как?

Маленькое, сморщенное годами личико Скибы расползлось в загадочной усмешке.

— Мы люди темные, Иван. Живем тихо.

— Ну-ну. Сиди. А я что... Я сидеть, видно, не буду. Своя дорога. К Колесникову этому не пойду. Видал уже разных атаманов. Свободу люблю. И чтоб над душой не стояли. Вон батько Махно. Живет в свое удовольствие. То он большевиков гонял, то они его. То с белыми сватится, то против них... Ха-ха! Весело! Это я понимаю. Ты, говорит, Ворон, о себе думай. Чего, говорит, душа твоя просит, то ты ей и позволяй.

— Ворон... Это кто ж такой? — кашлянул Яков в кулак, вытер ладонью губы.

— Много знать будешь, скоро помрешь, — хмыкнул Шматко и знаком велел остановить подводу. Сошел с брички, отряхнул от соломы шинель.

— Да вам человека пришибить, што собаке муху проглотить, — покорно и боязливо сказал Скиба, с явным облегчением прощаясь со своим попутчиком.

— Ты вот что, Яков, — строго проговорил Шматко,— чтоб о нашем разговоре — никому. Понял? В одно ухо влетело, в другое вылетело. Мало ли о чем я тут болтал. Не видал, не слыхал, не подвозил. Ну? Кумекаешь?

— Да чего уж тут не понять! Можешь считать, в землю зарыл.

— Агафья-то жива?

— Жива. Вон, дым из трубы видишь?

— Вижу. Ты езжай, Яков. Спасибо, что подвез. А я тут, проулком. Короче, да и лишних глаз нету.

Скиба уехал, бричка долго еще громыхала колесами по пустынной улице Журавки. Шматко пошел, как наметил — проулком. Думал о том, что ему повезло с Яковом: он ни за что не утерпит, не удержит «секрета»,

с кем-нибудь да поделится. Уж Якова он знает! Скажет, поди, бабе своей, та — соседке...

Агафья — сухая телом, высокая старуха, закутанная драным теплым платком, — рубила во дворе сухую акацию. Она не слышала, как Шматко вошел во двор, стоял у нее за спиной, с улыбкой наблюдая за спорыми руками тетки. Потом взял у нее топор, и Агафья ойкнула, испугалась; подняла на племянника глаза:

— Ой, Ива-ан! Та видкиля ж ты взявся?! Матэ ридна!

— Да вот приехал, — Шматко показал на сучковатую и крепкую акацию, — помочь дровишек тебе нарубить...

...Вечером они сидели у теплой печи, и Шматко, напрягая голос, говорил тетке, что был на Украине, воевал там, а сейчас вернулся насовсем до дому — списали по контузии. Собирается ремонтировать свою хату, жинку бы надо завести, тридцать уже годов по земле все один да один мается, погулял, будет.

— Так, Иван, так, — согласно кивала тетка. — Что ж, хату бросили, батько с матерью сколько годов ее, проклятую, строили. Мать вон глины сотню возов на себе перетаскала, не меньше, живот сорвала, оттого и померла раньше сроку. И жинку треба заводить, это ты, Иван, гарно придумав, не молодый уже...

«Надо, конечно, в свою хату перебираться, — думал о своем Шматко. — Нельзя Агафью под удар ставить. Ведь, в случае чего, не простят ей племянника. И отца припомнят, и его службу в Красной Армии...»

Он забрался на пахнущую овчиной печь, блаженствовал в тишине и покое; в горнице ворочалась и вздыхала на кровати Агафья. Выл в печной трубе ветер: разыгралась, видно, на дворе метель. Хорошо, что успел он вовремя добраться до жилья, шел бы сейчас со станции...

Вспрыгнула с пола кошка, осторожно шла по ногам Шматко, отыскивая, вероятно, свое, привычное здесь место. Он взял ее на руки, положил рядом с собой, гладил. Любил кошек с детства, так же вот клал с собой на ночь, а мать, уже у сонного, забирала кошку, журила ее тихонько: «Ишь, барыня, разлеглась. Мышек иди лови...»

Шматко улыбнулся, ощутив себя босоногим худеньким пацаном, почувствовал вдруг руки матери, бережно накрывающие его стеганым лоскутным одеялом, даже голову поднял — показалось, что мать стоит возле печи, смотрит на него... Вздохнул, разочарованный, теснее прижал к себе кошку и заснул.

* * *

Дня через два явились в Журавку двое неизвестных. Спросили Ивана Шматко, пошли к дому Агафьи — оба молодые, с шустрыми смелыми глазами, в солдатских папахах и добротных сапогах. В хате вели себя шумно, выставили на стол склянку самогонки, но пили мало. Тетку Шматко величали Агафьей Спиридоновной, и она, непривычная и к такому обращению, и к поведению пришлых этих хлопцев, терялась: что за люди? чего им надо от Ивана?

Шматко объяснил тетке, что это товарищи по фронту, воевали вместе, люди мастеровые, печи умеют класть. Будут заниматься там, в хате, он вроде как нанял их.

Все трое уходили спозаранку в Иванов дом, ремонтировали его; скоро задымила печь, и запахло жилым.

Хлопцы прижились у Ивана, не спешили отчего-то возвращаться по своим домам. Скоро появились у них кони, кто-то из журавцев видел у приезжих то ли наганы, то ли обрезы. Ночами в доме Шматко подолгу не спали — горела лампа, шла вроде как гульба: о чем-то громко спорили, пели песни... Потом явились еще пятеро. Эти приехали на санях о двух лошадях, двое стали на постой у деда Линькова, а трое — у Шматко. Те, что были помоложе, ходили по Журавке, цеплялись до девок, несли всякую ахинею — дескать, они ни за какую власть, плевать им на Советы и на Колесникова, у них свой батько, Ворон...

На несколько дней Шматко уводил куда-то своих людей, потом они снова появлялись, но уже в большем количестве. Снова слонялись по слободе, зазывали журавских мужиков к себе, в «свободный от политики отряд», хвалили Ворона — жить с ним можно припеваючи, свободно, никого не неволит, делай что хошь...

В Журавке окончательно теперь утвердилось: Иван Шматко привел в родную слободу банду.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПРИКАЗ

Штаба объединенных войск южного района Воронежской губернии

Всем уездным исполкомам, ревкомам и укомпартам:
(ОСТРОГОЖСК, ПАВЛОВСК, БОГУЧАР)

В целях ликвидации бандитизма и кулацких восстаний в южной части Воронежской губернии сего числа на станцию Россошь

прибыл штаб объединенных войск южного района во главе с командующим войсками тов. МОРДОВЦЕВЫМ и чрезвычайным комиссаром, уполномоченным губкомпарта, губисполкома и губчека тов. АЛЕКСЕЕВСКИМ.

Все вооруженные силы южной части губернии, в чьем бы ведении они ни находились, переходят в распоряжение и подчинение вышеозначенному штабу, а также и органы, охраняющие революционный порядок (уездные чека и милиция). Все уездные исполкомы, волисполкомы и другие советские органы подчиняются штабу по вопросам, связанным с ликвидацией восстания и охраной революционного порядка. Все партийные органы, согласно постановлению губкомпарта, обязаны выполнять требования и распоряжения штаба по организации и мобилизации коммунистических сил для борьбы с бандитизмом и кулацкими восстаниями.

Для успешной борьбы с бандитизмом со штабом прибыла выездная сессия военно-революционного трибунала для разбора дел на месте.

Призываем местные партийные организации напрячь всю энергию для успешной борьбы и отбросить в сторону второстепенные задачи, сконцентрировать внимание на ликвидацию восстания, могущего повлечь неисчислимые бедствия для Республики.

Командвойск МОРДОВЦЕВ

Чрезвычком АЛЕКСЕЕВСКИЙ

14 ноября 1920 г.
станция Россошь

Наступать на Колесникова было решено с трех сторон: из Гороховки, что под Верхним Мамоном, из Терновки и Криничной. В Гороховке уже стоял 1-й Особый полк под командованием Качко — шестьсот штыков при шести пулеметах; в Криничной — сборный отряд в восемьсот штыков; в Терновке — отряд Гусева с четырьмя пулеметами и двумя орудиями; в Ольховатке — три роты при двух пулеметах.

Жала красных стрел на штабной карте упирались в крупно напечатанные названия: СТАРАЯ КАЛИТВА, НОВАЯ КАЛИТВА. Здесь — логово повстанцев, здесь их главные силы. И здесь должно состояться сражение: Колесникову некуда деваться, он примет бой и будет разбит.

Так думали в штабе объединенных красных частей.

Отряд Гусева прибыл в Терновку поздним ноябрьским вечером. Дальний переход, степной холодный ветер, скудный обед сделали свое дело: бойцы жаждали тепла, ужина.

Село встречало красноармейцев гостеприимно — бойцов разместили в лучших домах, накормили, обогрели.

Командира отряда позвал в свой дом Петр Руденко. Гусев и комиссар отряда Васильченко охотно согласились. Жил Руденко в самом центре села, дом его выглядел добротным, теплым. Да и двор был большим; в него закатили оба орудия, лошадей поставили в конюшню, сам Руденко проследил, чтобы дали им сена. Сказал при этом, что пусть ездовые не стесняются, кормят лошадей вволю, сена хватит. Васильченко было возразил — дескать, зачем орудия закатывать во двор, потом с ними не развернуться в случае чего, но гостеприимный хозяин высмеял его сомнения: ворота, мол, широкие, выкатить пушку можно в один момент, и сам он поможет, служил в первую мировую в артиллерии, понимает кое-что. Оставлять же лошадей на морозе тоже не годится, пусть отдохнут в тепле, подкрепятся. А чтоб командиры не волновались — он сам, Руденко, готов не спать эту ночку, подежурить вместе с часовыми.

Васильченко хмурился, что-то хотел возразить, но Гусев, не высыпающийся уже третью ночь подряд, сказал, что согласен с хозяином, предложения его разумные, сразу видно фронтовика. Спросил у Руденко, отчего тот не в армии, воевал ли в гражданскую, и Руденко, засмеявшись, задрал полушубок, показал шрамы на животе — какой уж тут из него вояка!

Уже в горнице, блаженно щурясь от тепла, Гусев, как бы между прочим, поинтересовался: что здесь слышно насчет бандитов?

Руденко — остроносый, живой, с цепким взглядом неспокойных глаз — радушным жестом пригласил военных гостей за уставленный снедью стол, поднял Гусева на смех.

— Та яки там в Терновке бандиты, шо вы говорите! — махал он бутылью с самогонкой. — Советская власть нас не забижала, партийную линию большевиков принимаем полностью. Коммунисты ж за крестьян, кому это не ясно?!

— Что ж, Колесников и не являлся сюда? — недоверчиво уточнял Гусев. — Мы имеем сведения, что в Терновке он бывал...

Руденко вопросы Гусева привели в неподдельное веселье.

— Та який там Колесников, товарищ командир! В глаза его у нас никто не бачив. Являлись, правда, трое на конях. Бунтовали народ, цэ було. Шоб, значит, записы-

вались в банду. Ну, побыли они у нас то ли час, то ли два. Трех наших дураков сманили — Ваську Козуха, Гришку Ботало да Ивана Калитина. Посидалы они на коней — та в лес подались, волков пугать. Нехай. Все равно им головы поскрутять. Против законной власти итти — последнее дело.

— Это верно, — согласился успокоенный Гусев, и строгое белобровое его лицо разгладилось усталой улыбкой. — Власть наша, рабочих и крестьян, чего против нее хвост подымать? В семнадцатом за нее с царем бились, в гражданскую сколько крови пролили... Эх, сколько народу — да какого! — положили!

— Ну, сидайтэ за стол, сидайтэ! — пастойчиво звал Руденко. — Вон жинка, бачь, сколько наготовила! И картоха, и огирки...

Гусев потоптался у порога, стал было расстегивать шинель, потом решительно сказал Васильченко:

— Пошли-ка, комиссар, по избам пройдем, глянем. Посты заодно проверим.

— Та какие там посты?! — мягко запротестовал Руденко. — И охота вам по ночам шастать. Бандиты, черт бы их подрав, сами темноты боятся. Под юбки жинок небось при свете ще поховались. А хочешь, командир, так мы сами вас караулить будем? Мужиков у нас богато, скажу им.

— Ну что, насчет дополнительных караулов из местных жителей, по-моему, неплохо, а, комиссар? — рассуждал Гусев, уже выходя из дома Руденко. — Пускай наши посидят с ними до утра. Хорошая мысль, хозяин. Идем-ка с нами, посмотрим, потолкуем.

Руденко, забегая вперед, обиженно и истово крестился.

— Да господь с тобою, командир! Шо ж я, не понимаю?! Да ради нашей Красной Армии ночку одну недоспать... Тьфу! Нам самим бандиты эти поперек горла. Грабют да девок насилуют, вот и вся от них польза. Отдыхайте спокойно, а завтра с утра и тронетесь. Мы слышали, бой у вас с Колесниковым в Калитве.

— Про все вы тут слышали, — добродушно эхом отозвался Гусев. — Мы сами толком еще ничего не знаем.

Они втроем, не спеша, двигались от хаты к хате, стучались. Стояла ранняя и темная по-осеннему ночь, звезд на небе почти не было, по-разбойничьи завывал в печных трубах ветер. В хатах они смотрели, как устроились красноармейцы, толковали с хозяевами. Руденко наказывал

каждому из них не спать эту ночь, помочь караулам — нехай, мол, бойцы как следует отдохнут перед сражением.

Добровольцев набралось человек двадцать. Охотно одевались, выходили в ночь, прихватив кто чего — вилы, топоры, хороший кол. Громко перекликались с красноармейцами, балагурили меж собой.

— Щоб глядели у меня! — покрикивал на мужиков Руденко. — И чуть что — свистни там или крикни: мол, стой, кто таков? Понятно?

— Да ясно, Петро, не маленькие. И царскую службу ломали, и в гражданскую пришлось.

— Нехай спят!

— Понимаем, что к чему! — шевелилась возле командиров внушительная толпа разномастно одетых мужиков, дымила самокрутками, и красные огоньки цигарок на мгновения выхватывали из темноты бороды, лица...

— Расходись по постам! — подал команду Руденко, и мужики потянулись в разные стороны — поплыли в темь рубиновые точки цигарок.

— Слушаются они тебя, — уважительно сказал Гусев.

— Дак вроде старосты я в Терновке, — хохотнул Руденко. — Волисполком — само собой, а тут вроде помощника я у Советской власти, привыкли мы к старшинству, испокон веку так.

— А, ну-ну... — Гусев думал о чем-то своем.

Совсем успокоенные, командиры вернулись в гостеприимный дом; семья хозяина уже спала — затихла на печи ребятня, задернула цветастую занавеску жена Руденко, так и не сказавшая за ужином ни слова.

Руденко повел Гусева и Васильченко в спальню, указал им на высокую, со взбитыми подушками кровать.

— Вот туточки и лягайтэ. На перине небось сто годов не спал, а, командир?

Гусев, стаскивающий с ног сапоги, засмеялся расслабленно:

— На простынях-то забыл когда спал... — Он сконфуженно потянул носом. — Ноги бы помыть, а, хозяин? На такую постель... Ты бы нам где попроще постелил.

— Лягайтэ, лягайтэ! — замахал руками Руденко. — Какие там ноги!

Он убавил огня в лампе, унес ее потом в горницу; слабый свет сочился сквозь занавески, тикали где-то ходики, шуршали за окном, в палисаднике, голые ветви колючего кустарника. Сытный ужин, стакан хорошей горилки, теп-

ло... спать, спать! Завтра надо быть бодрым, завтра — бой!

...Разбудили Гусева под самое утро. Он в мгновение, по давней военной привычке, подхватился, цапнул рукою одежду, с холодом в груди ощутив вдруг, что нет под гимнастеркой привычного и твердого бугорка нагана. Не было рядом и Васильченко. Стояли перед Гусевым какие-то темные фигуры, одна из них, в малахае, тыкала ему в грудь дулом винтовки. Кто-то незнакомый внес лампу, и теперь Гусев хорошо видел тех, кто стоял со злорадными ухмылками перед кроватью.

— Ну здорово, командир! — хохотнул широкоплечий рослый человек в коротком кожушке. Он стоял перед Гусевым в вольной и немного картинной позе — отставив ногу, придерживая рукой шашку в белых ножнах. — Спишь, значит? А кто ж бандитов ловить будет, а? Кто Советскую власть защищать станет?

Стоявшие рядом с ним мужики гоготали, с любопытством совались ближе к кровати.

— Вы... Вы кто такие? — Гусев попытался было встать, но дуло винтовки безжалостно отбросило его к стене.

— Мы-то? Мы кто такие? — повернулся рослый к мужикам. — Я, к примеру, Колесников Иван Сергеевич. Может, слыхал про такого?.. Ха-ха-ха... Это бойцы мои, в гости до тэбэ пожаловали, Гусев. Поняв? А ты дрыхнешь без задних ног. Отряд твой наполовину уж вырезан.

— Что?! Бандюги!

— А ты как думав? В бирюльки з тобою играть будемо, а? Ты-то убивать меня завтра собрався. Шкура! — завопил вдруг Колесников, изменившись в лице, выдернул из ножен клинок.

Руденко повис на его замахнувшейся уже руке.

— Иван Сергеевич, не надо тут! Бабе постелю спортишь. На дворе лучше. Дай-ка я его сам... Сам поймав, сам и решу.

Гусева схватили; босого, в нижнем белье вытолкали во двор. У крыльца, скорчившись, лежала белая, в подтеках крови фигура.

— Вот и комиссар твой, здоровкайся, — сказал Руденко, обухом топора подталкивая Гусева в спину. — Все по нужде ходил, мешал нам... Ну да отходился, царство ему небесное! До чего ж беспокойный человек був!..

Над Терновкой поднималось хмурое холодное утро. Улицы села заполнили конные: носились взад-вперед, ша-

рили по домам, выталкивали оставшихся в живых красноармейцев, здесь же, во дворах, кололи их штыками, резали...

Колесников, уже сидящий на коне, вглядывался в глубину улицы, где за двумя отчаянно вскрикивающими красноармейцами кинулись сразу пятеро конных; усмехаясь, смотрел, как безжалостно рубили они враз обмякшие, рухнувшие на землю тела... Потом повернул голову, зычно крикнул:

— Оружие все собрали, Григорий?

— Все наше, Иван Сергев! — подскочил к Колесникову Назарук. — И пулеметы, и винтовки. Патронов тож немало...

Григорий, все еще возбужденный, радостный, восхищенно крутнул головой:

— Лихо ты их, Иван! Это ж надо — без единого выстрела роту красных под корень...

— А ты как думав! — Колесников снисходительно глянул на Григория, поправил шашку. — Без хитрости в военном деле не обойтись. — Приказал: — Кто в живых остался — не трогайте. Нехай дуют до своего начальства, доложатся, как Колесникова ловили.

В глубине двора Руденко топором добивал Гусева.

— Постелю ему жалко, — отчего-то разозлился Колесников на хозяина дома. — Тут решается, жить — не жить, а он бабу свою пожалел...

Конь, резко пришпоренный, прыгнул с места в галоп, понес Колесникова в конец села — кто-то там одиноко, но настойчиво отстреливался...

* * *

На рассвете 16 ноября 1-й Особый полк под командованием Аркадия Семеновича Качко занял Новую Калитву. Повстанцев в слободе не оказалось. В домах жались по углам женщины, старики и дети. Никто из них ничего путного сказать не мог: где повстанческий полк, сколько в нем бойцов, куда ушли... Выяснилось только, что полк снялся из Новой Калитвы вчера вечером, а куда и зачем пошел — одному богу известно.

Качко, со штабом расположившийся у церкви, в добротном поповском доме, терялся в догадках и нехороших предчувствиях. К назначенному часу в Новую Калитву не явились отряды других командиров: пропал ку-

да-то Гусев, не было вестей от Георгия Сомнедзе, не дал о себе знать Шестаков. Новая Калитва пуста, сражаться здесь не с кем. Тихо было и на хорошо видных сейчас буграх Старой Калитвы — мирно дымили трубы хат, в серое блеклое небо вяло поднимался малиновый шар солнца.

И все же повстанцы были где-то поблизости, Качко это чувствовал. Он поднялся на колокольню, осмотрелся в бинокль. Позиция его полка была невыгодной. Вокруг — балки, овраги, подбираться к слободе очень удобно. И вполне возможно, что в балках этих давно притаились отряды Колесникова...

Качко негодовал. Сам — дисциплинированный, по-военному педантичный, он хорошо понимал, что значит для войск точное выполнение приказов командования. Отряды Гусева, Шестакова и Сомнедзе должны в назначенное время быть в указанном месте. Но их не было. Что случилось? Вполне возможно, что колесниковцы спутали карты, навязали бой вчера или сегодня ночью, не дали отрядам соединиться, заманили того же Шестакова «отступлением» — он увлекающийся человек, мог на это пойти, — а тем временем...

Богатая фантазия, основанная на фронтовом опыте, рисовала Аркадию Семеновичу картины одна страшнее другой. Но он скоро взял себя в руки, не дал распалиться воображению. В конце концов есть еще время, можно подождать, тем более что и повстанцев не видно. Он выслал в разных направлениях разведку, ждал теперь донесений. Были бы верховые! Далеко ли уйдешь пешком?! Но скоро все должно проясниться, скоро...

Да, одному ему долго здесь не продержаться. Слобода — меж буграми, в ложбине, полк у противника как на ладони, вести бой невыгодно. К тому же в слободе женщины и дети, а бой придется вести на улицах, в домах. Но Мордовцев приказал кратко: занять Новую Калитву, соединиться с другими отрядами...

Со стороны Старой Калитвы, на лугу, показалась конница с пулеметными тачанками. Тачанки (их было три) развернулись на окраине Новой Калитвы, дула «максимов» взяли под прицел ближайшие хаты. Конница, не снижая бега, ринулась на слободу. В тот же момент в тылу полка Качко грянул залп — из балок и оврагов поднялась в атаку пехота повстанцев. Запылило белое снежное облако и со стороны Криничной, — оттуда также шла конница, не меньше эскадрона. Эскадрон шел наметом, в поднявшемся уже солнце хорошо были видны взблескива-

ющие клинки. Скоро донесся до слуха высокий, смешанный с напряженным конским топотом многоголосый дикий рев: «А-а-а-а-а-а...»

Силы были неравные. Еще немного, и полк будет окружен, смят. Стоит колесниковцам замкнуть кольцо, броситься на него, Качко, со всех сторон, и тогда...

Так трезво работала мысль Аркадия Семеновича. И все же он был человеком не робкого десятка — бой надо было принять и попытаться навязать противнику свою волю. В конце концов под ружьем у него около тысячи отлично обученных, обстрелянных бойцов, в большинстве своем фронтовиков. Чего раньше времени пасовать?

Качко видел, что самая большая опасность грозит ему от эскадрона, уже мчавшегося по улицам слободы. Второй эскадрон далеко, пройдет не менее получаса, пока он достигнет Новой Калитвы. На месте Колесникова он бы подождал его...

— Пулеметы!.. Запереть конницу! Не дать ей ворваться в центр слободы! — кричал Качко бойцам, напрямую взяв командование боем.

Два пулеметчика залегли по разным сторонам улицы. Один бил с крыльца добротной широкой хаты, другой вел огонь из распахнутых дверей бревенчатого сарая.

Кинжальный огонь смял атаку. Десятка полтора всадников с полного маху распластались на земле, слышались крики и стоны раненых. Обезумевшие от страха лошади метались вдоль улицы, бросались из стороны в сторону, мешая эскадрону, сея хаос и панику.

Колесниковцы отступили, явно растерянные. Ждали теперь подхода второго эскадрона. Качко выставил пулеметы в новом месте — скорее всего этим переулком (так короче, ближе) бросится в атаку второй, свежий, эскадрон.

Снизу, с параллельной улицы, застучали все три «максима», пули свистели над головами красноармейцев. Но убитых в полку Качко пока не было. Пехота Колесникова наступала трусливо, огонь вела больше лежа, в атаку шла неохотно.

«С такими «героями» много не навоюешь»,— с усмешкой подумал Качко, относя эти мысли к Колесникову, гадая, где бы он мог быть в эти минуты. В бинокль Аркадий Семенович рассмотрел — вдали, на лугу, стояла группа всадников, один из них, на рыжем красивом дончаке, также следил за ходом боя в бинокль.

«Ну,пожалуй, это и есть Колесников»,— решил Качко.

С подходом второго эскадрона колесниковцы поднялись в новую атаку. Пехота, однако, по-прежнему вела себя робко, бойцы Качко дружным ружейным огнем сдерживали ее натиск, и Аркадий Семенович за этот участок обороны опасался сейчас меньше всего. На Новую Калитву шла теперь с двух сторон конница Колесникова, летела уже по улице одна из тачанок, норовя пробиться к центру слободы, помочь наступающим огнем.

— Бомбу! — приказал Качко ординарцу, а тот — длиннорукий веснушчатый парень, — понимая момент, не стал передавать приказ по цепи ближайшему взводному, а молча бросился наперерез тачанке, сдергивая с ремня бомбы.

Взрыв убил двух лошадей сразу, остальные две, запутавшись в постромках, тяжко перевернулись через спины, забились в судорогах. Ездовой и пулеметчик, перелетев через лошадей, были убиты обрушившимся на них «максимом» и коваными тяжелыми колесами, которые сорвало с осей. Одно из колес докатилось до ординарца Качко, и парень, ненужно бравируя, поднялся в рост, пнул его ботинком, тут же схватившись за плечо — шальная пуля зацепила его. Вторая пуля, уже на излете, куснула кирпичную стену над головой Качко, осколок кирпича остро секанул командира полка по щеке, капнула кровь...

— Окружают, товарищ командир! — кричал с наблюдательного пункта, с колокольни, боец.— Вон тама, — он показывал рукой направление,— новая цепь появилась. В балке, видать, прятались.

«Долго мне не продержаться,— думал Качко, отдав нужные распоряжения.— И помощь не придет, это теперь ясно. Губить же людей я не имею права... Но что с Шестаковым? Сомнедзе? Где они, черт возьми? И где мои разведчики?!»

Была отбита и эта, новая, атака. Стало ясно, что колесниковцы особенно боятся пулеметного огня, берегут конницу. Второй эскадрон, наступавший с юго-запада, потеряв всего двух всадников, поспешно отступил. Не появлялись больше и тачанки. Наблюдатель доложил, что одна из них перевернулась, придавив пулеметчика, а последняя, третья, стоит вроде как в резерве, без дела. Пехота тоже залегла по оврагам и за кочками, вяло постреливала.

К группе всадников на лугу поскакали несколько

верховых; Качко понял, что это эскадронные и кто-либо из взводных. Колесников отдаст сейчас новый приказ — не иначе он орет на своих вояк: такой перевес в силах, и не могут разбить какой-то полк!.. Теперь жди атак с удесятеренной силой. Впрочем, Колесников может изменить тактику наступления, примет решение ждать ночи или хотя бы сумерек, тогда легче будет приблизиться к слободе. А может, прикажет бросить в бой еще какие-нибудь силы, сколько у него этих эскадронов?!

Нет, до ночи полку оставаться в Новой Калитве нельзя, колесниковцы просто уничтожат его. Да и глупо гибнуть в этом мешке, не выполнив боевой задачи, не попытавшись соединиться со своими, не узнав, что же случилось с другими отрядами...

Качко, воспользовавшись передышкой, собрал командиров рот и батальонов. Объяснил положение, которое уже многим было ясно, приказал с боем выходить из окружения. Удар решил нанести по пехоте противника — она была его слабейшим местом.

...Бой шел весь день. Полк отступал в основном по балкам: их склоны оберегали бойцов Качко от пуль, затрудняли действия конницы Колесникова.

С потерями, уже в сумерках, полк Качко оторвался наконец от преследователей. Через село Цапково двинулся на Талы, а оттуда — в Митрофановку.

Кажется, Колесникова такой исход устраивал. Скорее всего, он берег конницу, да и пехоту, готовился к новым боям...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мордовцев и Алексеевский с отрядом прикрытия прибыли в Терповку утром следующего дня. Исход вчерашнего боя поверг штаб объединенных красных частей в уныние: более чем наполовину вырезан отряд Гусева, в Криничной разоружен и также частично уничтожен отряд Георгия Сомнедзе, в бою под Дерезоватым * разбит отряд Шестакова, полк Аркадия Качко отступил. И это боевые командиры, участники гражданской войны!.. Было от чего прийти в расстройство!

Мордовцев — мрачный, еще более осунувшийся — в сопровождении членов штаба ходил по дворам, смотрел, как выносили из домов трупы красноармейцев, как укла-

* Ныне село Первомайское.

дывали их друг возле друга. Комендант губчека Бахарев доложил Мордовцеву, что трупов в общем числе сто сорок три, несколько человек живы, но без сознания. Оружия нет, все похищено, унесено повстанцами, лишь в одной хате отыскали винтовку — завалилась за сундук. Терновка практически пуста — ни мужиков, ни женщин, ни детей. Скорее всего, жители попрятались где-то поблизости, увели с собою скот, забрали все ценное. Два немощных старика с окраины слободы рассказали, что бунт в Терновке поднял Петро Руденко, из зажиточных крестьян. Слобода одна из первых поддержала Калитву, восстала против законной власти. Мужики с оружием в руках влились теперь в Старокалитвянский повстанческий полк, Руденко ходит в каких-то помощниках у самого Колесникова: тот приголубил его, пригрел. Ночная эта резня красноармейцев пришлась по душе бандитскому штабу, у них, повстанцев, теперь и винтовки, и патроны, и пулеметы. А главное — вера в успех начатого ими подлого дела. На эту приманку попались многие другие села и хутора со всей округи, бандитские полки растут...

Мордовцев слушал Бахарева, невысокого плотного человека в куцей даже для его роста шинели, смотрел в сторону, на близкие заснеженные бугры Калитвы, и глаза командующего темнели с каждой минутой, наливались яростью. Он снял папаху, обнажил голову над трупами боевых товарищей — привезли Гусева и Васильченко, их трудно было узнать...

— Что ж ты так, Николай Гаврилович?! А?

Мордовцев сказал эти слова с гневом и болью, горестно покачал головой. Холодный ветер трепал мягкие его темные волосы, отбрасывал полы шинели. Мела поземка, снежная крупа прибивалась к босым ногам убитых.

Поснимали шапки, папахи и остальные члены штаба, красноармейцы отряда прикрытия.

— Обидно! — вырвалось невольно у Алексеевского.— Так глупо погибнуть!.. Ладно бы в бою...

Мордовцев вздохнул, надел папаху, вытер ладонью глаза — уж больно злой ветер, черт! Слезу вышибает! Губы его сурово сжались.

— Бахарев! И ты, Розен,— распорядился Мордовцев минуту спустя, обращаясь ко второму сотруднику губчека, оперуполномоченному.— Руденко этого — найти! Заманить, выкрасть — как хотите, ваше дело. И под трибунал его. К расстрелу!

— Постараемся найти,— неуверенно сказал оперуполномоченный.— Дело непростое, Федор Михайлович.

— Постарайся,— жестко повторил командующий.

Громыхнуло вдали орудие, все повернулись на звук выстрела, ждали. Бахнуло еще раз.

— Из наших пушек бьют, сволочи,— Бахарев, отвернувшись от ветра, закуривал.

Мордовцев натягивал на красные руки перчатки, морщился.

— То-то и оно,— сказал он.— Позор!

Он пошел к ожидавшей поодаль бричке, жестом позвал с собою Алексеевского. Запес уже ногу на подножку, окликнул коменданта губчека:

— Бахарев!

— Я!

Тот подбежал, вытянулся.

—Выбери хорошее место для братской могилы, Бахарев... И похороните красноармейцев с почестями, как полагается.

— Есть!

— Терновку... сжечь! Всю, до единого двора. Вся слобода участвовала в резне, всю ее — под огонь!.. Поехали, Хоменко!

Бричка дернулась, покатила.

— Стоит ли так жестоко, Федор Михайлович? — спросил Алексеевский, безуспешно кутаясь в воротник шинели. Ветер дул в лицо, ехать так до самой Россоши... Бр-р-р...

Мордовцев резко повернулся к чрезвычкому.

— Ты им *это* можешь простить, Николай Евгеньевич?! — Глаза командующего в упор смотрели на Алексеевского.— Сонных, в каждом дворе! А?

— Командование отряда допустило непростительное легкомыслие, надо было усилить наружные посты, не терять бдительности.

— Все это так, согласен. И Гусев, и Сомнедзе, и Васильченко заплатили за свое легкомыслие жизнью. Но кто поднял руку на Красную Армию? И с кем пошли терновцы? Ты задал себе этот вопрос, комиссар?

— Губком партии рекомендовал нам не только карать, Федор Михайлович. Вспомни, *что* говорил Сулковский. Наверняка есть среди терновцев люди, которые...

— Эти люди, безусловно, есть! — перебил Мордовцев.— Но они — *там*! Понимаешь? — Он мотнул головой

в сторону удаляющейся за их спинами Калитвы. — И благих наших намерений пока не знают.

— Надо подумать над этим,— упрямо возражал Алексеевский.— Слово — тоже оружие.

— Да кто спорит?! — махнул рукою Мордовцев.— Но здесь мне ясно до предела: слобода — бандитская. И наказать их надо. Более того — сурово наказать!

— Не могут все до единого думать и поступать одинаково! — не сдавался Алексеевский.— Руденко, десяток его помощников, а остальных запугали, не иначе. И эти люди — потенциально наши. Нельзя всех под одну гребенку...

— Наши, наши,— усмехнулся Мордовцев.— Поди, достань их в Калитве... Разве по почте обратиться... Конечно, если написать умное, толковое воззвание да каким-то образом вручить бы каждой заблудшей душе... А душа эта и читать-то не умеет. Или сам с помоста читать станешь, Николай Евгеньевич?

— Не утрируй, Федор Михайлович,— обиделся Алексеевский.— Воззвание я почти написал, прочитаю потом. А вот насчет доставки адресатам... есть одно соображение. Но все не так просто, надо с губкомом посоветоваться. Аэроплан нужен.

— Зато для кулачья все просто,— Мордовцев сел спиной к ветру, зябко передернул плечами.— Советская власть, коммунисты для них — враги, они нас с тобой не пощадят. И пример тому — Терновка... Ах, Николай Гаврилович, Николай Гаврилович! Да как же это ты?! Знал же, что в логово идешь, а попался как мальчишка!..

...К вечеру грянул над Терновкой прощальный ружейный залп, за ним второй, третий. Солнце, так и не появившееся в этот день над слободой, испуганно, казалось, пряталось где-то в плотных серых тучах, света над всей округой было мало, хмарь зависла и над недалекими буграми Старой Калитвы, кутала их снежной завесой. Залпы в сыром воздухе прозвучали глухо, в Россоши их и не расслышали. Но зарево от горящих домов заняло к ночи полнеба, тревожный багровый отсвет его плясал на стеклах железнодорожной станции, где разместился штаб Мордовцева.

К полуночи прибыл на станцию Россошь пехотный полк под командованием Белозерова. Мордовцев и Алексеевский вышли встречать эшелон, со вчерашнего еще

дня зная, что тот в пути, что в полку несколько орудий, пулеметы, обученные, проверенные фронтом бойцы. Эшелон стоял несколько часов в Козлове, что-то случилось с паровозом, и Мордовцев нервничал, кричал на дежурного по станции — мол, срываете архиважнейшее дело, о котором знают и беспокоятся в Москве, а тут, совсем рядом с Воронежем, творится черт знает что! Козловский дежурный сквозь хрипы и шумы в телефонной трубке отвечал волнуясь, дескать, и сами мéста себе не находим, понимаем, что к чему, не маленькие, военных людей просто так туда-сюда катать в теплушках не будут.

Через час выяснилось, что эшелон, наконец, ушел, в Россоши будет часов в десять-одиннадцать вечера, не раньше; срок этот устраивал Мордовцева, но все же командующий исходил нетерпением, дергал то и дело россошанских железнодорожников — где эшелон да что с ним?

Алексеевский, наблюдая за Мордовцевым, хорошо понимал его душевное состояние: в поражении отрядов Гусева и Сомнедзе была, конечно, и их вина, и губком партии спросит с них обоих — командующего и комиссара, и спросит по делу — в любом случае все надо было предусмотреть, в военном деле мелочей не бывает. Но кто же знал, кто мог подумать, что повстанцы пойдут на такую подлую хитрость?!

«Обязаны были подумать, — сказал себе Алексеевский.— И ты, как комиссар, тоже».

В Криничной с отрядом Георгия Сомнедзе обошлись «мягче» — расстреляны только сам Сомнедзе, его комиссар и командиры рот — всего пятеро. Рядовых разоружили, раздели и отпустили на все четыре стороны. Но бойцы дисциплинированно, организованно, со смущенными, правда, лицами, явились утром в Россошь, сидят сейчас в зале ожидания вокзала, ждут своей участи. Но участь у всех одна — нужно теперь заново вооружать почти триста человек да более роты гусевских, и снова в бой, на Колесникова...

В клубах пара, одышливо отдуваясь, подкатил к перрону паровоз, вагоны-теплушки в ночи как-то не угадывались, и Алексеевский удивленно приподнял брови — а где же?.. Но в следующее мгновение засмеялся с облегчением: за паром вагонов почти не было видно. Наверное, то же самое видение было и у Мордовцева, потому что и он какую-то секунду оглядывался с растерянным лицом.

Из первого вагона легко шагнул на перрон рослый, подтянутый командир; перехваченная ремнями ладная его фигура была хорошо видна в свете слабых станционных фонарей. Белозеров быстро и с легкостью пошел к Мордовцеву с Алексеевским, представился, приложив руку к папахе.

— Здравствуйте, Андрей Лукич, здравствуйте,— обрадованно говорил Мордовцев, представляя Алексеевского.— Заждались вас, думали уже: не послать ли дополнительную тягу...

— Да вот видите, товарищ командующий, какая у нас чудо-техника,— смеялся Белозеров, пожимая руку Алексеевскому, вглядываясь в его лицо внимательными спокойными глазами.— Какая-то штанга у машинистов полетела, пока меняли...— И он развел руками.

Алексеевский заметил, что и Мордовцев в присутствии Белозерова, как и он сам, заметно успокоился — исходила от Андрея Лукича сила и уверенность.

«Вот с ним мы повоюем, — сказал себе Алексеевский. — Это воин опытный, в той же Терновке не допустил бы ничего подобного...»

Он не ошибся в своих предположениях: полк быстро и без суеты выгрузился, бойцы построились поротно, послышались команды — кого-то назначали часовым, кого-то охранять орудия, еще не снятые с платформ, кого-то посылали за кипятком...

— Какие будут указания, товарищ командующий? — вежливо спросил Белозеров, познакомив Мордовцева со своими батальонными командирами.

— Проведем для начала заседание штаба,— сказал Мордовцев. — Прошу, Андрей Лукич. Вот сюда!.. Осторожней, тут сломанная ступенька, сам чуть ногу не вывихнул...

Штаб обсуждал несколько вопросов: о начале новых боевых действий против повстанческой дивизии, о взаимодействии войск, о наличии боеприпасов и пополнении вооружения. Члены штаба слушали также доклады командиров — Качко и Шестакова. Качко коротко и толково доложил о своих действиях шестнадцатого ноября, о потерях и принятом им решении выйти из боя в Новой Калитве с наименьшими потерями. Действия Качко штаб одобрил: полк остался боеспособным, в строю, мог выступить хоть завтра утром. Качко только попросил попол-

нить боеприпасы да придать ему взвод конной разведки — для лучшей связи с другими полками или отрядами. Он сказал, что на полевые телефоны надежды у него мало, техника эта несовершенная, подводит раз за разом, а связь с помощью верховых...

Качко дружно поддержали, но Мордовцев сказал, что в ближайшие дни верховых связных он не обещает: повстанцы предусмотрительно забрали по всей округе хороших лошадей, а на тех, что остались, далеко не уедешь.

— Но я завтра утром свяжусь с Сулковским, товарищи,— заверил Мордовцев,— объясню наше положение. Вообще нам без конницы нельзя. Колесников сковывает многие наши инициативы...

— Вот именно, Федор Михайлович,— подал несмелый голос Шестаков, командир сводного пехотного отряда, но Мордовцев тут же оборвал его:

— Вы, товарищ Шестаков, как говорится, вперед батьки в пекло не торопитесь, дойдет и до вас очередь. Вот объясните членам штаба, как это можно при такой недостаче оружия бросать на поле боя пулеметы?! Такой подарок бандитам — три пулемета! — Мордовцев выразительно посмотрел на Белозерова. — Представляете, Андрей Лукич? У них теперь и батарея есть — Гусев «подарил», целая пулеметная команда, конница...— Командующий закашлялся, и Алексеевский с тревогой поднял на него глаза.

Шестаков, одергивая под ремнями гимнастерку, поднялся, потупил большую кудрявую голову.

— Федор Михайлович, ну... неожиданно ведь все получилось. Никто из моих бойцов не предполагал, что под тем же Дерезоватым мы встретимся с вполне боеспособной и обученной бандой. Колесников проявил не только коварство и хитрость, он и в тактическом отношении оказался силен, надо отдать ему в этом должное.

— Отдали уже! — Мордовцев трахнул кулаком по столу.— Два отряда отдали ни за понюх табаку. Ни одного бандита не уничтожили, а наших бойцов как корова языком слизала! Двух командиров потеряли, пулеметы побросали... Да вас судить надо, Шестаков! За малодушие! За трусость!

Шестаков, вытянувшись за столом короткой грузноватой фигурой, молчал, круглое его чернобровое лицо заметно побледнело.

— Федор Михайлович, я должен сказать... Многие

бойцы даже не успели познакомиться друг с другом, с корабля, как говорится, на бал. Отряд...

— У вас были сутки, Шестаков! — заметил Алексеевский.— Надо было подумать как...

— Да что за сутки успеешь, товарищ чрезвычайный комиссар? Собрали красноармейцев из ревкомов, военкоматов... не знаю, откуда еще. Только и успел, что перекличку провести, проверить, у всех ли винтовки есть, патроны. Еле ротных своих запомнил. А тут конница! Уж конницу, Федор Михайлович, мы никак не ожидали. Хоть бы предупредили, я бы подготовил бойцов психически.

— Психологически,— поправил Алексеевский.

— Да, психологически, простите, — повернулся в его сторону Шестаков.— Или морально, как хотите.

— Кто же это вас предупреждать должен? — повысил голос командующий.— Разведку надо было выслать. Не дети.

— Да знал бы, где упадешь...— горестно вздохнул Качко, сочувствуя Шестакову, как бы помогая ему этим вздохом в сложной ситуации.

— Мне адвокатов не требуется, Аркадий Семенович! — тут же вспылил Мордовцев, и голос его, и без того напряженный, нервный, теперь буквально звенел на очень высокой, готовой вот-вот сорваться ноте. Командующий снова закашлялся, шея его в кольце ворота гимнастерки напряглась и побагровела, он отвернулся от стола... Алексеевский укоризненно глянул на Качко — не стоит, мол, вмешиваться, Аркадий Семенович, и без того, видите, командующему плохо.

Мордовцев вытер губы платком, резко сунул его в карман галифе, снова взялся за Шестакова.

— Конницы против вас было всего сабель двести. Это, разумеется, сила. Но не такая уж грозная, чтобы драпать от нее без оглядки, Шестаков. У вас под началом почти полк — шестьсот штыков! Шутка сказать!.. И учиться надо в бою, у нас нет много времени, Колесников нам его не дал. Вы, Шестаков, кадровый командир Красной Армии, опыта не занимать... В общем, так, товарищи члены штаба: за трусость, проявленную бойцами отряда Шестакова, за бросание оружия на поле боя и неоправданное отступление предлагаю отстранить Шестакова от командования и передать его дело в Ревтрибунал.

Смуглый лицом Шестаков стал белым.

— Товарищи... Федор Михайлович! — выдохнул он,

растерянно глядя на сидящих за столом, простирая к ним руки.— Да я же... В конце концов, есть и объективные причины... Отряд собран наспех, с бору по сосенке... Но... Дайте мне возможность доказать... Оправдать вину, товарищ командующий! Я ведь всю гражданскую от и до, как говорится... Ранен был дважды, за нашу Советскую власть кровь пролил... Разве я не стремился... Я понимаю, что...

— Ничего вы не понимаете, Шестаков! — снова сурово заговорил Мордовцев, постукивая красным толстым карандашом по столешнице.— Не понимаете, что Советская власть в опасности, что ваша растерянность... Да какая там растерянность — трусость! Больше и слова не подберу!.. Привела к серьезному поражению наших войск. Что я должен докладывать губкому партии? Нам отдали все, что только можно было — все! А мы, понимаешь, перед боем спим на пуховиках, теряем элементарную — элементарную! — бдительность, и нас бандиты как котят из корзинки... тьфу!.. Можно это простить?! Вот товарищ Белозеров, — Мордовцев кивнул на нового командира полка,— прибыл по распоряжению Москвы, товарищ Ленин в курсе наших событий, обеспокоен...

— Дайте мне искупить вину, товарищ командующий! — дрожащим голосом попросил Шестаков.— Во всех боях впереди буду. Личным примером, как говорится, кровью позор смою!

Мордовцев долго молчал. Встал, расхаживал по штабной комнате, и все сейчас слышали только напряженный скрип его сапог. Повернулся к Алексеевскому:

— Ну? Что скажешь, комиссар?

— Командирский свой авторитет товарищ Шестаков, конечно, уронил,— думал вслух Алексеевский.— И я лично теперь не очень уверен в нем — ситуация может повториться, у нас пока нет конницы. В следующем бою...

— Не повторится, Николай Евгеньевич! — почти выкрикнул Шестаков.— Даю слово коммуниста!..

Он хотел, видно, что-то сказать еще, но в этот момент за окном заревел паровоз, задрожали стекла в высоких окнах, мелко забилась в горле желтого графина с водой пробка...

— Ладно, беру ответственность на себя,— сказал Мордовцев, когда рев паровоза стих.— Колесников, в конце концов, не только Гусеву и Сомнедзе урок преподнес — всем нам. Но с вас, Шестаков, учтите, спрос будет особый.

Проспявший Шестаков обессиленно опустился на стул, малопослушными руками вытирал высокий лоб, что-то негромко говорил кивавшему Белозерову.

— Попрошу тишины,— снова постучал Мордовцев по краю стола. Он придвинул к себе карту района боевых действий, несколько мгновений рассматривал что-то в верхнем ее углу, потом сказал: — Ждать у моря погоды не будем. Действовать начнем теми силами, которые у нас есть, с учетом коварства противника и его тактики. А тактика Колесникова мне ясна из новокалитвянского боя — открытых сражений он избегает. Значит, мы должны навязывать ему именно такие сражения. Придет же подкрепление, конница, нанесем ему сокрушающий удар. Давайте сейчас, товарищи командиры, проработаем диспозицию * на следующий бой... Прошу!

Командиры — кто встал, кто придвинулся ближе к командующему — смотрели через его плечо, слушали, спорили. Мордовцев говорил теперь спокойно, рассудительно, чувствовалось, что он тщательно готовился к этому разговору и предстоящему бою, в котором уже учитывалась тактика Колесникова: надо было выиграть у него какое-то время в ожидании новых сил — обещанного губкомпартом бронепоезда, орудий, пулеметов, пехоты. Так или иначе, но превосходство на данный момент времени было на стороне Колесникова—и по численности личного состава, и по вооружению, и даже в моральном отношении. Всего этого нельзя не учитывать.

Алексеевский слушал Мордовцева, размышлял о том, что губком партии все же правильно поступил, назначив Федора Михайловича командующим объединенными войсками: неудачи не сломили его боевого духа. Кроме того, Мордовцев был опытным военачальником, его эта нынешняя диспозиция говорила о дальновидности и знании тонкостей военного дела, которые Алексеевскому только открывались.

— Теперь тебе слово, Николай Евгеньевич, — сказал Мордовцев, устало и расслабленно улыбнувшись, откидываясь в простеньком деревянном кресле, бог весть как сюда попавшем (не иначе кто-то из бойцов принес его в штабную комнату).— Что там по идеологической линии мыслишь? Как дух наших бойцов поднимать станем? Сам понимаешь, Терновка и Криничная просто так для них не прошли.

---

* Расположение войск по приказу командира.

Алексеевский встал, чувствуя на себе внимательные и доброжелательные взгляды боевых товарищей. Он был самым молодым среди них, помнил об этом. Как помнил и то, что это обстоятельство обратило на себя внимание Белозерова — он приподнял в заметном удивлении брови там, на перроне, когда Мордовцев представил их друг другу, назвал должность Алексеевского.

— Я предлагаю, товарищ командующий, прослушать текст воззвания... Вот, в окончательном виде,— он приподнял над столом листки.— Посоветуйте, может, что и не так. Думаю, что текст его потом можно будет раздать и среди наших бойцов и политагитаторов...

— Читай, читай,— кивнул Мордовцев, поудобнее устраиваясь в ненадежном, шатком своем кресле...

«ВОЗЗВАНИЕ

к трудящимся гражданам погоревшей слободы Терновка

От имени рабоче-крестьянской Советской власти обращаемся к вам, еще недавно богатым, вольно жившим на своих благородных полях, а теперь истерзанным, раздетым, смотрящим на пепелище своих домов и усадеб с болью в душе. Мы смотрим, как вы, честные труженики, губите себя бесполезно в бессмысленной борьбе против рабоче-крестьянской власти и против Красной Армии, в борьбе, которую вам обманом навязали бандиты-дезертиры, подкупленные помещиками и буржуями.

Ваши главари говорят: «Мы идем против голода, против грабежа». А что по-ихнему грабеж? Грабеж по-ихнему — хлебная разверстка. Если крестьяне сдают часть своего хлеба своему государству, чтобы накормить Красную Армию и голодного рабочего— это значит по-ихнему, что крестьянина грабят.

Посудите сами: у нас голодный год, хлеба мало, буржуазию и помещиков добиваем, армия у нас еще на фронтах, нужен хлеб. И если каждый хлебороб сдаст часть своего хлеба, поделится тем, что имеет, с красноармейцем и рабочим, то разве это можно назвать грабежом?

Ваши главари шепчут вам: «Мы не против Советской власти». А спросите их, почему они не отстаивали Советскую власть на фронтах, где проливали свою кровь многие из ваших сыновей, почему они вместо этого затеяли братоубийственную бойню внутри страны? Разве это помощь Советской власти?

Кому действительно дорога Советская власть, тот не будет поднимать оружия против представителей ее и тем более против советских войск — по существу ваших сыновей и братьев. Через свои Советы они говорят о своих нуждах и мирным путем разрешают их. А вы что сделали для того, чтобы о своих нуждах заявить в высшие советские органы? Вы послушали белогвардейских шептунов, шпионов, которые говорили вам: «Против Советов восстаньте все, восстанет Калитва, к ней присоединятся другие села».

Да, Калитва восстала, к ней присоединилась Терновка, но вся Советская Республика сохраняет полное спокойствие. Вы оказались одни против целого государства.

Красная Армия употребляла неслыханные усилия, чтобы уничтожить Врангеля... и всякую другую сволочь. И теперь, когда миллионная армия этих врагов разбита, она не пожалеет никаких сил, чтобы подавить мятежи и бандитов, мешающих трудовому народу заниматься созидательным трудом. Это хорошо понимают ваши главари, но они запугивают вас: «Вы все равно погибнете, спасения теперь нет: либо в бою помрете, либо красные перережут».

Ложь это! Не верьте!

Вы, терновцы, знаете, что в первый день прихода наших войск в Терновку никто из жителей не был расстрелян, никто не был обижен. Только наутро, после того как вы вместе с бандитами подло и зверски набросились на сонных красноармейцев и гнусно резали и кололи сыновей таких же, как и вы, крестьян, только из других сел и деревень, — только после этого вас постигла жестокая расправа. С предателями, нападающими из-за угла, наш разговор короткий.

Теперь ваша судьба — в ваших же руках: станете ли вы дальше воевать против Советской власти или прогоните обманщиков и насильников, которые вовлекли вас в бойню.

Мы говорим вам: уходите от них, пришлите к нам делегатов, мы сговоримся, как избавить вас от бандитов. Если ваших делегатов не пустят, уходите из банд, возвращайтесь по домам. Ни один мирный житель, ни один труженик-крестьянин не будет тронут. Бандиты же будут уничтожены, их дома конфискованы. Кулаки, дезертиры понесут должное наказание. Карающая Революционная рука занесена над ними!..»

— Воззвание — на уровне, — сказал Мордовцев, когда Алексеевский закончил чтение; одобрительно закивали и другие командиры. — Был бы я в банде, — с улыбкой продолжал Мордовцев, — сразу бы пришел к тебе сдаваться. Текст трогает и убеждает. Это хорошо. Я бы так, пожалуй, не написал.

— Ладно тебе, Федор Михайлович, — Алексеевский с ответной улыбкой смотрел в лицо Мордовцеву. — Воззвание как воззвание. И брал я не из своей головы, а в основном из обращения губкомпарта к населению южных уездов губернии. Обращение, может, и получше написано. Сулковский, или кто там его писал, — мастера.

— Не прибедняйся, — мягко, но настойчиво возразил Мордовцев. — То обращение я тоже читал, знаю. Слов больше, эмоций меньше. А у тебя наоборот. Думаю, что воззвание это кое-кому обязательно западет в душу: многие ведь пошли в банды по недомыслию... Надо срочно размножить воззвание в здешней типографии, попросить рабочих, они сделают.

* * *

Телеграфист Выдрин — остроносый, с прилизанной черноволосой головой человечек, в потертом, дореволюционного покроя форменном кителе с синими петлицами — сидел в тесной и шумной от работающего аппарата каморке как на иголках: штаб красных частей заседал у него, можно сказать, за стеной, а он не слышал и не мог слышать ни одного слова. Ясно, что после поражения этот чахоточный по виду, почти все время кашляющий Мордовцев дает красным командирам нагоняй и планирует, видать, новое наступление на Колесникова, приходящегося ему, Выдрину, по линии жены родней. Красные, конечно же, толковали у себя на штабе о чем-то важном, и хоть бы одним ухом — да краешком бы! — послушать, о чем у них речь. Но сидели они за плотно закрытой дверью, у двери стояли с винтовками два красноармейца, которые ни в какие разговоры со станционными не вступали и ни на какие вопросы их, да и других людей, не отвечали.

Выдрин и раз, и другой тихим черным жучком прошмыгнул мимо двери, потом, выбрав момент, остановился, предложил одному из красноармейцев, попроще обликом, тонкую, из дешевого и вонького табака папиросу; тот снисходительно глянул на суетящегося у него под ногами почтового этого служку, сунул папироску за отворот буденовки и уронил строгое, неприступное: «Прроходи. Чего ухи навострил?» От этих слов и, главное, от подозрительного, насмешливого взгляда красноармейца Выдрина прошиб пот; он не нашелся что сказать часовому, а лишь попятился тощим, блестящим от вечного сидения задом прочь, приложив при этом руки к груди — мол, понимаю, гражданин-товарищ, извиняюсь, и улизнул, исчез из гулкого и пустынного коридора, бормоча себе под нос проклятия красноармейцу: стоишь тут каланчой, еще и папироску взял...

С враз взмокшими волосами и сильно бьющимся сердцем Выдрин добрался на еле слушающихся ногах до своей каморки, упал на стул перед аппаратом, зачмокал слюнявым тонкогубым ртом плохо разгорающуюся папироску. Аппарат в это время стал что-то выстукивать; Выдрин вытянул тонкую шею, вчитался. Губком партии передавал Мордовцеву и Алексеевскому, что обещанный бронепоезд уже вышел из Воронежа; движутся также в сторону Россоши кавалерийская бригада Милонова и батальон 22-х пехотных курсов при четырех пулеметах...

«Вот оно, вот оно! — жадно бегали глаза Выдрина по узкой телеграфной ленте. — А я там перед этими болванами маячу...»

Мордовцеву предписывалось также вести боевые действия решительно, с бандитами не церемониться. «Старайтесь опираться и на местное население, на отряды самообороны. В районах, подверженных восстанию, ведите широкую разъяснительную работу по добровольной сдаче...» — такими словами заканчивалась телеграмма, от которой Выдрин заметно повеселел. Один кавалерийский полк да батальон пехоты, пусть и с четырьмя пулеметами, — не такая уж большая подмога Мордовцеву. У Ивана Сергеевича полков этих пять и пулеметов десятка полтора. Да и пеших, с винтовками, не одна тысяча. Что же касаемо этого сундука-бронепоезда, то пускай тут, в Россоши, стоит, народ запугивает, дальше Митрофановки да Кантемировки ему не уползти, и то по рельсам. По голой же степи сундук этот не научился еще ездить... Ах, как хорошо, как вовремя пришла телеграмма и именно в его смену. А то б сидела тут эта дура, Настя Рукавицына, шиш бы она что сказала!

Выдрин на тонких цыплячьих ногах побежал в штабную комнату, и в этот раз, видя его озабоченный вид, а главное, бумажную телеграфную ленту в руках, его пустили беспрекослозно. Выдрин подал ленту Мордовцеву, тот, радостно хмурясь, прочитал телеграмму вслух, и за столом оживились, заговорили возбужденно.

— Спасибо, товарищ, идите, — повернулся наконец Мордовцев к телеграфисту и отчего-то задержал на его лице взгляд... Нет, показалось это, померещилось. Глянул и отпустил. А глянул, все-таки глянул. Ничего, пускай! Гляделки пока есть, вот и смотрит...

К ночи снова скакал к Старой Калитве молчаливый, тяжелым кулем сидевший на коне гонец.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Совещание вел Чрезвычайный уполномоченный из Москвы. Прибыв в Воронеж со своими помощниками сегодня утром, он потребовал срочно созвать руководящих работников, устроил губкомпарту и губисполкому форменный разнос, обвиняя партийную организацию губернии в медлительности, проявленной при отпоре Колесникову. А прими местное руководство своевременные меры, не

пришлось бы поднимать на ноги целые полки, которые направляются в Воронеж из других мест...

«Да, тут он прав, — думал Карпунин, сидевший по другую сторону стола напротив Сулковского. — Положение Воронежа серьезное...»

Вчерашний телефонный разговор с Дзержинским многое прояснил: в связи с выступлением Колесникова зашевелились недобитые белогвардейцы, снова дала знать о себе ушедшая в подполье организация, а точнее, центр — «Черный осьминог», который еще в восемнадцатом году возглавляли в Воронеже два бывших офицера царской армии Вознесенский и Языков. Вознесенский был тогда арестован чекистами, осужден и расстрелян, а Языков успел скрыться. И вот теперь он, по-видимому, снова в Воронеже. Феликс Эдмундович поручил проверить этот факт, сказал, что само существование белогвардейского подполья — явление позорное и опасное. На фоне эсеровской прослойки в партийном и советском аппарате губернии, успешных действий Колесникова и соседства Антонова существование «Черного осьминога» чревато последствиями...

Дзержинский говорил ровно, усталым голосом, как бы думал вслух. Феликс Эдмундович не требовал от него, Карпунина, немедленных и потому поспешных действий — обстановка в губернии, как, впрочем, и во всей Советской Республике, была очень сложной, надо во всем основательно разобраться. Но одно очевидно: белогвардейское подполье могло быть связано с Колесниковым. И вот в поисках «Черного осьминога» и связников центра воронежским чекистам нельзя больше терять ни минуты. «Ни минуты, Василий Миронович!» — повторил Дзержинский и положил трубку.

«Надо полагать, Ленин дал Милютину такие полномочия не случайно, — размышлял Карпунин. — Чрезвычайный уполномоченный намерен, как он заявил, устроить чистку советского и партийного аппарата, по заданию комиссариата продовольствия организовать в губернии запланированную сдачу хлеба, а главное — повести решительную борьбу с повстанцами...»

— ...Конечно, боевые действия против Колесникова придется вести в основном частям Красной Армии, — говорил между тем Милютин. — И вести их надо будет очень энергично, решительно! Мы имеем дело с кровным врагом революции и церемониться тут нечего. Таково требование товарища Ленина. Мы не можем допустить,

чтобы Воронеж оказался под угрозой захвата силами контрреволюции. А такая опасность, товарищи, есть.

— Когда прибудет подкрепление, Николай Александрович? — спросил Сулковский.

— Буквально на днях. Свяжитесь с Реввоенсоветом, уточните. Придут также вагоны с винтовками, пулеметами и боеприпасами. Все это уже в пути... Какая сейчас обстановка в Старой Калитве, Федор Владимирович?

Сулковский подошел к карте, короткой указкой стал показывать район, занятый повстанцами, и Милютин качал головой; потом он стал задавать вопросы, уточнял расположение войск и их численность, проанализировал действия полка Качко, сокрушенно вздыхал, узнав о трагедии в Терновке.

— Словно на прогулку вышли, вы подумайте! — негодующе воскликнул Чрезвычайный уполномоченный, и все сидящие за столом опустили глаза...

* * *

Вернувшись с совещания, Карпунин закрылся с Любушкиным в своем кабинете, долго и обстоятельно говорил с начальником бандотдела о «Черном осьминоге», о возможном руководителе подпольного белогвардейского центра Языкове, об опасности, сложившейся для губернского города, в которой он может оказаться, если Колесников соединится с Антоновым и установит тесный контакт с подпольем...

— Он обязательно попытается это сделать, Василий Миронович, — убежденно сказал Любушкин. — Или его понудят к этому из штаба Антонова. Сама по себе дивизия Колесникова долго не продержится, все это прекрасно понимают.

— Да, конечно, — согласился Карпунин. — И мы тут должны сделать все возможное. И в первую очередь найти этого «Осьминога».

— Сегодня в первую очередь надо отправить Вереникину, — напомнил Любушкин. — Теперь, пожалуй, стоит ее проинструктировать и о Языкове. Если «Осьминог» существует, то в Калитве будут его щупальца. Она может об этом узнать.

— Должна узнать, — поправил Карпунин. — Должна, Миша. А тут мы сами с тобой что-нибудь придумаем, надо бы и нам хоть за одно щупальце ухватить... Ну ладно, зови Вереникину.

— Она сейчас в тире, — Любушкин глянул на часы.
— В тире? Хорошо, давай вечером. Не позже шести.

Вечером, ровно в шесть, Катя сидела в знакомом кресле против стола председателя губчека, живыми карими глазами наблюдая за Карпуниным, который по-новому и, может быть, с некоторым удивлением смотрел на нее — худенькую, темноволосую дивчину, всего полгода работавшую в чека. Когда они вошли в кабинет вместе с Любушкиным, Карпунин поднялся навстречу Кате, подал ей руку, приветливо улыбнулся, и она ответила на его улыбку — сдержанно и с достоинством.

Взгляд Карпунина и эту его повышенную любезность Катя поняла по-своему, подумала, что чем-то все же не убедила председателя губчека до конца, наверное, тот сомневается... А точнее, опасается за нее, хоть и сам предложил ее кандидатуру для столь ответственного и опасного задания. Возможно, Карпунина смущал небольшой опыт ее работы в чека, а может быть, сам вид Вереникиной—девчонка, да и только. Но ничего этого Карпунин не сказал и, главное, не думал, а просто смотрел на молоденькую свою сотрудницу, сочувствуя ей и жалея в душе — не на курорт собралась. Но жалость была где-то на втором, а может, и на третьем месте, Карпунин знал, что кандидатура Вереникиной подходящая: кончила в свое время гимназию в Боброве, образованна и сообразительна. Родители ее были простыми людьми, умерли в гражданскую войну, на руках у девушки остались меньшие братья и сестры, другая бы растерялась, а Катя нашла в себе силы, почти три года сама воспитывала-кормила детишек. Теперь, когда она стала работать в чека, ребят пристроили в детский дом тут же, в Воропеже, и она бывает у них почти ежедневно. Карпунин знал об этом, сам не раз бывал в том детдоме, брал на руки детей — жаль, конечно, что без родителей растут, но ничего — ухоженные, накормленные...

— О ребятишках своих не беспокойся, Катя, — ласково сказал Карпунин, и Вереникина подняла на председателя губчека несколько удивленные глаза — разве за этим вызывал ее Василий Миронович?

Она молча и благодарно кивала, ждала. Карпунин знаком велел ей посмотреть на разложенные на столе фотографии: это были полковники Вознесенский и Язы-

ков. Фотографии остались от восемнадцатого года, их хранили в архиве, и вот пригодились.

— Кто это? — спросила Катя.

Рассказывать о «Черном осьминоге» стал Любушкин. Толково и коротко объяснил ей задачу, сказал, что, возможно, Языкова она увидит и там, в Старой Калитве, что, вообще-то, маловероятно. Скорее всего, у него есть постоянная связь с Воронежем, кто-то ездит туда-сюда... Вот этого бы человека и заприметить, узнать о нем хоть что-нибудь. Катя кивнула, отодвинула фотографии, повторила про себя: «Языков. Юлиан Мефодьевич»; потом еще раз взяла фотографию, вгляделась в лицо.

— Хотя бы тонкую ниточку нам дай, Катя, — попросил Любушкин. — Если, конечно, получится...

— Стрелять подучилась? — улыбнулся Карпунин. — Думаю, не понадобится.

Оживившись, Катя стала рассказывать, что сначала у нее не получалось — от сильной отдачи прыгала вверх кисть руки, она никак не могла попасть в мишень. Теперь же...

— В центр круга бьет, Василий Миронович, — подхватил Любушкин. — Из нагана. А маузер и парабеллум — эти тяжеловаты для ее руки.

— Главное — внедриться, — раздумчиво сказал Карпунин. — Чтоб поверили тебе там, чтоб за свою приняли. Тогда все будет как надо, никакие парабеллумы-маузеры не понадобятся. Это так, чтобы ты бойцом себя чувствовала...

— Я повешенных видела, детей изрезанных!.. — голос Кати зазвенел. — Разве можно все это забыть?!

— И все-таки ты не представляешь себе всей опасности, — мягко сказал Любушкин. — Лучше приготовиться к худшему.

— До Верхнего Мамона тебя отвезет Павел Карандеев,—Карпунин сунул фотографии в стол, сел поудобнее. — Он и твой связник, и твой помощник. В Калитве тебя найдет Степан Родионов. Сведения — через него... Пароли, места встреч обговорили, Михаил Иванович?

— Да, все отработали, Василий Миронович, не беспокойся. Катя все отлично запомнила.

— И главное — не теряйся, — продолжал Карпунин. — В любых ситуациях. Победит тот, кто терпеливее, хитрее. Ты там не одна будешь, помни это. Легенда у тебя хорошая, документы надежные. Наумович все сделал как надо. Если и проверят твои документы, то все под-

твердится. Какие последние новости из Калитвы, Михаил Иванович?

Любушкин стал рассказывать, что часть банды в составе примерно эскадрона совершила набег на Меловатку Калачеевского уезда, убит председатель волисполкома Клейменов и комсомольский активист Жиглов. Село ограблено, проведена «мобилизация» молодых мужиков, увезена некая Лида Соболева, секретарь волисполкома...

«Клейменов... Жиглов... Лида Соболева...» — повторяла про себя Катя.

— Слушай, Катерина, а если там замуж придется выйти, а? — спросил вдруг Карпунин. — В интересах дела.

— Надо — значит, выйду, — твердо выговаривая каждое слово, ответила Вереникина.

— Ох, Катерина, отчаянная твоя голова! — засмеялся Карпунин, вставая. — Насчет замужества — это я так. Ты за свою легенду держись: жена белогвардейского офицера, мужа убили большевики, пробираешься в Ростов...

Он взял вставшую тоже Вереникину за руки, сказал Любушкину:

— Ну гляди, Михаил Иванович, за Катерину перед Советской властью головой отвечаешь...

— Все будет хорошо, Василий Миронович, вот увидите, — сказала Катя и пошла к двери.

* * *

До Верхнего Мамона Катя и Павел добрались на подводе, которую выделил им Карпунин. Ехали они почти целый день, малость промерзли и проголодались (хлеб и сало, какие у них были, съели еще в начале пути), но дорога все же не показалась им ни длинной, ни утомительной. Павел охотно рассказывал о себе, о боях, в которых участвовал, когда служил в Красной Армии; оказалось, боев этих за его плечами множество. В одном из них он был ранен, но не опасно, теперь уж все зажило.

В открытом поле, по которому они сейчас ехали, было довольно холодно, ветрено. Снегу было немного, чернели вокруг бугры и проплешины, а тракт и вовсе был сухим и чистым, снегом лишь присыпанный. Правда, по обочинам и низинам снег, кажется, лег плотно, там и сани бы прошли, а здесь, наверху, телеге в самый раз. Тряс-

ко, конечно, быстро не поедешь, зуб на зуб не попадает, да и тягло такое, что особо не разгонишь...

Павел сбоку глянул на Катю — она сидела нахохлившись, смотрела перед собой в медленно проплывающие пятнистые поля, думала о чем-то. Голова ее закутана теплым вязаным платком, руки в толстых вязаных рукавицах — тепло, а вот ноги, поди, мерзли: Катя время от времени постукивала ботинками. Павел предложил Кате сесть поудобнее — вон сеном можно прикрыться.

Катя подобрала ноги, села, придвинувшись к Павлу, прячась от ветра. Он близко теперь чувствовал ее дыхание, холодную пунцовую щеку, карие красивые глаза, светлый пушок над верхней, чуть вздернутой губой. Боясь причинить Кате неудобство своей возней, Павел затих, перестал рассказывать, полагая, что мешает ей думать о предстоящем деле. Впереди уже виднелся высокий правый берег Дона, где-то там, в снежном белесом тумане Дерезовка, через которую надо пройти на Новую Калитву. В Калитву можно попасть и другой, более короткой дорогой, через Гороховку, но это в том случае, если лед на Дону крепкий. На том, что Верепикина должна появиться в Новой Калитве, настоял Карпунин — в Старой Калитве ее появление будет заметнее, прямо туда соваться опасно; в Новой же Калитве стоит 2-й повстанческий полк, если удастся закрепиться, то кое-что о замыслах, количестве бандитов, их вооружении можно узнать и там, все же остальное зависит от самой Верепикиной — надо, конечно, пробраться как можно ближе к штабу.

Подумав об этом, Павел зябко повел под шинелью плечами — холодно, однако, пробежаться, что ли?

Карандееву велено было в самом Мамоне не появляться, там встретит ее Наумович, переправит за Дон. Через четыре-пять дней, если ей повезет и она останется в Калитве, к ней явится человек.

Неожиданно для себя Павел сказал:

— Слышь, Катерина. Давай... я вместо тебя пойду, а?

Они остановились на бугре, с которого хорошо уже был виден Верхний Мамон и надо было расставаться.

Катя, сбросив с ног шинель, повернула к нему румяное удивленное лицо, засмеялась:

— Юбку мою, что ли, наденешь? Или так пойдешь?

— Нет, я серьезно, — стоял он на своем. — Вернешься в Павловск, скажешь Наумовичу, что... заболела... Ну, придумаешь что-нибудь.

Катя выпростала ноги из-под сена (вряд ли они у

нее и согрелись-то как следует), поправила платок, отряхнула полы пальто от сенной трухи.

— Лучше прямо сказать, Павлуша: струсила. Или: Карандеев пожалел, попросил вернуться.

Павел не нашелся что сказать, покраснел. Катя была, конечно, права, другого ответа он от нее и не ждал, только глубоко в душе надеялся в тот момент, когда говорил, что, может, все-таки она изменит свое решение. Да, это было глупо и нереально, не простилось бы Кате, да и ему, малодушие. Работа в чека — не игрушки.

Павел окончательно смутился от наивных своих, конечно же, скомпрометировавших его, как работника, предложений: Катя, которая была моложе его года на четыре, проявила в данном случае большую зрелость и большую дисциплинированность. Было стыдно перед девушкой; но ее ласковое «Павлуша» скрасило его переживания — никто, кроме матери, не называл его так.

Павел порывисто взял ее руку.

— Ну, ты хоть согрелась, Кать?

— Согрелась, — загадочно улыбнулась она и спрыгнула с брички, шла рядом, серьезно и ласково поглядывая на Павла. Он тоже сошел на землю, к великой радости уставшей кобылы, — та совсем уже вяло переставляла мохнатые, в снежной пыли ноги.

Спустились с бугра; Павел затпрукал мерзлыми непослушными губами, получалось это у него плохо, смешно, и Катя звонко расхохоталась. Но лошадь поняла, стала.

Дальше Катя должна идти одна. Тракт, на их счастье, пуст, голо и черно тянулся по обе стороны; низом побежал ветер, поднял легкую снежную поземку. Небо попрежнему было низким, грязно-серым, размытый диск солнца путался где-то в лохмах туч. Спускались на поля ранние сумерки; в той стороне, откуда они приехали, и вовсе уже стемнело.

— А тебе назад ехать, — сочувственно сказала Катя и близко подошла к Павлу, смотрела в его настывшее на холоде лицо, на выбившийся из-под малахая пшеничный вьющийся чуб. Протянула руку, поправила малахай и разъехавшийся ворот шинели. Павел робко привлек ее к себе.

— Катя... Ну, ты поосторожней там, а? Бандитов этих мы и так разобьем, вот увидишь! Ты хоть на рожон не лезь. Что сможешь, то и делай. А вернешься — заберем

твоих сестренок и братишек из детдома, пусть живут с нами. Как думаешь?

У Кати дрогнули губы; большого усилия стоило ей не броситься ему на грудь — Пашенька, я и сама места себе не нахожу, плохо же им без родительского пригляда, без отцовской, мужской ласки. Да не было больше у нее выхода, умерли бы они все с голоду... Но Катя сдержала себя.

— Я пошла, — сказала она сурово и высвободилась из его рук. — Спасибо тебе, Паша. Что проводил, что...— Голос ее сорвался. — И до свидания. И тебе, лошадка, спасибо. — Она потрепала гриву. — Довезла.

Катя, не оглядываясь, держа в руке дорожную потертую сумку, пошла по обочине тракта. Гуще засинели сумерки, сильнее мела поземка, терялся вдали, сливался с грязно-серым небом правый крутой берег Дона.

Павел, развернув бричку, смотрел Вереникиной вслед, ждал.

Нет, не обернулась, не махнула ему на прощание...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Двое суток безвылазно Тимоша Клейменов сидел в душном хлеву, под широкими яслями, от которых так знакомо пахло их кормилицей, Розкой. Корову увели бандиты, сено даже из яслей выгребли чьи-то жадные торопливые руки. Тимоша, замерев, слышал, как скребли у него над головой, как носили сено во двор... Во дворе перекликались чужие пьяные голоса, хохотали и матерились, а здесь, в хлеву, какой-то человек, не торопясь, делал свое дело. Покончив с сеном, человек стал шарить по стенам, снял с гвоздей старый хомут, дугу, долго тужился над тяжелыми жерновами, которые отец вынес за ненадобностью (у них в доме нечего было молоть); жернова не поддавались, и человек, раздраженно пыхтя, бросил их у двери. Тимоше были теперь видны ноги человека в сапогах, которые показались чем-то знакомыми... Где-то он видел их.

— Ишь, гнида, куда сбрую засунул, — обрадованно сказал человек, и Тимоша совсем сжался в комок: он узнал Рыкалова, понял, что тот нашел припрятанные отцом вожжи, уздечки, чересседельник и прочую конскую амуницию, которую он берег пуще глаза — жила еще у Макара Васильевича надежда на какой-нибудь счастли-

вый случай, нужна была в хозяйстве лошадь. Может, и повезло бы им со временем, купили бы лошаденку. «А, мать?» — спрашивал отец, часто заводил с женой этот греющий душу разговор, и она охотно поддакивала ему, да и Тимоша тоже. Мечтал и он о том времени, когда не придется им с матерью надрываться, таскать из лесу тяжелые санки с дровами, лошадка довезет. А сам он будет сидеть наверху и погонять ее...

— Так, Тимка, так, — занято отвечала мать. — Даст бог, разбогатеем. А то и правда, все жилы мы с тобой порвали на этих дровах...

Теперь мать с его братишками и сестренкой лежали мертвые в избе, а Рыкалов все еще шарил в хлеву, заглядывал на сеновал, где хранились у них грабли, косы, лопаты... Все это Рыкалов неторопливо сбросил вниз, потом и сам слез, снова подошел к яслям, подхватив на руки круглый увесистый камень соли-лизунца. Розка любила лизать его своим шершавым теплым языком, сердилась, когда он, Тимоша, играясь, откатывал камень в сторону.

— Пригодится и лизунец, — сказал Рыкалов, потоптался на месте, оглядывая плохо освещенный и тесный хлев — в нем только и помещалась Розка, а вдвоем с тем же Бруханом, годовалым теленком, которого задрали в прошлом году волки, им и вовсе тут было не развернуться.

Свет в хлев сочился из небольшого прямоугольного оконца над дверью, падал на противоположную стену, которую Тимоше хорошо видно. По стене металась зловещая тень Рыкалова — он все искал что-то, нагибался, рассматривал. Руки и ноги у Тимоши от напряжения затекли, он невольно зашевелился, и Рыкалов тотчас выпрямился.

— Мышки, — удовлетворенно сказал он минуту спустя и, нагрузившись добром, пошел вон из хлева, оставив дверь открытой.

Скоро настыло, Тимоша стал мерзнуть в одних тонких полотняных портках и рубашонке, босой. Когда те двое стали бить его мать, он выскочил в сенцы, собираясь позвать соседей, Наталью Лукову или кого-нибудь еще, но за его спиной раздались выстрелы, смертно вскрикнула мать, отчаянно заверещала сестренка, Зина, а потом оборвался и ее отчаянный голосок. Тимоша бросился в хлев, под ясли, слышал, дрожа всем телом, как кто-то, топоча, бегал по двору, палил из обреза...

Утром их двор был полон народу, Тимоша слышал голоса соседей, плач тетки Натальи, свое имя. Его искали, звали, но Тимоша не откликался. Он не знал, что чужих людей уже нет в селе, что в Меловатку спешно прискакали чекисты, пришли и в их дом, расспрашивали всех о случившемся.

Потом он услышал, что надо, мол, хоронить Клейменовых, что ж теперь поделаешь, горько заплакал, забылся в каком-то тревожном полусне...

Нашла его на другой день Наталья Лукова. Сердцем, видно, чувствовала, что живой Тимоша, спрятался где-то, забился в потайной уголок. Тетка Наталья полезла на сеновал, потом заглянула в ясли, стала на коленки, вслепую водила рукой, пока не наткнулась на безмолвно лежащего Тимошу.

— Дитятко, да что ж ты, маленький, лежишь тут, а? — запричитала соседка. — Мы ж тебя обыскались, а ты хоронисся. Вылезай, не бойся...

Тимоша молчал, еще дальше посунулся к стене, подобрал ноги, и тетка Наталья побежала за подмогой.

— Да тут он, товарищ Наумович, тут! — взахлеб, радостно волнуясь, говорила она, вбегая в хлев, широко распахивая дверь. — Я его тащила-тащила, ни в какую... Тимоша, сынок! Вылезай!

Теперь на коленях у яслей стояли несколько человек, один из них — в черной, поскрипывающей кожанке, с фонариком в руках. Осторожно и бережно Тимошу извлекли из его убежища, и он, шатаясь, стоял перед взрослыми — худенький, с ввалившимися испуганными глазами, замерзший.

— Ой, дитятко! Ой, лапушка ты моя! — всплескивала руками тетка Наталья, а потом прижала его к груди, заплакала. — Ну, хоть один остался, хоть один!.. От изверги!

— Макарчук, отнеси парнишку в избу, он еле на ногах стоит, — сказал тот, в кожанке, и молодой сильный парень в солдатской шинели, бросив короткое: «Есть!», подхватил Тимошу на руки.

— Ко мне его, ко мне! — забежала вперед тетка Наталья. — У них же нетоплено, холодно... Да и мать там лежит, и Макар Василич... Не надо ему, лапушке, глядеть, и так настрадался.

Федор Макарчук, от которого пахло морозом и дымком, понес Тимошу к Луковым, подбадривающе заглядывая ему в лицо.

— Испугался, да? — ласково спросил он. — Или замерз? Ну ничего, согреешься сейчас... Чего ж ты, дурень, не вылезал? Бандитов со вчерашнего дня в Меловатке нет.

Тимоша не отвечал ничего. В голове у него кружилось, хотелось тепла, есть.

Его уложили на печи, напоили теплым молоком, укрыли стеганым одеялом. Тетка Наталья и маленькая ее дочка Грушенька хлопотали возле Тимоши, все подправляли то подушку, то одеяло, что-то говорили ему, клали на голову холодную тряпицу, а грудь мазали чем-то скользким, с резким запахом. Он что-то отвечал, отталкивал чью-то руку с дурно пахнущим этим жиром, а потом провалился в черную бездну и долго-долго летел, пока наконец не опустился на какую-то чудо-перину и крепко заснул...

Спал он долго, и все это время в доме Натальи Луковой ходили на цыпочках, разговаривали шепотом. Дети (а их было у Натальи четверо) то и дело подбегали к печи, тянулись к занавеске, приподымали ее — не проснулся ли Тимка? Живой ли?

— Он дышит, мама! — шепотом сообщала матери Грушенька. — Вот так, смотри. — И показывала — как.

— Пусть спит, не будите его, — строго наказывала Наталья. — Намаялся, бедолага, натерпелся... Один на свете остался! Сиротинушка...

Хоронили Клейменовых и Ваню Жиглова к вечеру, с солдатскими почестями. Приехавшие с Наумовичем бойцы дали над могилами погибших залп из винтовок, бабы плакали в голос, проклинали бандитов.

— Поплачь и ты, дитятко, поплачь, — уговаривала Наталья Тимошу, но он стоял бледный, с перекошенным ртом, прямой, как тополек у их хаты, и лишь отрицательно мотал головой.

О Макаре Васильевиче и Ване Жиглове, комсомольском секретаре Меловатской ячейки, хорошо говорил чекист товарищ Наумович. Мол, контрреволюция отымает у Советской власти лучших сынов, но все равно Советская власть будет жить и процветать, несмотря ни на что, и в обиду тех же меловатцев больше не даст. Правда, и им самим надо похлопотать о собственной безопасности: в других селах, к примеру, создаются отряды самообороны, мужикам надо вооружаться, охранять Меловатку от внезапных бандитских нападений, а при нужде

пойти на подмогу в соседнее село, дать знать о бандитах чека или милиции...

Наумовича слушали с суровыми и согласными лицами, здесь же, на сходе, после похорон, выбрали командира отряда и нового председателя волисполкома. В отряд записались почти все мужики, не взяли только двоих — Фрол Тынак вернулся с гражданской без ноги, а Андрюха Лоскутный от контузии глух, толку от него все равно не было. Хотела записаться в отряд и Наталья Лукова, так как мужик ее все еще служил в Красной Армии и выставить с их двора было больше некого. Но Наталье дружно отказали — нянчи, мол, детей, Натаха, и без тебя в «секретах» посидим, дело это мужское...

...Наумович беседовал с Тимошей в его разграбленном, опустевшем доме. Тимоша, слегка теперь заикаясь, рассказывал и показывал «дядьке чекисту», как все происходило здесь, где стояла мать, что она говорила, где была сестренка Зина и братишки. Потом, напрягая память, стал вспоминать, как выглядели те двое, с обрезами, в чем были одеты-обуты, а Наумович тщательно все записывал, переспрашивал, просил показать еще раз... Тимоша рассказал и о Рыкалове с Фомой Гридиным, как Рыкалов шарил у них в хлеву и забрал все, что хотел. Наумович послал своего помощника Макарчука за Рыкаловым, и тот, явившись, первым делом напустился на Тимошу:

— Брешет все, щенок! Брешет! — кричал он, брызгая слюной. — Он же меня под расстрел может подвести, товарищ Наумович! — картинно простирал он руки к чекистам.—Как можно верить этому несмышленышу?!

— Трибунал разберется, Рыкалов! — отвечал Наумович. — Вы арестованы и поедете с нами. И за мародерство, и за пособничество бандитам... Впрочем, это потом, потом.

Вещи Клейменовых признали и другие соседи, не один Тимоша. С Рыкаловым сделалось дурно, он рухнул перед Тимошей на колени, хватал его за рубашонку:

— Да мы ж с батькой твоим дружили, Тимошка! Как же ты напраслину на меня наговариваешь?!

— Уведи его, Федор, — приказал Наумович Макарчуку, и тот кивком головы велел Рыкалову следовать за собой.

— Садись, Тимофей, — как взрослому сказал Наумович. — Поговорить надо.

Тимоша сел на краешек сломанного, качающегося табурета, думая о том, что надо бы потом починить его... Да и вообще, дел теперь хватит у него дома...

— В детдом тебе надо ехать, Тимофей, — вздохнул Наумович. — Мы таких, как ты, сирот направляем в детские дома. Не один ты такой, к сожалению.

— Никуда я не поеду! — вскинулся Тимоша. — Оставьте меня тут, дядько чека!

— Тебе всего тринадцать лет. — Наумович покачал головой. — Ну что — воровать, побираться пойдешь?

— Дома буду. — Тимоша упрямо склонил голову.

— Есть дома нечего, я же знаю. И потом — ребенок, один... Ты подумай, Тимофей. Мне, взрослому, и то...

— Я когда бояться буду, то к тетке Наталье попрошусь ночевать. Или к Ваське Жиглову. У него ведь брата Ваню убили.

— Знаю, знаю. — Наумович поднялся. Положил руку на плечо Тимоше, вздохнул.—Ну ладно, давай так договоримся. Неделю-другую поживи, а потом мы снова приедем. Или, может, я одного Макарчука пришлю. Договорились?

Тимоша кивнул, несмело пожал протянутую ему руку, пошел провожать Наумовича. Конный отряд уже стоял наготове у ворот, в бричке сидели с хмурыми лицами Рыкалов и Фома Гридин. Вокруг стояли меловатцы.

Наумович вскочил на коня.

— Ну, всего доброго! — помахал он рукой, еще раз улыбнулся Тимоше.

— Отпусти-и!.. Пощади невинную душу-у! — завопил вдруг на всю улицу Рыкалов, рванулся было с брички, но его усадили, и отряд тронулся в путь...

Было холодно, мела поземка, ледяной ветер жег лица, но никто из меловатцев не ушел с улицы до тех пор, пока не скрылись за дальним леском покачивающиеся фигуры конных.

— Дозорные, по местам! — подал команду командир отряда самообороны Скоцов. — Ты, Митроха, на тот конец, — он показал рукой, — а ты, Михаил, вон туда, за амбаром схоронись. Там всю дорогу от Лосева хорошо видать.

— С мельницы бы еще лучше, Митрич...

— На мельницу мы пацанят попросим... Ну, кто нынче, хлопцы?

Тимоша шагнул вперед.

— Нас с Васькой Жигловым пустите, дядько Петро. Мы ее летом всю облазили.

— Ну ладно, вы так вы, — согласился Скопцов, маленький, как нахохлившийся воробушек мужичок, и отчего-то быстро, с покривившимся лицом отвернулся.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Шматко понимал, что его «банде» пора действовать более активно. Отряд насчитывал теперь тридцать человек, в Журавке они были как бельмо на глазу, хоть и отправлялись время от времени в «набеги», «громили» большевиков. Прошлый раз на виду у слобожан «батько Ворон» схватился с какими-то чекистами, затеял с ними перестрелку, отогнал от Журавки. Чекистов, правда, было немного, человек десять конных. Ворон погнался за ними, но у тех кони были добрые, не догнали. Возбужденная погоней, «банда» носилась по Журавке, кто-то из рьяных пальнул из обреза, подстрелил курицу — она с суматошным криком бросилась вдруг через улицу, наперерез конным.

Шматко вызвал потом Петра Дибцова (он стрелял), напустился на него: и так, мол, шума много, можно было и не переводить куру. Дибцов, румянощекий увалень, милиционер из Богучара, виновато хлопал голубыми, подетски наивными глазами. Сказал, что хотел как лучше, так им и верить не будут, а за курицу он может хозяйке и заплатить. Шматко поднял Дибцова на смех — тоже конспиратор нашелся! Ты еще признайся кому-нибудь, что немногочисленный чекистский отряд был специально подослан Наумовичем, и те и другие палили поверх голов, в воздух, и что Ворон гнался за чекистами в полсилы...

Дибцов молчал, виновато сопел и стоял по стойке «смирно». Разговор шел в хате Шматко, теперь это был штаб «батьки Ворона»; присутствовали немногие — заместитель Шматко Прокофий Дегтярев и комиссар Тележный. Тележный появился в отряде с первых же дней, это они с Дибцовым клали здесь, в хате Шматко, печь; приехал он из Павловска, через него шла связь с Наумовичем — на нескольких хуторах были у них свои люди. Тележный, сидя на лавке у стены, внимательно слушал разговор командира с провинившимся бойцом, согласно кивал склоненной стриженной головой. Он тоже не одобрял поведения Дибцова, сказал об этом:

— А в старуху какую-нибудь бы попал, Петро! Греха потом не оберешься.

— Виноват! — тянулся Дибцов. — Попужать хотелося, товарищи командиры. Думал, на пользу.

— Ладно, иди, — махнул рукой Шматко.

— Журавцы и так уже на улицах не показываются, — усмехнулся Дегтярев; пригнув голову, он что-то высматривал за окном. — По слободе идешь, так от окошек и отскакивают... М-да...

Прокофий поднялся, подошел к двери, неплотно прикрытой Дибцовым, потянул за ручку. Вернулся потом к столу, поднял на Шматко глаза.

— Может, самим нам объявиться, Иван? — спросил он, и курносое его, в крупных веснушках лицо застыло в напряженном ожидании.

Шматко покачал головой.

— Нет, — решительно сказал он. — Надо ждать. Приказ.

— На рожон полезем, заподозрят, — поддержал Шматко Тележный. Молодое его безусое лицо было спокойно. Лампа, стоявшая на столе, освещала и занятые делом руки: Тележный чистил наган. Огонь в лампе запрыгал, заплясали тени на стенах, и Тележный, отложив наган, снял закоптившееся стекло, пальцами схватил с огня какой-то нарост, и оранжевый язычок взметнулся вверх, стал прозрачнее, чище.

— Ну вот, давно бы так, — одобрил Шматко. Положив руки на стол, он какое-то время задумчиво смотрел на огонь, на то, как Тележный собрал вычищенный уже наган, сунул его в кобуру.

— Пора бы кому-то уже появиться, пора, — рассуждал Шматко. — Времени прошло достаточно, в штабе Колесникова о нас знают, убежден. Яшка Скиба не зря в Калитву ездил.

— Для верности надо было проследить за ним, — сказал Дегтярев. — Наверняка бы знали; а так, может, он в лавку ездил.

— Проследили бы и наследили, — тут же возразил Тележный.

— Ждать будем, ждать, — повторил Шматко. — Приказ!

* * *

Ехать в Журавку — поглядеть «шо там за батько такой объявився, Ворон», вызвался Митрофан Безручко.

Яшка Скиба, тайно приезжавший в Старую Калитву, сказал, что Шматко, судя по всему, анархист, гнет свою линию и никому не собирается подчиняться. С его слов, гулял он на Украине с Махно, крутил хвосты большевикам, а теперь, мол, чихать на все хотел...

— Как бы пе так, — важно уронил Безручко, попыхивая трубкой. — У нас пид носом та це вин свою линию будэ гнуть. Нехай не надеется. Враз салазки позагинаем.

Безручко отложил трубку; со вчерашней попойки его мутило, надо бы кружку зелья, глядишь, и полегчало бы.

— Сетряков! — гаркнул он в дверь, и боец для мелких поручений предстал перед ним, выслушал приказ и скоро вернулся с самогонкой в белой жестяной кружке. Безручко жадно выпил, сидел потом малость оглушенный, гладил вислые мокрые усы, смотрел на стоящего перед ним деда расслабленно и тупо.

— Ох, гарна горилка! — похвалил он. — До кишок продрало. Ну, ты, мабуть, иди, Сетряков. Мы тут побалакаем.

Дед ушел, оставив в горнице хаты запах прокислой овчины, а Безручко перевел малость помягчевший взгляд на Скибу — тот по-прежнему переминался с ноги на ногу у порога, мял шапчонку.

— А ты не брешешь, Яков? — строго спросил Безручко. — Про Ворона. Може, там ниякого батька и нема? Зря коней гонять...

— Та вот те крест, Митрофан Василич! — обиделся даже Скиба, и щербатый его рот покривился в протесте. — Шматко — наш, слобожанский, я ж его сопляком помню. А шайку он по округе собрав. Народ отпетый. Позавчо́ра вон чекистов гоняли, пальба такая была, шо не дай бог! Курей всех в Журавке побили.

— А откуда знаешь, шо чекисты булы? — Безручко снова сунул под усы трубку, сосал ее, смакуя.

— Знаю кой-кого... Как жа! Не маленький.

— Гм... — Безручко морщил покрасневший от самогонки лоб, толстыми, желтыми от табака пальцами поскреб у себя под мышкой.

— Ты вот шо, Яшка. Паняй-ка до дому и сиди тихо, як мышь. А мы, мабуть, подскочемо.

— А когда ж будете, Митрофан Василич?

— А цэ не твоего ума дело. Военная тайпа. Як нам захочется. Поняв?

Безручко отпустил Скибу, и тот задом, задом выскользнул из штабной хаты, а голова политотдела, хмурясь, стоял у окна, глядя, как Яков отвязывал пегую свою тощую кобылку от телефонного столба, как подтягивал на ней хомут, а потом сел в бричке на корточки, взмахнул хворостиной.

— Сетряков! — снова позвал деда Безручко и велел тому найти Конотопцева, да побыстрей. Сашка явился, что-то дожевывая на ходу, и Безручко это не понравилось: начальник дивизионной разведки мог бы пожрать и не на виду у него...

— Слухаю, Митрофан Василич, — Конотопцев вытер губы рукавом гимнастерки.

— Ты жрать когда перестанешь, Конотопцев? Як не вызову — все ты жуешь, жуешь...

— Та кишки болять, Митрофан Василич, — пожаловался Конотопцев, прикладывая руки к животу. — А чего съешь — так и полегче.

— Самогонки поменьше трескай... Никакой жеребец столько не выдержит, — посоветовал голова политотдела. Спросил строго: — Не осталось там?

— Не. Хлопцы ж допили. А новую ще гонють.

— Хлопцы! — нахмурился Безручко. — Прежде начальствующий состав должен потреблять, а потом — нижние чины. Испокон веку так було... Ну ладно, сидай. Побалакаем.

Они сели к столу, и Безручко рассказал Конотопцеву о приезде Якова Скибы, о батьке Вороне.

— Дюже он мне любопытный, — признался голова политотдела. — Шо за линия? Ни к красным, ни к нам не ластится. Га? Як можно?

— Может, хитрит? — подал мысль Конотопцев. — Овечью шкуру натянув?

— Та яка там овечья! — протестующе махнул Безручко рукой, и дымящиеся крошки табака выпали на столешницу. — Чекистов же гонял... Ну ладно, побачим, спытаем у самого. Интересно! — Он крутнул головой, заправил трубку свежим табаком.

— Охрану брать? — поднялся Конотопцев.

— А як же! Скажи, щоб эскадрон наладили. Ручной пулемет на всякий случай нехай хлопцы возьмут. Мало ли что.

...Эскадрон повстанцев появился в Журавке к вечеру. Шматко доложили, что со стороны слободы Фисенково

движется большой конный отряд, всадники вооружены винтовками, у одного, похоже, на седле ручной пулемет. В бинокль хорошо было видно, как отряд остановился на дальнем бугре, всадники явно совещались, рассматривая Журавку. Потом отделился один, поскакал к слободе.

— Не пугайте его, это парламентер, — сказал Дегтяреву Шматко. Они стояли у дома, курили, наблюдая за тем, как всадник (это был Конотопцев) скакал по Журавке, боязливо поглядывая по сторонам, как, поскользнувшись, конь не сразу набрал прежний ритм бега, и всадника это разозлило — он принялся хлестать его плеткой.

— Трусит, — усмехнулся Дегтярев. — Вдесятером бы на одного — тут они смелые.

Конотопцев осадил лошадь у самых ворот; она, белоногая, с пеной на трензелях, потянула морду к Шматко, и он потрепал ее по шее, ощутив мокрую, вздрагивающую шерсть.

— Кто тут Ворон? — начальственно крикнул Конотопцев.

— Ну я. А что тебе? — с ленцой спросил Шматко, нагоняя на лицо неприступность и нужную суровость.— Ты-то сам кто такой?

— Я от Колесникова. Слыхал?

— Может, и слыхал, что с того?

— Да ты бы слез, — предложил Дегтярев. — А то голову задирать... Не велика шишка.

— Можно и слезти, — согласился Конотопцев, спрыгивая с лошади и бросая поводья подскочившему к ним Дибцову, оправляя ремень, на котором болталась деревянная кобура с маузером.

Подал руку Шматко:

— Приветствую тебя, Ворон. Конотопцев я. Начальник разведки у Ивана Сергеевича.

— Здоров, коли не шутишь, — ответил на приветствие Шматко. — И чего ж ты до нас разведывать явился? Все у нас тут на виду, ни от кого не прячемся.

— Хм... — Конотопцев замялся. — Разговор есть.

— Так давайте в хату, чего тут стоять? Это мои заместители, — представил Шматко, — Дегтярев и Тележный.

Пригнувшись в притолоке, Конотопцев вошел в дом, быстро оглядев довольно убогое его убранство. Обратил внимание на то, что печь явно перекладывали и что Во-

рон живет так себе. Лавки вдоль стены, под окном — грубо сколоченный стол, топчаны...

— Садись, — предложил Шматко.

— Ты это... В случай чего — эскадрон рядом, видел, наверно.

— Видел, видел, — с улыбкой махнул рукой Шматко, и сам, садясь к столу, внимательно глядел в настороженные и бегающие глаза Конотопцева — человека, которого он хорошо уже знал заочно, еще в Воронеже: Любушкин дал ему подробную характеристику, сказав, что за его плечами — служба в разведке старой армии, а затем, в гражданскую войну, — у белогвардейцев. Так что вояка это опытный, враг убежденный, хотя и не очень грамотный.

— Начальник политотдела приехал, хочет с тобою побалакать, — стал говорить Конотопцев, малость, видно, успокоившись, свободнее усаживаясь на лавке.

— А что ж тебя послал? Мы тут не кусаемся, — Шматко глянул на Дегтярева с Тележным, и те закивали согласно: само собой, Ворон! Чего там!..

Конотопцев свел белесые жидкие брови, положил руку на стол, как бы придавая вес своим словам, все расставляя по местам.

— Положено так. Все ж таки он голова политотдела, а не рядовой боец... Ты вот что, Ворон. Тронешь если меня — ни одного живого хлопцы не оставят, учти. Знаем, сколько вас.

— Ну-ну, запугал... Ха-ха... Видали? — обратился Шматко к Дегтяреву и Тележному, и они подхватили смех батька.

— Вы вот что, хлопцы, — стал нажимать Конотопцев. — Покладите-ка пушки свои на стол... Безручко не любит балакать с этими цацками.

— А ты ему вот это передай, — Шматко неторопливо свернул кукиш. — Бачишь? Оружие мы в бою добыли, кровью своей. А тут является какой-то Безручко-Безножко, и клади наганы на стол! Ха! Убирайся-ка ты, Конотопцев, подобру-поздорову, а то, в самом деле, не пришлось бы и нам из пулемета ваших полосовать.

— Ну ты потише, потише, — пошел на попятную Конотопцев. — Давай с оружием переговоры вести, раз так. Но еще раз предупреждаю: мыша́ отсюда не убежит...

...Минут двадцать спустя Безручко, Конотопцев, Шматко, Дегтярев и Тележный сидели за столом, а вокруг дома, вперемежку, с оружием наготове стояли пов-

станцы и люди батьки Ворона. Тем и другим был отдан приказ: стрелять при первом же сигнале опасности, и потому охрана не спускала глаз друг с друга. Зимний день уже кончался, багровое солнце садилось за дальними буграми, тревожный розовый свет тлел в подслеповатых оконцах слободы. Журавка притихла, затаилась, даже собаки попрятались. Слышалось только фырканье разгоряченных походом коней да гоготали у колодца сбившиеся в кучу бойцы эскадрона.

— Ну чого ж ты, Ворон, до нашего штаба глаз не кажешь, а? — спрашивал Безручко, раскуривая трубку.— Территория наша, обязан подчиняться законам военного времени.

— У меня свои законы, — спокойно отвечал Шматко. — Ты меня не тронь, а я тебя не трону.

— Мы прослышали, шо ты тут чекистов пощипав. Так?

— Было дело.

— Значит, с большевизмом не в ладах?

— Выходит, так.

— А чого бы нам общими, значит, силами на коммунистив не навалиться, а? Так сподручней. Шо скажешь?

— Может, и сподручней. Только войной идти против красных мои хлопцы не желают.

— Что так?

— А надоело.

— Ах, мать твою за ногу!.. — Безручко грохнул кулаком по столу. — Мы, выходит, кровь должны лить, а тебе надоело?! За нашей спиной в рай желаешь въехать?

— Да уж какой там рай! С голоду бы не подохнуть.

— И подохнем. И ты, и я, и Конотопцев, и хлопцы твои — все! Бо коммунисты нам судьбину такую уготовили. Знаешь же, шо продотряды все подчистую метут.

— Знаю. А кровь лить мне тоже надоело! — трахнул кулаком и Шматко. — Ты знаешь, сколько у меня на Украине было хлопцев! А сейчас где они? Там! — Он пальцем ткнул в направлении земляного пола. — И мы там будем, если...

— Да мы твоих хлопцев просто мобилизуем, Ворон! Приказом. А тебя — к стенке! За неподчинение.

Шматко побагровел.

— А плевал я на вашу мобилизацию! Силой ничего не сделаешь. Если помощь моя нужна — говори. А так перестреляем друг друга — и все. Ты меня не знаешь, Безручко. Злой я теперь стал, ох какой злой!

Безручко озадаченно поскреб лысеющую макушку. Большие его, навыкате, глаза искали поддержки у начальника разведки, спрашивали мнение.

Конотопцев, у которого от напряжения дергалось веко, старался придать своему осевшему голосу приказной тон:

— Ты это, Ворон, не мути воду. Порядок завсегда был и должен быть. Это тебе не шутка — мобилизация. Примыкай к нам по-хорошему.

— Я свое слово сказал, — упрямо повторил Шматко. — Какая помощь нужна — скажи, подмогнем. А так — мы птицы вольные. Сегодня здесь, завтра снимусь, на Дон пойду или снова на Украину...

— А если хитришь? — глаза Безручко внимательно щупали Ворона. — Если чего затаил против нас?

— Интересный ты человек, Митрофан! Я ж никого сюда не звал, к вам не лезу... Живу со своими хлопцами как хочу.

— Живешь ты на нашей земле, Ворон. Потому и выбирай: или с нами, или...

— Батько же сказал: что от нас требуется?! — не выдержал Дегтярев. — Чего воду в ступе толочь! Нужна если помощь...

— Нужна, — кивнул Безручко. — В Талах вон исполком бы надо разгромить. Там Писаревка рядом, Богучар...

— На Богучар не пойду, — покачал головой Шматко. — Там сильный ревком, чека, чоновцы... Мокрое место от Ворона останется. В волчью яму суете. Не пойду.

Безручко с Конотопцевым повыхватывали наганы.

— Руки! Руки подымайте! — приказал голова политотдела. — Ну! И ты! Ты! — орал он на Дегтярева и побледневшего Тележного. — Ах вы, чекистские шкуры! Ягнятами тут попритворялись. Та у мэнэ на чекистов нюх, як у собаки. Ще тильки в хату зайшов, так у носи засвербило. Тут же чека, думаю!..

— Убери, — спокойно сказал Шматко, глазами показывая на наган. — Такие концерты и я умею разыгрывать.

— Ворон! Руки! — визгливо кричал Конотопцев. — Стрелять будем!

— Не будешь, — усмехнулся Шматко. — Не за тем приехали. В дивизию вашу все одно не пойду, а помогать буду. Нам с большевиками не по пути. Так, Дегтярев?

— Та-ак. — Прокофий перевел дух, снял руку с расстегнутой уже кобуры.

Безручко бросил наган на стол, захохотал.

— Ну шо, Ворон? Перелякався? Штаны-то сухи? А то сымай...

Тоненько, по-бабьи, хихикал и Конотопцев, но глаза его по-прежнему были настороженными, злыми.

— Ладно, Ворон, пошутковалы, и будет,— сказал Безручко. — С хлопцами нашими Талы погромишь. А там побачимо. Неволить, може, и не станем. Гуляй пока.

Все поднялись из-за стола, заговорили разом. Напряжение на лицах гостей и хозяев спало, вместе и посмеялись над происшедшим.

— А хозяин ты хреновый, Ворон,— гудел Безручко.— Гости до тэбэ по холоду скакали-скакали, а ты и горилки не припас.

— Отчего ж не припас? — смеялся Шматко. — Дибцов! Ну-ка, в сенях там, глянь...

Дибцов, а вместе с ним и Тележный с Дегтяревым засуетились; появилась четверть, вареная картошка, капуста, крупно нарезанный лук...

— Оцэ другэ дило! — Безручко потирал руки. — Сидай, Конотопцев. Малость подкрепимся на дорогу. А то и правда — в животе бурчить...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

По скользкой и грязной дороге, соединяющей Старую и Новую Калитву, поддерживая старое свое и не очень послушное уже тело добротной суковатой палкой, медленно шла Мария Андреевна Колесникова. Из дому тронулась она утром, сказав девкам и Оксане, что сходит на Малую Мельницу, к Ивану, — там сейчас его штаб. Оксана стала было напрашиваться с ней, убеждая, что вдвоем идти легче, дорога эта и для молодых ног не ближняя, туда да обратно наберется, поди, километров двенадцать, не меньше; кроме того, и ей, как жене, надо поговорить с Иваном: прошел слух, что на Новой Мельнице у него краля, беловолосая какая-то Лидка. Но Мария Андреевна Оксану с собой не взяла: насчет крали она и сама разузнает, а поговорить ей со старшим сыном надо о другом. Калитва хоть и восстала, и власть тут Иван с дружками захватил, все одно — дело это бандитское, против законной Советской власти совершенное.

Мария Андреевна, повязавшись теплым платком, отправилась в путь пораньше. Дороги она не боялась — выросла тут, с детства и грязь калитвянскую месила, и по зеленому лугу бегала, и в Дону купалась. Дойдет и теперь до Новой Мельницы, не развалится. Летом бы, конечно, сподручнее: до хутора напрямки километра четыре, но сейчас по лугу не пройти — снег размок, туман. Придется идти через мост, что у Новой Калитвы, потом вдоль бугров на Мельницу эту... Ишь, убрал бандитский свой штаб из Старой Калитвы, подальше от людских глаз. Таких делов наворотили, что сквозь землю хоть проваливайся: продотрядовцев побили, в какой-то Меловатке, Гончаров хвастался, мальцов с матерью постреляли из обрезов... Там же, Марко языком молол, девку он себе приглядел, Лидку эту, а Иван себе взял. Ох, Иван-Иван! Да что ж тебе, непутевому, свет застило? Руки людской кровью измарал, колесниковский род на веки-вечные опозорил. Как теперь меньшим сынам, Павлу да Гришке, в глаза смотреть? А чужим людям? Чует ее старое сердце, что кровавая эта игра ненадолго, что страшный будет для Ивана конец. Господи, вразуми ты его, беспутного, направь на истинную дорогу! Что ж ты, господи, видишь все с небушка, да не подскажешь? Явился бы в каком-нибудь образе к нему и подсказал бы, нашептал бы в оглохшее ухо, в бесстыжие зенки глянул бы. Проклятье его ждет народное, кара небесная... Давеча являлся от тебя посланник, господи, сказывал с горестью: смерть Ивану, если не бросит кровавое свое дело, не одумается...

Мария Андреевна, мелко крестясь, стояла сейчас лицом к Новокалитвянской зеленой церкви, купола которой едва были видны из-за тумана, плакала. Сердце ее изболелось за проклятый этот месяц, сил вовсе не стало. Стыд-то какой, господи! Позор! Кто бы мог подумать, что старший ее, Иван, на такое дело пойти согласится?! Ну, пригрозили, ну, припугнули — мужик ведь он, не баба. Да и баба — на какую еще напали бы. В Гнилушах вон, рассказывали в слободе, учителку какую-то Назарук с дружками в свою веру хотели обратить, а та — ни в какую, на своем стояла. Так они, сволочи, груди ей срезали, живодеры!.. А Григорий потом божился, мол, не они это, а Осип Варавва из-под Богучара набежал... Да какая разница, одного полета птицы.

Отдохнув и немного успокоившись, Мария Андреевна пошла дальше, ставя ноги в разбитых чоботах сбоку до-

роги, в чистый и рыхлый снег — вилась цепочка маленьких, глубоких следов...

На Новую Мельницу она пришла к полудню. Вдоль меловых бугров идти было легче, не то что по лугу, — дорога тут посуше. Черная Калитва лежала подо льдом и снегом, но у самого мостка дымилась широкая полынья, билось у ее края вздрагивающее на ветру гусиное перо.

Марию Андреевну еще за мостком встретил конный разъезд: Демьян Маншин и кто-то второй, незнакомый ей, на приземистой пузатой кобыле. Демьян поздоровался первым, спросил, по какому, мол, она делу — тут штаб дивизии, запретная зона. Мария Андреевна с сердцем ответила Демьяну, что плевать ей на штаб и дивизию, пришла она до сына, Ивана, надо его побачить. Маншин растерянно переглянулся со своим напарником — был, видно, у них на этот счет какой-то приказ, никого не подпускать к Новой Мельнице, но мать атамана под приказ этот явно не попадала. «Да нехай идет, Демьян!» — махнул рукой тот, на пузатой кобыле, и Маншин тоже махнул: иди.

Мария Андреевна пошла дальше (она пошла бы и без их согласия), а конники зачавкали по дороге на Новую Калитву — видно, дежурили. На белом бугре, что дулей торчал над Новой Мельницей, она увидела еще двух всадников — они смотрели сверху в ее сторону. С бугра этого она и сама девчонкой глядела окрест — занятно! Вся Старая Калитва как на ладони. И Лощину видно, и Терновку. А там, слева, если приналечь на глаза, и Россошь, кажись, можно разглядеть. Хорошо эти двое на бугре приспособились, далеко видно...

Сразу при входе в хутор на глаза Марии Андреевне попался дед Сетряков — тащил откуда-то оберемок соломы. Она знала, что старый этот придурок сам напросился в банду, при штабе истопником: значит, знает, в каком доме Иван, и спросила про это.

— Андре-е-евна-а... — пропел удивленно Сетряков. — Какими божьими судьбами?

Он опустил солому на землю, смотрел на нее с интересом, по-пацаньи неряшливо утирая сопливый нос рукавом рваного кожушка, сбивая с глаз сползший треух.

— Божьими, божьими, — сурово ответила Мария Андреевна. — Где мой-то?

Зуда повел ее к дому с голубыми ставнями; всюду она видела лошадей, вооруженных людей, из одного двора торчало даже круглое рыло пушки.

«От антихрист! От антихрист!» — скорбно качала она головой.

— Что у него — девка тут? — спросила Мария Андреевна Сетрякова, семенившего рядом. — Или брешут в Калитве?

— Может, и не брешут, — осторожно промямлил Зуда. — Хто их, молодых, разберет, Андревна?.. Я к тому ж теперь не в самом штабе, а в пристрое, и за лытки... хи-хи!.. никого не держав.

— Дурак ты, — ровно сказала Мария Андреевна. — И речи твои дурацкие. Не знаешь — так и скажи.

Сетряков обиженно пожал плечами, отстал.

Колесников увидел мать из окна, вышел на крыльцо в гимнастерке без ремня, с непокрытой головой, с невыспавшимися, пьяными глазами. Смотрел на нее с каменным, неподвижным лицом, ежился от холодных капель, срывающихся на шею с навеса крыльца. Вышел на крыльцо и Гончаров — у того морда вовсе распухла от непрестанной, видно, гульбы.

— Здравствуй, Иван, — сухо сказала Мария Андреевна и оперлась на палку, трудно дыша: все ж таки не для ее ног эта дорога, не для ее.

— Добрый день, мамо, — ответил Колесников безрадостно и стал спускаться с крыльца. — Ты до мэнэ, чи шо?

— До тэбэ, до тэбэ, — потрясла она утвердительно головой и пристально посмотрела сыну в лицо; Колесников отвернул голову.

Мария Андреевна вошла в чужой дом, где жил ее сын Иван и где размещался его штаб, заметив при этом, что Марко Гончаров настороженно и вопросительно вылупил на Ивана глаза, а тот пожал плечами — сам, дескать, не понимаю, зачем она явилась. Выскочили на голоса у порога Кондрат Опрышко с Филькой Струговым; эти осклабились почтительно, Филька хотел даже принять у матери атамана дорожный, измазанный грязью посох, но Мария Андреевна отвела его руку, не дала. В горнице, куда она вошла, были еще какие-то люди, среди них она увидела и Сашку Конотопцева, и Гришку Назарука с Иваном Нутряковым. В горнице был накрыт большой стол, гудели голоса, табачный дым стоял коромыслом. Мелькнуло девичье бледное лицо, и Мария Андреевна почувствовала, как дрогнуло ее сердце: «Она, полюбовница Ванькина!»

Колесников прикрыл дверь в горницу, ввел мать в

другую комнату, где стояла широкая двуспальная кровать с блестящими шарами-шишками по углам грядушек и с высокими, горкой уложенными подушками; над кроватью, на стене, висели в грубых деревянных рамках фотографии чужих, неизвестных ей людей. Мария Андреевна села на предложенный ей стул, скинула на плечи теплый платок, оставшись в тонком, кутавшем ей лоб и оттенявшем голубые, потемневшие сейчас глаза.

Колесников молча ждал.

— Ну, чего пришла? — не выдержал он наконец и недовольно ворохнулся на стуле у стены; сидел теперь, картинно и с вызовом закинув ногу на ногу, белесые его брови сходились у переносицы.

Мария Андреевна не отвечала; смотрела на его заметно изменившееся, ожесточившееся лицо, на поседевшие виски, на руки, беспокойно ищущие себе места или дела. За дверью бубнили голоса, у порога явно кто-то топтался, подслушивал, и Колесников настороженно косился на дверь, жило в его глазах напряжение.

— Что ж ты делаешь, Иван? — убито, негромко сказала Мария Андреевна, стараясь, чтоб и ее голос был там, за дверью, не очень-то слышен, надо ведь поговорить с ним, окаянным, по-матерински, отвести неминуемую беду... Она приготовила за этим вопросом целый короб попреков, намеревалась найти для этой цели самые верные слова, но из этой затеи ничего не вышло — сами собой неудержимо покатились по морщинистым щекам Марии Андреевны слезы, душил ее обидный и протестующий плач.

— Да шо... — саркастически отвечал на ее вопрос Колесников. — С Советами воюю, ты знаешь. А точней, с большевиками, бо Советы нам самим пригодятся.

— Тикай ты отсюда, Иван! — раненно, приглушенно выкрикнула Мария Андреевна. — Не одному тебе аукнется, всему нашему роду прощения не будет.

Колесников нервно дернулся небритым и оттого еще более угрюмым лицом, вскочил со стула, принялся расхаживать по комнате, и вся его согнувшаяся, в военной одежде фигура, озлобившееся лицо, тискающие друг друга руки — все в нем возмущалось в несогласии, в крайнем раздражении.

— Мамо... ты, если чего не розумиешь... Я никого не убиваю, не мучаю. Командую, и все. Дело военное.

— За кого ж ты воюешь, Иван?

— За кого... За народную власть.

— Власть народная — Советская. И Красная Армия— защитница. А ты бросил ее...

Колесников стоял теперь спиной к матери; смотрел в окно на мирно жующих сено лошадей, на Митрофана Безручко, приехавшего откуда-то в заляпанных грязью дрожках.

— Дороги назад для меня нету! — жестко сказал в мутное, запотевшее стекло Колесников. — Да и зачем она, дорога назад? Красной Армии все одно конец скоро. Глянь вон, у Антонова сила какая! Кто с ней сладит?.. И шо тогда браты мои, Павло да Гришка, робыть будут, а?

Мария Андреевна покачала головой:

— Ой, лышенько... Что ты мелешь, Иван? Не для того народ царя сбрасывал... И вашу шайку, и того ж Антонова Советская власть як щенят расколошматит. Вот побачишь.

— Не шайку, мамо! — строго и обиженно сказал Колесников. — У нас такие ж части, как и у красных. И лупим мы их як цуциков, а не наоборот. Не слыхала, чи шо?

— Слыхала. — Мария Андреевна горько усмехнулась. — На Криничной сонных красноармейцев порезали, в Терновке... Ума тут много не треба.

— Военное дело, хитрость, — знакомо уже, нервно, дернулся Колесников, поворачиваясь. — Не мы их, так они нас. Дело смертное.

— То-то и оно, что смертное. — Мария Андреевна промокнула углом платка мокрые глаза. — И втянули тебя как Ивашку-дурачка. Тьфу!

Колесников побледнел, выхватил из кармана гимнастерки пачку папирос, жадно и торопливо закурил, снова отвернулся к окну.

— Никто меня не втягивал, мамо, — глухо говорил он. — И про Ивашку ты брось. С большевиками у меня свои счеты... Шесть годов по окопам вшей кормил, Родину, царя, Советскую власть защищал, башку за нее под пули подставлял. А сам что имею, а? Где мое, батькой, дедом нажитое?! Где?! Я тебя спрашиваю!

Иван почти кричал, и Мария Андреевна поняла, что пришла зря, что перед нею уже не родной старший сын, а непонятный и чужой человек, как и эти фотографии на стене, весь этот дом-штаб с пьяными вооруженными мужиками, девкой-полюбовницей и подслушивающим у

двери Опрышкой и лысой этой образиной Струговым... Она вздохнула, засобиралась назад.

— Танька.., как там? Оксана? — глухо спросил Колесников.

— Наведался бы, не за тридевять земель. — Мария Андреевна тяжело поднялась. — Внучка растет, чего ей, а жинка... Прийти до тебя хотела, да я не взяла. Бачу, правильно сделала, у тебя тут белобрыса вон по дому гуляет...

— Ну ладно, хватит! — От резкого его голоса Мария Андреевна вздрогнула. — Лидка при штабе, грамотная она, бумаги тут у нас составляет. Набрехать все могут...

— Брось банду, Иван! — дрожащим, заискивающим голосом сказала Мария Андреевна. — Богом тебя прошу! Уж лучше смерть всем нам, чем позор такой! Слышишь, сынок?! Опомнись!

Колесников шагнул к двери, распахнул ее, позвал:

— Кондрат! Или кто там — Филимон!

На зычный его, командирский голос сунулись в проем две головы: Опрышко и Стругова.

— Отвезите мать в Калитву, — велел Колесников.— Бричку ту, на рессорах, заложите. Нет, лучше санки, что полегче, да напрямки, по лугу.

— Я и так дойду, не треба ничо́го, — твердо сказала Мария Андреевна. — Гуляйте, хлопцы. Я, мабуть, помешала вам.

Старой дорогой она пошла назад — еще больше согнувшаяся; ноги совсем не слушались ее, хорошо, что палка была крепкая, держала, да и от собак отбивалась. Опрышко с Филимоном, выскочившие вслед за нею, толклись до самого мосточка через Черную Калитву рядом, уговаривали «малость остыть и на атамана не лаяться, хоть он и твой, тетка Мария, сын». Они сейчас заложат санки, домчат ее до Старой Калитвы за пять минут... Она не слушала их, шла и шла вперед — суровая, с закаменелым лицом, глухая ко всему, — и Опрышко с Филимоном отстали.

У полыньи Мария Андреевна остановилась, через падающие по-прежнему слезы смотрела на дымящуюся холодную воду, легко, наверно, тянущую под лед все, что окажется на ее поверхности... С большим трудом Мария Андреевна что-то преодолела в себе, отошла от полыньи, а потом снова, будто ее поворачивали силой, оглянулась: на белой, легко угадываемой под снегом ленте реки зияла черная, мертво отсвечивающая рана...

...На середине примерно пути до Новой Калитвы ей повстречалась пара легких саней. Сытые лошади играючи несли сани по раскисшей, не пригодной для езды дороге. Мария Андреевна ступила в сторону, в снег, глядела на возбужденных, явно нетрезвых людей, на ленты в гривах лошадей. «Свадьба, что ли, какая? — мелькнула мысль.— В такую-то годину!..»

С гиканьем, хохотом и свистом, с вяканьем простывшей на холоде гармошки сани пролетели мимо — промчались, обдав Марию Андреевну липкой холодной грязью. Увидела на санях два-три знакомых лица: Богдан Пархатый, из зажиточных, с ним Яшка Лозовников, Ванька Попов... Была с ними и какая-то дивчина в белой, праздничной накидке на плечах...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Богдан Пархатый, командир Новокалитвянского полка, ехал со своей свитой и «эсеркой» Вереникиной, женой погибшего от рук чекистов белогвардейского офицера, на свадьбу Колесникова. Самое интересное в этой предстоящей свадьбе было то, что ни сам «жених», ни его «невеста», пленница Соболева, не знали об этом. Идею о свадьбе подал Митрофан Безручко — этот на всякие выдумки горазд, его охотно поддержали; по случаю разгрома красных частей было уже немало выпито самогонки и всякой другой дряни, в штабе наскучило орать здравицы в честь атамана и высокопоставленных предводителей, требовалось нечто новое. Тут-то и вылез со своей идеей Безручко — женить надо атамана по всем правилам. С Соболевой он жил, все это знали, хотя Колесников и не афишировал; дал ей при штабе кое-какую работенку: то приказ Соболева перепишет для полков, то повстанческие воззвания размножает. Секретов ей, конечно, не доверяли: во-первых, девка, во-вторых, другого поля ягода. Такую б, понятно, подальше от штаба держать, мало ли что, но Колесников проявил характер, уперся с этой Лидкой. Может, в свою веру решил обратить, может, молодуха эта по сердцу ему пришлась, черт его разберет. Держит ее в строгости, девка без его ведома шагу лишнего ступить не может; ординарцы, Опрышко да Стругов, все ее шаги наперечет знают. Поговаривали в полках, что девку эту Колесников взял в отместку жене, Оксане, будто она загуляла тут без него, в Старой Калитве, мол, есть у нее

хахаль, Данила Дорошев, — Пархатый знал его немного. И кого выбрала — черта хромого! Из-за хромоты Данилу даже не мобилизовали, дома сидит. Конечно, в слободе могут всякое наговорить. Оксана баба видная, красивая. Может, из зависти кто сболтнул, может, из мести. От того же Марка́ Гончарова или Гришки Назарука всего можно ждать. Не иначе, сами к Оксане Колесниковой сунулись, да получили от ворот поворот, вот и злобствуют теперь. К тому же девку эту, Соболеву, Гончаров из набега привез, а Колесников, вишь, к рукам ее прибрал — атаман, ему подавай кусок послаще. И попробуй сунься!..

Словом, Безручко пустил промеж штабных и других командиров слух о женитьбе Колесникова: то ли узаконить хотел их с Соболевой отношения, то ли на проверку — как к этому отнесутся. А им что — есть повод лишний раз выпить. Боев пока не предвиделось: красные собирали разбитые свои остатки, тужились, заваливали слободы воззваниями (надо же, придумали: с ероплана листки сыпать!) — мол, переходите на нашу сторону, граждане восставшие, вас обманули, простим... ну и все такое прочее. Листки эти в слободах тщательно собирались и сжигались — ни к чему народ смущать. В воззваниях, ясное дело, обман, военная хитрость, лишь бы смуту в рядах посеять, а там... Там ясно: чека всех подряд поставит к стенке, пощады от нее не жди. Тем же калитвянам, кто успел листовки прочитать, сказано было прямо: не будь дураком, смерть тебя с двух сторон ждет — или расстрел за участие в банде, или голод от продразверстки, выбирать не из чего. Поверили, пуще прежнего озлобились. У всех на памяти продотряды.

Пархатый — сутулый, с близко посаженными, сплющенными какой-то гнилой болезнью глазами (и чем только не лечился: мыл глаза настоем табака, телячьей мочой при полной луне, отваром дубовых листьев, а все одно — мокнут) — сидел спиной к крупам лошадей, прятал хмурое черноусое лицо в воротник добротного, отбитого у гороховской милиции полушубка. Еще в засаде, на лесной дороге по-над Доном, по которой небольшой милицейский отряд возвращался из Ольховатки, Богдан выбрал себе именно этот полушубок — милиционер был его росту и комплекции. Богдан сказал своим, чтоб не палили вон в того, рыжего, он сам его прикончит. Стрелял милиционеру в голову, боясь продырявить полушубок, но не попал. Милиционер, спрыгнув с саней, залег за кустом, отстреливался, и пришлось прошить его из пулемета. Дырок в

полушубке оказалось шесть, жалко было, но ничего, залатали, не видать. Зато полушубок теплый...

Усевшись поудобнее, Пархатый сочувственно глядел на съежившуюся под промозглым встречным ветром Вереникину: в таком пальтишке, конечно, недолго и окочуриться. Надо бы бывшей этой офицерше кожушок какой при случае раздобыть, если... Богдан еще раз глянул на строгое лицо своей гостьи: все, впрочем, будет зависеть от нее самой, от ее поведения. Прежде всего, она баба, пускай и бывшая чья-то жена, баба причем молодая и не дурнушка, с такой не грех появиться в обществе, на той же Новой Мельнице. Он взял ее с собой намеренно — с одной стороны, пусть ее Сашка Конотопцев да те же Нутряков с Безручко прощупают, что за птица, а с другой, если все будет в порядке, можно с ней и повеселиться. С третьей стороны, Вереникиной можно дать в полку какое-нибудь полезное дело — она грамотная, из барышень, окончила, говорит, гимназию, к тому же членом эсеровской партии была или есть, он не понял толком. Знакомых у нее в Ростове много, и в Воронеже называла какого-то Муравьева, он вроде бы большая величина у эсеров, может при надобности помочь... Что ж, знакомства Вереникиной могут пригодиться, штаб Колесникова настойчиво укрепляет свои связи с Антоновым, а у того, говорили, прямые связи с эсеровским ЦК. И Вереникина это подтвердила. Правильно, так и надо. Надо действовать вместе, тогда можно большевиков одолеть окончательно.

Пархатый вспоминал рассуждения Вереникиной, соглашался с ними — девка с головой. Она сказала тогда, в первый день, что, в общем-то, не собирается оставаться в Калитве, вынуждена была пойти через их слободу, услышала о восстании еще в Воронеже, побоялась идти через Богучар, там ее могли задержать чекисты или чоновцы и вернуть... Если же она может оказать повстанцам какую-нибудь помощь, то согласна, рада будет отомстить Советской власти за мужа.

Слушал Вереникину и смотрел ее документы не только Пархатый, но и оказавшийся по случаю в Новой Калитве Яков Лозовников, этот был заместителем у Гришки Назарука, то есть приближенным к штабу Колесникова. Вдвоем они и допросили Вереникину, старались путать вопросами и даже пригрозили побить, «ежли будешь брехать», но баба оказалась тертой и не робкого десятка: накричала на них с Яковом, сказала, мол, не навязыва-

юсь вам, не нужна, так и дальше пойду, в Ростове дел хватит, глядишь, и в Донской области пригожусь, у Фомина, там люди, видать, поумнее вас.

Пархатый понял, что они с Лозовниковым малость перегнули, действительно, баба эта может оказаться полезной и у них, так что нехай побудет в Новой Калитве. Проверить ее по-настоящему может Сашка Конотопцев, в руках у него разведка, пускай и занимается, выясняет, что это за птаха на самом деле. Нынче же Вереникину можно взять с собой на свадьбу атамана, ругать его за нее вряд ли станут — баба и баба. Надо, пожалуй, угостить ее там как следует, да... Какие они, офицерские жинки? Свои, слободские, вроде бы и приелись.

Так, взбадривая себя и теша близкими планами, Пархатый время от времени обращался к Вереникиной с каким-нибудь вопросом, называя ее при этом по имени-отчеству — Екатериной Кузьминичной (так она потребовала), то предлагая ей укутать спину полстью, то спрашивая, не застыли ли у нее ноги в таких легких ботинках. Вереникина отвечала, что ногам ничего, терпимо, да и спина не очень озябла, от полсти отказалась. Сидела прямая, строгая, в праздничной белой накидке на темных волосах, с дымящейся папироской в руках.

В тот день, когда она появилась в Новой Калитве и была сначала доставлена к коменданту гарнизона, а потом к нему, Пархатому, на всех присутствующих в штабной его избе произвел сильное впечатление именно тот факт, что пришлая баба курит, причем лихо, с барскими замашками. Курящую бабу здесь видели впервые, явно она была не их мира. Да и претензии Вереникина сразу же высказала господские: потребовала поместить себя в чистую и теплую избу, чтоб скота в ней, не дай бог, не было, и вшей. Оказалось, что бывшая барынька не переносит и петушиного крика по утрам: бабка Секлетея, к которой Вереникину поставили на квартиру, петуха да трех кур держит теперь взаперти до самого пробуждения постоялицы... Да чего там, видать птицу по полету, видать!

Окончательно успокоившийся, Богдан зябко передернул плечами — дует, однако, в шею!.. Протер затасканной тряпицей заплывшие глаза (на ветру и холоде они особенно мокнут), повернул голову — Новая Мельница быстро приближалась. Навстречу им шла какая-то старуха; Пархатый пригляделся, узнал Колесникову, хотел было остановиться, спросить из вежливости — чего это

ты, Марья Андревна, ползаешь по такой слякоти? И не подвезти ли тебя куда надо — все ж таки мать атамана!.. Но потом передумал: Колесников и сам мог бы подвезти мать, если б схотел, а им назначено к полудню.

Так и пролетели мимо Колесниковой двое саней с новокалитвянцами — с гармошкой и лентами в лошадиных гривах.

* * *

Лида, пробывшая в банде уже две недели, чувствовала, что назревают какие-то события. Что-то вдруг засуетились в штабе, забегали: стаскивали из других изб хутора столы и лавки, посуду, поглядывали на нее многозначительно, с повышенным интересом. Лида поначалу не придала этому значения — мало ли по какому поводу затеяли гулянку. Ждут, наверное, гостей, носилось от одного к другому веское: Антонов, Антонов... Лида так и поняла: ждут тамбовского главаря.

О себе она не подумала: жизнь ее, пленницы, внешне определилась. Убежать из Новой Мельницы было нельзя: Опрышко, Стругов и даже дед Сетряков смотрели за ней во все глаза. Наказано было и всему штабу: при малейшей попытке к бегству — стрелять. Лида ежилась от одной этой мысли, грубо и жестоко сформулированной Колесниковым в самый первый день, когда Гончаров привез ее в Старую Калитву. О многом она передумала длинными черными ночами, плакала. В мыслях уже не раз кончала с собой, потом поняла, что не сделает этого. Уйти из жизни, не попытавшись спастись? Не отомстив бандитам?

Колесников изнасиловал ее в первую же ночь: без единого слова сорвал одежду, повалил, а когда она закричала от боли и страха, сдавил рот безжалостными ледяными пальцами.

Именно в ту ночь Лида решила, что не станет больше жить, что повесится или разрежет себе руку, но скоро поняла, что этой возможности у нее не будет. Стругов и Опрышко, меняя один другого, особенно в те первые дни и ночи, следили за ней во все глаза с многозначительными сальными ухмылочками, не разрешая ей закрываться в комнате. Опрышко, как всегда, молчал, посмеивался в бороду, а Филимон Стругов подмигивал простецки, успокаивал: «Ты, Лидка, голову себе и другим не морочь, поняла? Цэ бабье дело, дуже приятное, так шо не бесись. Все бабы через это прошли, не ты первая...»

Повышенное внимание оказывала Лиде и Авдотья, хозяйка дома, нашептывала: «Ой, не держи ничо́го на уме, девка, запорют они тебя, забьют. Иван Сергеевич дюже лютый на расправу». «И без тебя, старая карга, знаю, — думала Лида. — Все вы тут друг друга стоите».

Голодным, затаившимся волком смотрел на нее и Марко Гончаров. Лида поняла, что он уязвлен поступком Колесникова, что подчинился приказу, но при случае сведет с атаманом счеты. Все это легко читалось на вечно пьяной физиономии Марка, от одного вида которой Лиду бросало в дрожь.

Гончаров смотрел на нее, как на что-то неживое, будто перед ним была красивая игрушка, которую у него отняли, вырвали из рук, и за это полагается отомстить. И если б, конечно, это был не сам атаман... Не раз и не два Гончаров при случае грубо тискал ее, щипал; однажды она замахнулась на него, но ударить все-таки не посмела — такой встретила злобный, звериный взгляд. Хотела было пожаловаться Колесникову, но горько лишь усмехнулась — нашла защитника!

Выполняя поручения в штабе, Лида терялась в догадках: почему ей доверяют? Пусть и не все, пусть самое простенькое, не очень, видно, секретное — те же воззвания к бандитам, приказы по полкам, большей частью хозяйственные... Ведь она может... Нет, ничего она не может. Что толку в том, знает она бандитские приказы или нет? Кому она сумеет рассказать о них? Кто вызволит ее отсюда?.. Никто. Ей и доверяют потому, что она обречена, потому что ее при первой же необходимости убьют. Все они продумали заранее.

Лида плакала, жалела себя. Ну почему ее не убили вместе с Макаром Василичем и Ваней? Зачем привезли сюда, мучают, издеваются?..

Вспоминая ночи, пьяного и безжалостного Колесникова, его молчаливые «ласки», она ожесточалась, ругала себя — слезы ее никому и никакой пользы не принесут. Надо, несмотря ни на что, попытаться бежать отсюда, прихватить наган, обрез, застрелить кого-нибудь из охранников, того, кто будет мешать ей. Но скоро она убедилась, что и эти возможные ее намерения кем-то предусмотрены: оружие Опрышко и Стругов носили всегда при себе, прятали на ночь. Тогда она взялась голодать, но на ее голодовку попросту не обратили внимания — помирай, раз не хочешь жить. Только Колесников нахлестал ее по щекам, а ночью, явившись из какого-то ближнего набега,

пьяный и трясущийся от холода, бормотал ей в самое ухо: «Ты, Лидка, жри как следует, тебе жить да жить. Это у меня песня спетая... Я тебя сберегаю, как ты этого не поймешь? Марко давно бы тебя по рукам пустил, поняла?..»

Она, отбиваясь как умела, не поверила, конечно, ни одному его слову: утром Колесников и сам, наверное, забыл, о чем говорил ей. А она отчетливо вдруг поняла, какой это большой и жалкий трус—он и трясся-то вчера от одних мыслей о возможной расправе над собой, о законном возмездии, вот и напивается со своим штабом до чертиков.

Именно с этой ночи душа Лиды переродилась: она стала подробно вспоминать разговоры с Клейменовым и Ваней Жигловым — они же не дрогнули, когда их били и убивали, бросились в бой с бандитами, оказали сопротивление. Ни Макар Василич, ни Ваня не просили у них пощады, а она... слезки льет, жалко себя. Да разве этому учил ее Клейменов? Разве о покорности врагу говорили па собрании их комсомольской ячейки? Сделали ее полюбовницей кровавого атамана, кошкой ненасытного, одичавшего кота, а она только и делает, что слезки проливает, вздыхает: нет, не убежишь отсюда, убить могут. Тряпка! Жди: вот-вот явится с неба богатырь Алеша Попович, разбросает твоих обидчиков и насильников, посадит тебя в мягкое седло и умчит... Жди, Лидочка, надейся!

Дня три Лида ходила по штабу с замкнутым, отрешенным лицом. Теперь она зорче приглядывалась ко всему, что происходило вокруг, стала внимательнее прислушиваться к штабным разговорам, вдумывалась в бумаги, которые писала, старалась запоминать их. Она по-прежнему не надеялась, что все это кому-то пригодится, но появилась цель, явились силы — она жила теперь верой в свое избавление, в свой близкий побег. Не может быть, думала Лида, что о ней никто не знает и не беспокоится, что Советская власть бросила ее на произвол судьбы. Разве могут остаться безнаказанными злодеяния Колесникова? Разве простят бандитам смерть Клейменова, Ванечки Жиглова? Пусть не скоро ее освободят, нет сейчас у Советской власти достаточных сил, но они обязательно появятся. А она, комсомолка Соболева, не станет больше плакать, отказываться от еды — ей нужны силы для побега, для борьбы! И еще она должна не просто убежать отсюда, из бандитского логова, а помочь родной Советской власти. Хоть чем-нибудь!

* * *

В тот же день утром прискакал из Россоши гонец. Лида видела уже этого человека — хмурый, неразговорчивый, левое веко у него отчего-то дергалось. Он приезжал и в Старую Калитву, и сюда, на Новую Мельницу, обычно поздно вечером, даже ночью, привозил (она это понимала) важные то ли задания, то ли сведения. С его приездом Колесников закрывался с Конотопцевым, Нутряковым и Безручко в горнице, через дверь слышались их приглушенные озабоченные голоса. Раньше Лида, занятая собой, не прислушивалась к этим разговорам — мало ли о чем могут толковать эти изверги?! Теперь же ко всему прислушивалась: над печью, выходящей к ее кровати жарким и широким боком, были оставлены умершим хозяином вентиляционные отверстия, заложены в стену жестяные трубы. Отверстия эти были кем-то предусмотрительно забиты тряпьем; Лида с бьющимся сердцем стала на табурет, вытащила из одного отверстия старую заячью шапку, из другого — кусок какого-то рядна...

Говорил приезжий, голос у него глухой, надтреснутый, грубый:

— Красные не могут опомниться от ваших ударов, Иван Сергеевич. Хорошо вы им всыпали, до сих пор бока зализывают. Но имей в виду — не успокоились, затевают новый поход. Выдрин вот что поймал...

Лида отметила себе: «Выдрин», подумала, кто бы это мог быть, почему называется здесь эта фамилия? Она жадно вслушивалась во вспыхнувший отчего-то в горнице спор, старалась понять его причину и еще ловила имя приезжего, но странно — по имени его ни разу не назвали. Тогда она сама дала ему прозвище — «Моргун» — и тихонько засмеялась (пожалуй, впервые за эти две недели), так легко и точно подошло это прозвище приезжему.

— А теперь, Иван Сергеевич, вот это письмо глянь,— торжественно как-то сказал Моргун. — Лично тебе адресовано.

За столом в горнице стихли, слышно было лишь сосредоточенное напряженное сопение; Лида все тянулась, тянулась на носках, боясь пропустить что-то важное — высоко все-таки отверстия, подложить еще что-нибудь, лучше было бы слышно, а то говорят негромко, непонятно, ах, досада!..

От напряжения ноги ее неловко переступили, сорвались с табурета, и Лида с грохотом полетела на пол, на

домотканую полосатую дорожку, и тотчас затопали в сенцах шаги — так ходит Опрышко, а сейчас он не шел, а грохотал сапожищами по деревянным доскам пола, рывком распахнул дверь, смотрел настороженно и строго: что тут такое? Лида, чувствуя боль в бедре, поднялась, подхватила табурет, судорожно придумывая ответ: вот споткнулась о табуретку, нога что-то подвернулась, за половик зацепилась...

Из-за спины Опрышко выглядывал уже Сашка Конотопцев, подозрительно оглядывал ее комнату, лисьей своей мордочкой водил из стороны в сторону. Хорошо, что догадалась она, успела кинуть шапку под кровать, может, и не заметят ничего, уйдут. Ну, Лидочка, улыбнись им виновато, мол, извиняюсь, что потревожила, не хотела я, нечаянно...

— Штаб думае, а ты грохочешь тут! — рявкнул Опрышко.

Он с грозной физиономией закрыл дверь, а Лида без сил опустилась на пол. Бог ты мо-о-ой! А если б Сашка увидел... Скорее все вернуть на место, заткнуть дыры, как были. Потом она подумает, как сделать, может, не стоит подслушивать через эти дыры, а... Но как? Как иначе? Она ведь заметила, что ей не доверяют, что за ней следят... Нет-нет, пусть пока эти дыры будут открыты, скажет что-нибудь, придумает: мол, и так в клетухе этой дышать нечем, а кто-то отверстия позатыкал... Чего она, в самом деле, струсила?

Дверь снова открылась, на пороге стоял ухмыляющийся, обрадованный чем-то Колесников.

— Ты чего это посреди пола уселась? — спросил он.— Или на стул промазала?

— Ага... Иван Сергеевич... промазала... — закивала Лида с натужной улыбкой и поднялась. — Нога что-то... Шла и... не знаю, как и получилось.

Она дергала в смущении плечами, чувствуя, что врет нескладно и ее легко сбить с мысли, но Колесников, видно, верил, похохатывал; Лида увидела на его лице новое выражение, похожее на радость, это было для нее ново — обычно Колесников был хмурым и злым, а тут — начищенный самовар, да и только!

Он держал в руках какой-то листок; расправил его в ладонях, сказал:

— Ты вот чего, Лидка. Перепиши-ка раз пять-шесть эту бумагу, да покрасивше. Для каждого, значит, полка. И чтоб без ошибок було, поняла? Давай.

Он ушел, а Лида, морщась от боли (не иначе синяк будет), взяла листок, написанный уверенной, сильной рукой, стала читать:

«АТАМАНУ ВОРОНЕЖСКИХ ПОВСТАНЦЕВ
ИВАНУ СЕРГЕЕВИЧУ КОЛЕСНИКОВУ

С большой радостью я узнал о восстании воронежских крестьян. Твои успехи стали известны в Тамбовской губернии. Я восхищен.

Наше дело, наша борьба с комиссарами разворачивается широким махом по всей России. Нам, руководителям многочисленных повстанцев, надо стремиться к сближению армий. Хотел бы я иметь с тобой личное знакомство и дружбу. Я первый протягиваю, Иван Сергеевич, руку и предлагаю держать со мною постоянную связь через бригаду Шамы (податель объяснит лично). Со своей стороны я заверяю в полном моем расположении лично к тебе и к твоим храбрым бойцам. В знак готовности к дружбе обещаю, в случае нужды, оказать поддержку.

АЛЕКСАНДР АНТОНОВ,
начальник Главоперштаба
Тамбовских повстанческих армий».

Вот оно что-о... Вот, значит, чему так радовался Колесников, вот какое письмо привез ему Моргун!

Лида, разложив на столе бумагу, принялась переписывать письмо Антонова, по-прежнему прислушиваясь к тому, что говорилось за стеной.

— Александр Степанович и наша партия возлагают на вас, Иван Сергеевич, большие надежды,—продолжал приезжий. — Вы не думайте, что восстание в Калитве имеет локальное значение. Отнюдь... — («Слова какие-то, — думала Лида. — Не поймешь».) — Сейчас инициатива в губернии в ваших руках. Да-да! Губернские власти в растерянности, полковник Языков... — («Языков!» — тут же повторила про себя Лида.) Моргун закашлялся. — Так вот, Юлиан Мефодьевич хорошо знает обстановку в Воронеже, и не далее как позавчера лично от меня потребовал срочных боевых действий!.. Да, мы виделись с Языковым, — ответил Моргун на чей-то вопрос. — Он считает, что пришла пора наступать на Воронеж. Войска почти все здесь, в районе боевых действий, подкрепления в ближайшее время, насколько нам известно, не ожидается, большевикам нельзя оголять дымящиеся еще фронты...

— Оружия маловато, — услышала Лида голос Нутрякова. — Нам бы, Борис Каллистратович, пушек... Без

батарей идти на Воронеж... сами понимаете. Имеем опыт... Да и с боеприпасами туго.

— Мы об этом говорили с Александром Степановичем, — спокойно отвечал Моргун. — Понимаем, что войско ваше молодое, требует поддержки...

Забулькала жидкость — вероятно, там, за стеной, пропустили по стаканчику; некоторое время стояла тишина.

— Одним нам не сдюжить, — прогудел Безручко. — Шутка сказать — на губернию навалиться.

— Вы не одни будете, Митрофан Васильевич. — Приезжий, видно, жевал, но Лида все равно разобрала слова. — По сигналу в Воронеже поднимется до батальона проверенных людей. Юлиан Мефодьевич со своими людьми парализуют действия большевиков в губернском центре — губкома партии, чека, милиции... Что там еще у них?

— А телеграф, телефон? — спросил Нутряков.

— Об этом тоже подумали, Иван Михайлович. Связь— в первую очередь! Как подумали и о том, что сроки наступления должны быть очень и очень жесткими. Сразу по возвращении в Тамбов я доложу Александру Степановичу... В срочном порядке поможем вам оружием, боеприпасами... Ждите обоз.

— Может, нам с Александром Степановичем... вместе бы, а, Каллистратыч? — просительно протянул Безручко. — Все ж таки у него под началом две армии.

— Мы подумаем об этом, подумаем. Но вам сейчас надо собрать максимальные силы, привлечь к боевым действиям Осипа Варавву, Андрея Каменюка... Кто еще? Кому доверяете?

— Батько Ворон тут у нас объявився.

— Что ж, привлеките и его. Но проверьте людей, кровью проверьте! Святое дело делаем!.. Теперь вот что: связь только через меня, дату совместного выступления мы скажем...

Голоса за стеной отчего-то приглохли, как бы отдалились, и Лида больше не расслышала ничего. Но и услышанное повергло ее в отчаяние...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Появление Вереникиной на Новой Мельнице встретили настороженно. Кате велели подождать в передней штабной избы под присмотром Опрышки и Стругова, а Пархатому Сашка Конотопцев учинил настоящий допрос:

откуда взялась эта дивчина? зачем привез ее прямо в штаб? кто смотрел документы?

Богдан отвечал, как было: пришла Вереникина из-за Дона, задержал ее на окраине Новой Калитвы конный разъезд; бойцы проверили у нее документы, доставили в штабную хату. Документы он тоже посмотрел, не нашел в них ничего подозрительного, тем не менее велел организовать за Вереникиной круглосуточное наблюдение — мало ли, действительно, зачем она явилась в Калитву! Время неспокойное, та же чека может заслать к ним лазутчика под видом такой вот девицы с замашками барыни — он, Богдан, понимает, что к чему. Поэтому он и ее квартирной хозяйке наказал, чтоб смотрела за постоялицей в оба, и двум надежным хлопцам велел не спускать глаз с дома Секлетеи, но попрекнуть Катерину Кузьминишну не в чем: никто к ней не являлся, и сама она никуда не отлучалась — разве только до колодца сбегает за водой или в лавку за керосином сходит. Секлетея к тому же хвалила постоялицу: из себя скромная, услужливая, хотя и капризная из-за петухов, орущих по утрам, и подозрительная на предмет блох; на Советскую власть обижена из-за мужа, и еще, треклятая, курит! И смолит, и смолит... Сколько у нее этих папиросок в сумке, один бог знает.

Пархатый захаживал и сам раза два к Катерине Кузьминишне, дюже интересно толковать с ней о политике и вообще; он задавал ей разные хитрые вопросы, на которые она легко и охотно отвечала. Спрашивал он Вереникину о родственниках мужа, о полке, в котором он служил, о месте похорон супруга — на все вопросы она отвечала быстро и без запинки. Однажды он явился в дом бабки Секлетеи под хмельком: конница его полка вернулась из удачного набега в Богучарский уезд, отбила у красных с десяток хлебных подвод, пулемет и винтовки с патронами. Богдан хвастался Вереникиной проведенной операцией, приврал: мол, поймали двух из чека, пытали их, а сейчас они тут, в Калитве, под замком; следил за выражением Катиного лица. Она слушала его с интересом, уточнила даже, сколько именно отбили оружия у красных, похвалила. Похвалила и за то, что не стали они в этот раз убивать продотрядовцев — люди эти ни при чем, а дурную славу повстанцы не должны о себе распространять. «Людей надо убеждать не только силой оружия, но и словом, поступками, — сказала она. — В этом залог победы любой власти».

Пархатый мотал головой, соглашался, думая, чего бы еще рассказать Катерине Кузьминишне и что может произвести на нее впечатление. Но в голову ничего путного больше не приходило, и тогда он властно мотнул вылезшим из-под шапки черным чубом хозяйке. Секлетея поняла, мышкой скользнула за дверь, а Богдан приблизился к Кате, маслено улыбаясь, выложил перед нею бусы, в подарок. Она подержала их в растопыренных пальцах, посмотрела даже на свет, а потом вернула — наверное, не понравились. А он ведь от души: открыл в доме одного комиссара шкатулку, глянул и сразу о ней, Катерине Кузьминишне, подумал...

Катя, глядя на его обиженные, оттопырившиеся губы, сказала, что бусы она не любит вообще, не носила их никогда, это украшение простолюдинок, а за внимание спасибо, она тронута. А теперь гостю пора и честь знать, ночь уже на дворе, спать хочется.

Пархатый неуклюже потоптался, сказал, а отчего бы, Катерина Кузьминишна, не лягти нам вместе? Она презрительно сузила глаза, подошла к двери и рывком открыла ее — иди, мол, Богдан, откуда пришел, не на ту напал. Он хоть и был сильно выпивши, но понял, что такую бабу с одного захода пе возьмешь, надо выждать момента. Если Вереникина окажется той, за кого себя выдает, можно и отступить, с такими лучше не связываться, а если притворяется, или там, заслана... О-о, тогда, барышня, держись, все тебе припомнится!..

Конечно, всех этих подробностей и своих думок Пархатый сейчас в штабе говорить не стал, излагал лишь факты, касающиеся появления Вереникиной на Новой Мельнице: девку эту надо проверить, помозговать, что к чему, им тут сподручнее. Богдана слушали внимательно; Колесников, правда, не проявил особого интереса к Вереникиной — привез полковой командир бабу с собой, ну и шут с ним, эка невидаль! А Безручко, Конотопцев и тот же Нутряков, начальник штаба, приняли в разговоре живое участие.

— Ты, наверное, в жинки ее хочешь взять, Богдан?— спросил, подмигивая, Нутряков. — Так бы и говорил, не морочил нам голову. Дивчина молодая, образованная...

Пархатый мялся под насмешливыми и понимающими взглядами, хотел уж было признаться, что да, приглянулась ему эта кареглазая барышня, или кто там она есть, а что тут такого? Вон у атамана молодуха какая, в дочки ему годится, и он, Богдан, не мерин... Но потом сообра-

вил, что не стоит лезть напролом, как еще повернется с этой Вереникиной?!

— Да какой там в жинки, Иван Михайлович? — сказал он как можно равнодушнее. — Ну, явилась, рассказала... Нехай побудет у меня при штабе, раз Советской властью обижена, раз мужа у нее чека порешила.

— А не гадюку ли приголубив, Богдан? — Сашка Конотопцев, заложив длинные руки в карманы новеньких, сдернутых с продотрядовца галифе, расхаживал по горнице, и лисья его, поросшая светлым волосом мордочка подозрительно и начальственно морщилась от важной этой мысли. — Ты с такими делами не шуткуй. Кусай тогда локоть. Они, образованные, чего хочешь наплетут.

— Ты — разведка, ты и проверь ее, — отбился полушуткой Пархатый, жалея в душе, что привез сюда Вереникину, — гнул бы свою линию там, дома: ну, раз зашел, не получилось, другой... Пригрозил бы, или духо́в каких принес... — А чего бы ей голову в петлю совать? — подал он окрепший новой мыслью голос. — Молодая, не жила еще.

— О-о, ты их не знаешь! — Безручко колыхнулся большим и тяжелым телом. — Идейные — это, брат, страшные люди! Ты вот что, Александр Егорыч, — он глянул на Конотопцева. — Ты пригляди все ж за ней, попытай *. А я тож гляну. У меня на коммунистов нюх як у собаки, аж в животе свербить начинает. Гляну только и сразу скажу: комиссарша это, к стенке ее, заразу!

Катя между тем сидела в передней части дома в прежней позе, нога на ногу, курила. Она напряженно прислушивалась к голосам за толстой, дубовой видно, дверью, но понять ничего не могла, слышалось только неясное: бу-бу-бу... Она, конечно, понимала, что речь там идет о ней, что несколько высокопоставленных бандитов решают ее судьбу. Что они предпримут? Выматерят Пархатого и велят ей убираться на все четыре стороны? Или бросят по подозрению в какой-нибудь погреб, станут издеваться? Да, но у них нет пока никакого повода к этому, она же ни в чем не проявила себя, нет, кажется, оснований сомневаться в ее рассказе о муже, о ее намерении пробраться в Ростов, к родственникам, и там продолжать борьбу про-

---

* Здесь — поспрашивай, поинтересуйся (*укр.*).

тив большевиков. Каким образом они могут уличить ее в неискренности?

Да, все это правильно теоретически, а вдруг им придет в голову какая-нибудь неожиданная мысль, они зададут ей вопрос, на который у нее нет ответа?! Что тогда?

Из боковухи, тихонько скрипнув дверью, вышла беленькая, с потухшим взглядом серых глаз девушка, и Катя невольно подалась вперед — Лида?! Девушка прошла мимо, уронив беззвучное почти «здравствуйте», и тотчас поднялся и вышел вслед за нею Стругов.

— Кто это? — как можно равнодушнее спросила Катя у Опрышко, и Кондрат наморщил в трудной думе узкий лоб: отвечать или нет?

— Гм... Жинка это Ивана Сергеича. Кажуть, нынче свадьба будет. Бачь, сколько людей зъихалось.

— Говоришь, жена его? А свадьба только сегодня? Как это?

Опрышко снова подумал, поскреб бороду.

— Да ото ж... начальство само решае. Наше дило телячье.

— Вот и плохо, — не удержалась Катя, а потом поспешно прикусила губу: скажет еще охранник... Но Кондрат никакого значения ее словам не придал, ничто не изменилось в его дремучем, заросшем бородой лице. — Долго держать меня здесь будешь? — спросила Катя минуту спустя, хорошо понимая, что от этого бородатого идола ничего не зависит, но понимая и то, что должна уже что-то предпринять — пассивное ожидание не в ее пользу.

Да, за плотно закрытыми дверями решают, как быть с нею, подробно расспрашивают Пархатого о ее появлении, строят разные догадки; догадки эти могут быть близки к истине — не с кретинами же она имеет дело! Среди повстанцев есть люди образованные, неглупые, Карнунин предупреждал ее об этом... Нет, не стоит больше ждать, брать инициативу надо в свои руки при любых обстоятельствах — так учил ее Василий Миронович.

Катя решительно встала, шагнула к двери, рывком распахнула ее — к ней повернулись удивленные головы штабных, а за спиной растерянно и молча сопел Опрышко.

— Господа! — сказала она обиженным и немного капризным тоном. — Не кажется ли вам, что неприлично держать даму в прихожей? Что семеро даже очень заня-

тых мужчин могут и должны оказать внимание одной даме.

Ее неожиданное появление, тон, каким были сказаны эти слова, заметно оскорбленный взгляд темно-карих глаз произвели на штабных неотразимое впечатление. Первым вскочил и подбежал к Вереникиной Нутряков; склонив прилизанную голову, забыто щелкнул каблуками стоптанных сапог — эх, когда-то он был первым у дам в офицерских собраниях!..

— Просим извинить, уважаемая... э-э...

— Екатерина Кузьминична, — уронила Катя снисходительное.

— Екатерина Кузьминишна, сами понимаете... э-э... время военное, обстановка и все такое прочее вынудили нас некоторое время посвятить небольшому совещанию... — Нутряков помахал в воздухе рукой. — Такая неожиданная гостья в наших забытых богом краях... Прошу вас сюда, проходите. И разрешите представить вам офицеров: командир Повстанческой дивизии... э-э... генерал Иван Сергеевич Колесников.

— Очень приятно, — Катя с улыбкой подала руку.

— Просто командир, без генерала, — хмуро ответил на ее рукопожатие Колесников.

— Это Митрофан Васильевич Безручко, — продолжал Нутряков, подводя Катю к тяжело поднявшемуся со стула человеку. — Начальник политотдела.

Безручко протянул руку, хмыкнул что-то неразборчивое.

— Это... — повернулся было Нутряков к Сашке Конотопцеву, собираясь представлять того в звании штабс-капитана, но Сашка опередил его, резко шагнул к Вереникиной.

— Попрошу документы. Настоящие!

Катя спокойно открыла сумочку, протянула листок с отметками Наумовича.

— Вот, пожалуйста, настоящие.

Конотопцев сунул мордочку в бумагу, словно нюхал ее, с трудом читал большой прямоугольный штамп: «РСФСР... Павловское... уездное... полит... бюро... по борьбе с контр... с контр-ре-волю-цией... спе-ку-ля-ци-ей... сабо-та-жем...»

— Саботаж — это чего? — спросил он Вереникину.

— Ну... это когда работу срывают где-нибудь на заводе или фабрике... Вообще, противодействие.

— Ага... — Конотопцев продолжал чтение: — «...са-бо-та-жем и преступлением по дол-жнос-ти и пр.». А «пр.» — это чего?

— Это значит прочее, тому подобное, Конотопцев! — не выдержал Нутряков.— Такие вещи надо знать начальнику дивизионной разведки.

Сашка поднял голову, смерил Нутрякова презрительным взглядом, собираясь, видно, ответить, но сдержался.

— Подпись под бумагой неразборчивая. «На-у...» Как дальше?

— Наумович,— дернула Катя плечом.— Он у них в Павловске чека возглавляет. И, между прочим, господа офицеры, когда я приходила к нему делать отметки, всегда предлагал сесть.

— А мы и лягти можем предложить, это у нас просто,— заржал Марко Гончаров.

— Помолчи! — одернул его Колесников, пододвинул Кате стул.— Сидайтэ, Кузьминишна.

Бумага с отметками Наумовича пошла по рукам. Безручко, покачивая сапогом, глянул на Катино удостоверение мельком, подержал лишь перед глазами.

— А возьмем да и проверим в Павловске,— сказал он с ехидной улыбкой, и жирные толстые его усы угрожающе шевельнулись.— А? У нас там свой человек есть, прямо в чека. И вдруг ты не та, за кого себя выдаешь? Тогда что?.. Жарко будет, Кузьминишна. Глянь, сколько нас, мужиков. А ты одна.

— Что вы себе позволяете?! — крикнула Катя. — А еще начальник политотдела. Постыдились бы говорить такое женщине. Ваше, разумеется, право проверить меня. Но форма, господа офицеры, форма! В любом случае вы обязаны проявлять приличие. А потом я говорила и говорю: делать мне в вашей Калитве нечего. Меня, собственно, попросил господин... Пархатый помочь повстанцам.— Она повернулась к согласно мотающему головой Богдану.— Он мне так и сказал: подмогни нам, Катерина Кузьминишна, заодно и за мужа красным отомстишь.— Катя перевела дух, замечая, что слушают ее со вниманием.— Вот за мужа я и буду мстить, любыми доступными мне способами и средствами. И прошу вас, господа, дать мне оружие, стрелять я умею. К красным большевикам у меня свои, давние счеты!

Она заплакала, выхватила из сумочки платок, отвернулась к степе.

На плечо Кати легла рука Нутрякова.

— Успокойтесь, Екатерина Кузьминична, — сказал он.— И не обижайтесь на нас. Сами понимаете...

— Да я понимаю, понимаю! — обиженно выкрикнула Катя, поворачивая к нему мокрое от слез лицо.— Но и вы тоже должны понимать и верить. Иначе ваше... иначе наше общее дело просто рухнет. Мы уже прошляпили революцию, проиграли гражданскую войну, отдали власть в руки большевиков, а сами вынуждены жить и бороться полулегально, скитаться, прятаться в родной своей России — у себя дома! Господа! Как это можно?! Как вы допустили такое?! Объясните мне!

Штабные хмурились, прятали глаза.

— Мы им за вашего мужика отомстим, Кузьминишна,— мрачно пообещал Безручко.— Вот побачите.

Катя вздохнула.

— Спасибо, господа. И прошу простить меня, что не сдержала своих чувств,— она смущенно приводила себя в порядок.— У самой надежда вспыхнула: в Тамбове Александр Степанович народ поднял, здесь — вы, на Дону тоже неспокойно, Украина во главе с батькой Махно бунтует... Не все еще потеряно, господа! Большевики не так уж сильны, как это представляют. И потом...— голос Кати зазвенел.— Крестьянское восстание требует не только толковых военных спецов,— она повела рукой на внимательно слушающих ее штабных,—но—и это главное!— четкой идейной платформы, связей, поддержки. Сколько уже на Руси захлебнулось восстаний! Вспомните историю...

— Да поддержка, Кузьминишна, у нас есть,— похвастался Безручко и протянул руку к Колесникову.— Дай-ка письмо, Иван Сергеевич.

Катя глянула на письмо Антонова, обрадованно улыбнулась.

— Ну вот, видите. Господа, поздравляю вас!.. Как к вам дошло это письмо? Когда вы его получили?

— Ну, когда...— Безручко замялся с ухмылкой, потрогал усы.— На днях вот и получили. Почта вона работае не сказать, щоб дуже исправно...— Начальник политотдела кашлянул в тугой мясистый кулак. — Ты вот что, Кузьминишна. Не величай нас господами. Яки мы там «господа»? Усю жизнь крестьянствовали, землю пахали. Ну, в армии ще служили...

«Врешь, жирный боров, тебе приятно, что я тебя «господином» называю,— думала Катя.— И Колесникову, «ге-

нералу», тоже приятно, и сам ты тут в полковниках ходишь, не меньше».

— Ну не «товарищами» же вас называть! — засмеялась она, и на веселый ее искренний смех поплыли в ответных ухмылках физиономии штабных.— Я так привыкла: господа, господа... Ну ладно, что-нибудь придумаем.

Катя продолжала говорить на эту тему, ощущая неясную тревогу в душе: все это время сидевший в глубине горницы человек в офицерском френче не произнес ни слова и будто бы не слышал ничего. Бесстрастное его, хорошо выбритое лицо казалось сонным — полуприкрытые веки, опущенная голова, эта холеная белая рука на коленке... Полное равнодушие к происходящему, ни малейшего интереса, только свои, какие-то очень важные мысли... Кто это? И почему при нем говорят с ней, можно сказать, и допрашивают? Могли бы делать это где-нибудь и в другом месте...

Человек вдруг поднялся — он оказался большого роста, широким в плечах, статным; полуприкрытым (так, наверное, от природы или болезни) у него было только одно, левое веко, правый же глаз смотрел сурово, требовательно.

— Дайте-ка ваш мандат,— протянул он руку, взял у Кати бумагу, прочитал. Сердце ее учащенно, тревожно билось.

— Документ подлинный,— сказал он ровно, даже равнодушно.— Во всяком случае и имя этого Наумовича, и его печать на бумагах я уже встречал... Да-с, приходилось. Ну что ж, Екатерина Кузьминична, рад вас приветствовать. Позвольте представиться: Борис Каллистратович! — Он склонил голову, щелкнул каблуками.— В некотором роде ваш будущий опекун. Имейте это в виду.

— Опекун так опекун,— легко сказала Катя.— Мне приятно это слышать.

— Я понял, что вы, уважаемая, имели какое-то отношение к партии социал-революционеров?

— Отчего же имела, Борис Каллистратович?! — удивилась Катя.— Просто по семейным обстоятельствам я вынуждена была поменять место жительства, смерть моего мужа... А в партии я и по сей день.

— Как вы считаете, сможем ли мы взять власть у большевиков мирным путем, реформами, лозунгами, интенсивной политической работой в массах?..— перебил он ее.

— Чушь! — резко сказала Катя.— Только вооруженная борьба, террор и репрессии на местах! Большевики власть без боя не отдадут, мне это совершенно ясно. И время для борьбы самое подходящее, особенно здесь, в центре России. И глупо было бы упустить возможность...

Борис Каллистратович переглянулся с Колесниковым.

— Золотые слова, Екатерина Кузьминична! Именно об этом мы и говорили... Впрочем, ладно. Всему свое время. Отложим деловые разговоры на потом. Кажется, сегодня предстоит небольшое веселье, а, господа?

— Та ждут командиры, ждут, — многозначительно произнес Безручко, показывая глазами на закрытую дверь...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

К тому времени съехались на Новую Мельницу командиры всех полков — Стреляев, Руденко, Пархатый, Назарук и Игнатенко.

Полковых командиров забавлял в передней части избы Митрофан Безручко. Посмеиваясь в усы, хитро посверкивая маленькими, заплывшими глазками, он рассказывал очередную байку:

— Вот, значит, пытают у зажиточного крестьянина: «Ну, як ты живешь при Советской власти, Мыкола?» А он и отвечает: «Як картоха». «Это как же понимать?» «А так и понимай,— отвечае,— если за зиму не съедят, то весной все одно посадють».

— Га-га-га...

— Охо-хо-хо... едрит твою в кочергу! В яблочко попав!

— Ну, политотдел! Ну, Митроха! — разноголосо, хлопая себя по бедрам, восторженно сплевывая, ржали разномастно одетые полковые, а Ванька Стреляев — молодой, прыщавый, с диковатым взглядом глубоко запавших глаз — тот даже присел от удовольствия, так ему понравился анекдот.

— А у меня в полку тоже хлопцы рассказывали... — сунулся в круг Григорий Назарук.— Вроде еще при старом режиме було...

— Посторонись! — начальственно прокричал выглянувший из горницы Нутряков: Опрышко со Струговым тащили в горницу вкусно пахнущие чугунки; суетился тут же и Сетряков.

— Сетряков! — строго позвал Безручко, заговорщицки подмигивая полковым.

— Я! — тут же отозвался дед и подбежал к голове политотдела, вытянулся. — Слухаю, Митрофан Васильевич.

— Ну, як ты с бабкой своей, не помирився, дед?

Сетряков почесал голову, виновато шмыгнул носом.

— Та ни-и... Не получается пока.

— А что ж она говорит? Какие до тэбэ претензии?

— Да вот служить к вам пошел, она и бесится.

— Ты, наверно, плохо кохаешь ее,— встрял в разговор Григорий Назарук.— Бабка ще молодая у тебя.

— Да яка там молода! — махнул рукой дед.— Песок вже с одного миста посыпався.

— Га-га-га... Охо-хо-хо...— снова заржали полковые.

— Потеху-то свою не потерял, Сетряков? — под продолжавшийся смех спросил Сашка Конотопцев. — Может, потому и злится твоя Матрена, а?

«Сопляк, а туда же...— с обидой думал Сетряков.— Да и остальные — шо я им, Ивашка-дурачок?»

Он отошел, издали косясь на полковых, ругаясь себе под нос.

Те погоготали еще над одним анекдотом, нетерпеливо поглядывая на ординарцев — скоро там, нет? Несло из горницы жареным, дразнило животы.

— А чего все-таки затевается, Митрофан Васильевич? — спрашивал Ванька Стреляев, поддергивая тяжелую кобуру с маузером,— он ничего не знал про планы штабных.

— Колесников наш женится, чего! — с укоризной отвечал Безручко.— Не сказали тебе, что ли?.. Вот голова два уха. Подарок бы какой командиру дивизии привез.

— Женится?! Тьфу ты черт!.. Ну ладно, я часы ему подарю,— он выхватил откуда-то из штанов длинную цепочку.— На прошлой неделе с комиссара одного сдернул...— Подержал часы на ладони, щелкнул крышечкой— жалко расставаться, по всему было видно.

— Проходите к столу, командиры! — подал наконец долгожданную команду Нутряков, и полковые потянулись один за другим в горницу, гомоня и переругиваясь, расселись вместе со штабными за длинным, уставленным закусками столом, торопливо и неохотно крестясь при этом в угол горницы, на серебряно поблескивающий там образ.

Со стаканом самогонки поднялся Митрофан Безручко.

— Ну шо, браты,— прогудел он, любовно оглядывая притихшее бородатое в основном воинство.— Сегодня не грех нам и посидеть за этим столом. Я думаю, надо нам

пропустить по стаканчику горилки за нашего командира. Слава твоя, Иван Сергеевич, и до Москвы докатится, вот побачишь! За Колесникова!

— За атамана!

— За Ивана Сергеевича, браты!

Колесников не улыбался, мотал лишь как конь головой — благодарил; ткнул своим стаканом в Лидин, велел глазами — пей! Скользнул взглядом по Верещкиной — чем занята гостья?

Катя припудила себя улыбнуться Колесникову, приподняла граненый стакан — за вас, мол, Иван Сергеевич. Самогонку пригубила, едва ее не вырвало (единственное, чему не научили ее в чека, так это пить самогонку), с брезгливостью ела подрагивающий, кое-где с толстым свиным волосом студень. Оглядывала физиономии за столом, запоминала, повторяла про себя по нескольку раз: этот, с прилизанной маленькой головкой — Нутряков, начальник штаба, из бывших царских офицеров, в военном деле специалист; рядом с ним — громоздкий, неповоротливый на вид, но быстрый умом Безручко, голова политотдела, он тонко и хитро обрабатывает Колесникова лестью и ложью; Колесников, кажется, окончательно поверил, что он выдающийся «генерал», полководец хоть куда; с начальником разведки Конотопцевым надо быть особенно осторожной и внимательной, этот будет следить за каждым ее шагом; ей, ясное дело, не поверили до конца, но рискнули оставить на гулянке в штабе, чувствуют свои силу и безнаказанность; что ж, она увидела сразу всю верхушку дивизии, знает теперь ее структуру, полковых командиров. Эти пятеро, кроме Руденко,— все из дезертиров; Стреляев, как она поняла, держит свой полк не в самой Дерезовке, боится чоновцев и отряда самообороны — тревожит его Лебедев из Богучара... Остальные не прячутся, стоят в своих слободах открыто: разбили красных, чего опасаться? Да, на сегодняшний день дивизия Колесникова сильна, есть у него орудия... (уточнить — сколько?), пулеметная команда, заправляет ею вон тот, Гончаров,— взгляд у него волчий какой-то, так бы всех и сожрал, растерзал... При каждом эскадроне — по два ручных пулемета... Конница... Конница, конечно, опасна для красных частей, нечего противопоставить. Пархатый хвастал, что только у него четыреста сабель. А в других полках?.. Слушай, Катя, внимательно слушай. У Колесникова, как она поняла из спора за столом, есть при штабе резерв... попытаться расспросить, спросить «случайно», мимоходом — что это

за резерв, сколько в нем конницы, штыков, пулеметов?.. Сильны бандюги, сильны сейчас. Верят, что удастся соединиться с Антоновым, захватить власть в самом сердце России — опасные, очень опасные планы!.. Как Колесников, интересно, осуществляет связь с Антоновым? Через кого? Конечно, есть связные, видимо, не один и не два, хотя бы ухватиться за ниточку этих связей... Хорошо налажена и сеть осведомителей, это она знала еще в Павловске: в каждом хуторе, селе есть у Конотопцева свои надежные люди — в банде знают о передвижении красных частей, о их составе, командирах, вооружении. Так они узнали об отрядах Гусева, Сомнедзе и Шестакова... Хорошо знают имена Мордовцева и Алексеевского, знают о том, что красные части готовятся к новому наступлению, какие приданы подразделения... Кто-то информирует Колесникова. Но кто? Сведения губернские, их могут знать немногие... Сашка Конотопцев склонился к уху Нутрякова, что-то нашептывает ему... Эх, орали бы потише эти полковые, или сидела бы она чуть ближе. Но Богдан Пархатый так и держит ее возле себя, гордится «городской мамзелью»... дурак. Ну, пусть, пусть, это прикрытие. С ним надо вести себя по-прежнему строго, но и не отталкивать окончательно. Пусть «надеется»... Безручко стал громко говорить, что никакой теперь Мордовцев не справится с ними, в дивизии уже более десяти тысяч человек, орудия, пулеметы, конница... Вот-вот они соединятся с Александром Степановичем, и тогда... Пьяные голоса заглушили начальника политотдела, но он, кажется, и не собирался больше ничего говорить. А если это он все для нее? Специально. Нет, не откажешь Безручко этому в дальновидности и хитрости, в знании человеческих слабостей. Он хорошо знает, чем купить и самого командира и других приближенных к штабу людей — хитер и умен начальник политотдела!..

Подняли тост за бой у Новой Калитвы, вознесли до небес Григория Назарука и Богдана Пархатого — храбро бились, отогнали полк Качко... Пархатый с Григорием расплывались в счастливых улыбках. Да, полк Качко они вытурили из Новой Калитвы лихо! За это грех не выпить.

— Поздравляю, Богдан! — сказала Катя в общем гуле голосов, и Пархатый, в расстегнутом на груди френче, расцвел окончательно, полез с поцелуем, и ее передернуло. «Но-но, полковник!» — засмеялась она и строго погрозила пальцем.

«Боже, с какой ненавистью она смотрит на меня! —

Катя даже поежилась под ледяным, презрительным взглядом Лиды.— А мне обязательно надо поговорить сегодня с нею... Но как? Как?! Это риск, причем огромный». Лида может не поверить ни одному ее слову, решит, что ее подослали, что это провокация—бывшая офицерша выполняет задание, ее попросили об этом Сашка Конотопцев или Нутряков. И все же с Лидой надо поговорить обязательно, сказать, что она здесь не одна, что... Нет, открываться нельзя ни в коем случае, ей запретили это делать Любушкин и Карпунин, они ничего не знают о Соболевой. Не знает пока и она, но, бог ты мой, у Лиды все написано на лице — разве может она быть с ними?!

— А что скажет нам Кузьминишна? — спросил вдруг Безручко, благодушно развалившийся на стуле, и Катя от неожиданного этого вопроса растерялась. Поднялась со стаканом в руке, думала лихорадочно: «Что говорить? Призывать к объединению? Об этом уже говорилось... Хвалить за кровавые победы над нашими? Язык не повернется. Выступать от имени эсеровской партии, говорить об их программе? Тоже, пожалуй, не ново. Бандиты в своих полках сразу же провозгласили эсеровский лозунг: «За Советы, но без большевиков». Снова вспомнить о «муже»? Надо ли?» И вдруг ее словно в грудь толкнули— Павел! Почему, зачем именно о нем подумала она в эту неподходящую минуту?!

Пауза затягивалась.

— Ну, Кузьминишна,— напомнил Безручко.— Слухаем тебя.

— Давайте, господа офицеры, выпьем за... любовь! — неожиданно для себя сказала Катя.— За любовь, которая дает нам силы и веру, за любовь, помогающую в борьбе с врагами, которые мешают нам строить свободную и красивую жизнь. За любовь, которую ничто и никто не сможет сломить в русском человеке, ибо это любовь к России, к Отчизне!

— Ура-а!—завопили, захлопали полковые, а вслед за ними и штабные командиры, и только Безручко с Колесниковым сидели хмурые, не торопились присоединиться к их восторгам.

— За любовь к свободной и счастливой России, господа! — настойчиво повторила Катя, требовательно поглядывая на развалившихся, большей частью пьяных уже бандитов, и те, наконец, поняли, чего она хотела от них, повскакивали, тянули к ее стакану свои посудины.

— За любовь!

— За нее, солодкую!

— За ба-а-аб! — гаркнул Марко Гончаров, и голос его услышали, подхватили дружно: «За длинноволосых, хай им грэць!»

Безручко стучал ложкой по краю железной миски с холодцом, призывал к порядку и вниманию.

— Браты! — крикнул он, вставая, громоздясь над столом.— Очень уместно сказала тут Екатерина Кузьминишна о любви. Да, ридна наша батькивщина держится...— цэ она дуже гарно сказала! — на любви к ближнему и ко всей российской земле. Но любовь проявляется у каждого по-разному. Кто бьется с ворогом на поле, а кто обеспечивает победу своею головою, то есть думае за нас. И такие люди среди нас тоже есть. Я кажу про тебя, Иван Сергеевич. — Безручко склонил всклокоченную громадную голову к Колесникову.— Ты, Иван Сергеевич, заслуживаешь сегодня высокой награды. Мы побалакалы меж собою в штабе и решили, шо ты, як генерал и полководец, заслужив той дивчины, шо рядом с тобою. Нехай она будет для тебя, Иван Сергеевич, законною жинкой. Горько!

— Горько-о-о! — подхватили тут же полковые, забили в ладоши, в крýжки, в стаканы.

Хмурое лицо Колесникова дернулось недовольной гримасой — что еще за шутки? Но глотки, теперь уже и штабных, орали все настойчивей, все требовательней, и он понял, что должен принять участие в задуманной, оказывается, игре, что его отношения с Лидой давно уже ни для кого не секрет, и вот теперь они как бы узаконивались, объявлялись и признавались открыто.

Под непрекращающийся рев Колесников встал, потянул за руку Лиду; она поднялась, трясясь всем телом, плача.

— Лучше убейте, убейте меня! — отчаянно закричала она и стала вырываться из рук Колесникова, грубо привлекшего ее к себе, сжавшего лицо безжалостными сильными пальцами.

Катя поняла: вот он, момент, которого она ждала! Вот когда она может оказаться рядом с Лидой!

Расталкивая штабных, Катя бросилась к «невесте», прижала ее к себе. Лида вскрикивала что-то нечленораздельное, билась в ее руках, и Катя гладила ее по голове, успокаивала.

— Я побуду с ней, Иван Сергеевич,— сказала она тоном, который не терпел возражений.— Ей надо отдохнуть, прийти в себя. Какая сейчас из нее «невеста»?!

— Ладно, ладно,— хмуро ронял Колесников, отступая перед напором Вереникиной и видом Лиды.— Там, в боковухе, пусть полежит. Воды, что ли, ей треба дать... Эй, Опрышко! — зычно крикнул он.— Наладь-ка воды похолоднее. А ты, Филимон, к доктору паняй, к Зайцеву. Нехай капли даст. Или сам прибежит.

— Не надо, ничего не надо, ей просто отдохнуть...— торопливо говорила Катя и вела Лиду сквозь примолкших, расступающихся штабных.— Полежит, успокоится...

В боковухе, плотно прикрыв дверь, Катя твердым шепотом говорила Лиде:

— Лида, милая, возьми себя в руки и слушай, что я тебе буду говорить. Ты меня слышишь? — Лида слабо и настороженно кивнула.— При первой же возможности я помогу тебе, поняла?.. Не удивляйся и не смотри на меня так. Твоя мама жива, в Меловатке бандиты больше не появляются. Пока потерпи и... помоги мне.

Лида оторвала от подушки мокрое вздрагивающее лицо, глаза ее смотрели на Вереникину недоверчиво, с опаской.

— Правильно, правильно,— говорила Катя.— На твоем месте я бы тоже так смотрела... Но у меня нет времени, Лида! Сюда могут войти каждую минуту, увести тебя!..

— Что ты от меня хочешь? — спросила Лида.

— Расскажи все, что ты знаешь о бандах, все, что увидела и услышала здесь. Какая точная численность дивизии, какое вооружение, связи. Особенно связи, это очень важно!

— Я не понимаю.

— Ну... кто и откуда приезжает к Колесникову в штаб, дает сведения о красных? Кто снабжает Колесникова боеприпасами? Быстрее, милая, быстрее!

— Ты кто? — прямо спросила Лида и села с ногами на кровати, отодвинулась к стене. Смотрела теперь со страхом на Вереникину, судорожно смахивала с лица волосы, правила их за маленькие аккуратные уши.— Ты что, хочешь, чтобы меня убили, да? Тебя Сашка Конотопцев подослал, да?

Катя в отчаянной растерянности обернулась к двери. Бог ты мой, что же делать?! Она сама ведь страшно рискует: если Лида хотя бы намекнет Колесникову... И Лю-

бушкин запретил ей открываться под любым предлогом. У нее задание, она должна действовать строго по инструкции, иначе... Но разве можно не попытаться помочь Лиде. Может, не спешить, подождать другого, более удобного случая? Но будет ли еще возможность увидеться им с Соболевой? Что-то, конечно, Катя и сама уже знает, пройдет время — узнает больше, но где это время? Дорог каждый день и даже час, губчека нужны сведения, за ними придут, их с нетерпением и надеждой ждут в Воронеже... Всего этого Лиде, конечно, говорить нельзя, единственное, что она должна понять и почувствовать, что рядом с ней друг, надежный человек, которому можно довериться... Но как все это объяснить ей?!

— Колесников... он надругался над тобой, да? — спросила Катя.

Лида, отвернувшись к стене, тихо и горько заплакала, не ответила ничего; потом вытерла щеки ладонями, сказала решительно:

— Ладно, может, ты и врешь все, и меня могут убить... Но за Макара Васильевича, за Ваню Жиглова... За всех наших, меловатских...

— Лида, милая, не могу я тебе всего сказать!.. Сама голову под топор кладу. Но поверь мне, прошу тебя!..

Катя, сжав руки, глядя прямо в глаза Лиде, говорила эти слова быстрым, но внятным шепотом, отчетливо понимая, какую беду может накликать сама на себя, а главное — не выполнит задания, не добудет тех сведений, ради которых ее пусть и недолго, но терпеливо учили, не даст возможности нашим частям вести против Колесникова успешные боевые действия. Может быть, не стоило ей так вот поддаваться эмоциям, хотя бы и частично, открываться Лиде, ставить под угрозу свое пока не очень надежное положение: ведь не поверили еще ей до конца, не приняли...

Дверь в этот момент открылась: вошел Зайцев, врач,— в городском сером пальто, в круглых, запотевших с мороза очках. Протирая очки, он подслеповато и равнодушно щурился на женщин; потом, погрев ладони друг о друга, подышав на них, подошел к кровати Лиды.

— Ну-с, барышня, на что жалуетесь? — спросил трескучим каким-то, без сочувствия голосом и не стал дожидаться ответа, велел Лиде снять платье, слушал ее деревянной трубочкой стетоскопа, посмеивался. Катя сразу же поняла, что Зайцев пьян, хотела вмешаться, сказать, какое, мол, может быть медицинское вмешательство, гос-

подин доктор, если вы сами... Но промолчала — поскорее бы он ушел.

Зайцев из принесенного с собою чемоданчика выпул склянку, накапал в стакан лекарства.

— Выпей... И полежи с полчаса, если... хе-хе... если дадут. Обычный нервный срыв, пройдет. Некоторые молодые особы отчего-то боятся... хе-хе... приятных занятий. Напрасно. Напрасно, барышня! Это природа, доложу я вам! Хе-хе...

И ушел, посмеиваясь.

— Говори, Лида! Быстрее! — потребовала Катя.

Лида, лежа, стала лихорадочно вспоминать все, что знала и видела: штабные обрывочные разговоры, бумаги, которые переписывала, визиты из штаба Антонова Моргуна, фамилию «Выдрин», которую случайно подслушала; припоминала данные о численности бандитских полков, их вооружение...

— Письмо от Антонова привез Моргун, я это видела,— говорила Лида.— А он знает Выдрина. Выдрин, как я поняла, среди наших, красных... Моргун — это Борис Каллистратович!

— Молодец, Лидуша, умница!

Дверь снова открылась, на пороге стоял Безручко.

— Ну, шо тут у вас, Кузьминишна? — спросил он.— Невеста готова? Надо идти, а то гости скоро попадають.

Лида глянула на Катю.

— Иди, — сказала та. — Иди, Лидуша.

Бледная как полотно, Лида сделала несколько неверных шагов к двери, и наблюдающий за ней Безручко крутнул ус, захохотал:

— Ну шо за бабы пошли, а? Ее замуж берут, а она от страха еле ноги переставляе...

В горнице между тем взвизгивала гармошка, а Ванька Стреляев, дерезовский, бил в деревянный пол тяжелыми сапогами:

Эх, господа мать!
На кобыле воевать.
А кобыла хвост забыла,
Перестала воевать!

— Горько-о-о-о!.. Горько-о!..— орали, раздирая глотки, штабные. Увидели Лиду: она шла на подкашивающихся ногах сквозь этот звериный рев, табачный плотный дым и липнущие взгляды сытых, взвинченных самогонкой

жеребцов. Колесников, развалясь на стуле, усмехался, молча ждал ее.

«Выхватить бы сейчас у кого-нибудь из них наган, да в морды эти, в морды!» — думала Катя, сцепив зубы, всеми силами стараясь унять в себе дрожь негодования, и тотчас поймала на себе внимательный, вовсе и не пьяный взгляд начальника штаба Нутрякова: он, покуривая папиросу, смотрел на Катино покрасневшее лицо и, наверное, что-то прочитал на нем...

Пархатый, уже еле ворочая языком, приставал к Кате:

— Катерина... ик!.. Кузьминишна... Я чого скажу... Ты думаешь, я пьяный?! Та ни в одном глазу! Цэ шось башка сама падае... Вона холодца хоче...

— Ну и дай,— посоветовала Катя.

— Мэ-а...— мотнул головой Пархатый.— А чого ты, Кузьминишна, за мэнэ замуж не хочешь? Га?.. Умыться сначала пойтить?.. Можно и умыться. Но ты сначала скажи — пийдешь за мэнэ? Чем я тебе не по ндраву? Га? — Пархатый полез с объятиями.— Ты думаешь, если образованна, то... А я полковник!

— Но-но, полковник! — Катя не сдержала смех, оттолкнула Пархатого, и Богдан, тупо покачавшись за столом, бессильно сполз на пол.

— А вы хорошо держитесь, Екатерина Кузьминична,— услышала Катя голос за спиной и обернулась: с граненой рюмкой в руках, слегка покачиваясь, стоял перед нею Нутряков.

— Вы о чем?

— Разрешите присесть? — Он показал глазами на свободный стул.

— Пожалуйста.

Нутряков сел, опрокинул рюмку в рот, зажевал звонко хрустевшей на его белоснежных зубах капустой.

— Я о роли, которую вы прекрасно разыграли у нас на глазах.

— Никакой роли я не играла, Иван Михайлович.— Катя притворно зевнула.— А устала я... Устала. К чему мне роль?

— Не скажите! — Нутряков погрозил ей пальцем.— Вы из чека, Вереникина... или как вас там. И это мне совершенно ясно. Но вы переиграли, уважаемая.

— Как мне все это надоело! — вздохнула Катя.— И вы все — чекисты, штабисты... Морочите бедной женщине голову.

— Я с вами потому откровенен, что вы — в наших руках. Но играете вы мастерски. Даже Борис Каллистратович ничего не заподозрил, поверил вам. А уж он-то...

— А кстати, где он?

— Не докладывает. Как появляется, так и исчезает... Я и сам не заметил.

— Ну-ну.— Катя поднялась.— Мне пора, Иван Михайлович. Отдохнуть надо. Или чем-то прикажете сейчас заняться?

Встал и Нутряков. Опрокинул еще рюмку, промокал губы платочком.

— Неплохо держитесь, неплохо. Молодец!.. А насчет занятий... Надо командира спросить... Иван Сергеевич! — негромко позвал Нутряков, но Колесников услышал, прервал разговор с Конотопцевым.— Чем нашей гостье заниматься? Или она может продолжить свой путь?

— При штабе у Пархатого будет,— махнул рукой Колесников.— Нехай с Лидкой бумаги пишут. Но Богдан чтоб глаз с нее не спускал...

Свадьба продолжалась.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Приказ разгромить село Талы, его волисполком привез Сашка Конотопцев. В Журавку он прискакал к ночи, с десятком верховых, сообщил, что утром отряд Ворона должен быть на месте, в Талах, часа три-четыре на сборы есть.

Конотопцев отчего-то злился, на вопросы Шматко отвечал раздраженно, сквозь зубы. Толком ничего не объяснил, сказал, как сплюнул. Из короткого его объяснения Шматко понял, что громить Талы ему придется одному, это вроде проверки, а люди Конотопцева будут лишь «доглядать». Шматко было заспорил — мол, чужими руками жар загребать собираешься?.. Конотопцев презрительно хмыкнул: не хочешь — не надо, так и в штабе доложу, нечего тень на плетень наводить. По-другому с тобой говорить будем, Ворон. Шматко не смолчал, припомнил Конотопцеву, что договаривались бить коммунистов совместно, а получается...

— Получается как надо, Ворон,— прервал Конотопцев.— Як тебе велели, так ты и сполняй. И хвостом не крути.

Было ясно, что штаб Колесникова решил проверить

Ворона в настоящем, кровавом деле. Ход был придуман коварный, и Шматко, махнув рукой,— ладно, дескать, и сами справимся — отдал команду Дегтяреву готовиться в набег. Больше он ничего в тот час не сумел, не смог сказать своему заместителю — рядом все время был Конотопцев.

«Как теперь успеть предупредить волисполкомовцев в Талах? — размышлял Шматко. — Времени в обрез — только па то, чтобы собраться и пройти эти тридцать километров. Рассчитапо правильно, точно... Думай, Иван, думай!»

Сборы были недолгими. Покормили лошадей, проверили оружие, боеприпасы... Выступили в ночь, с тем чтобы ранним утром быть в Талах, засветло же и вернуться. Ночевать в тех местах, да еще небольшим отрядом, было опасно: рядом Богучар, там — чека и чоновцы, крупный отряд милиции. Нет, лучше погромить, пощекотать Советской власти селезенку и назад, рассуждал Конотопцев, с чем Шматко охотно соглашался. Он догадался, что разведчик трусит, ввязываться в возможный бой ему вовсе не хотелось — мало ли что!

Так оно и было. Сашке велел отправиться к Ворону Безручко, наказал начальнику разведки, чтобы самолично проверил нового батька в деле, там ему некуда будет деваться, все сразу станет понятно. Погромит Талы, порежет волисполкомовцев — честь ему и хвала, черт с ним, пусть сидит в своей Журавке, а откажется или... В общем, шлепни его при случае, пе церемонься, война спишет.

Однако шлепнуть и его, Конотопцева, мог сам Шматко: черт его поймет, что у этого Ворона на уме — странно себя ведет, анархист какой-то. О погромах его слыхали в штабе у Колесникова, регулярно доносил и Яков Скиба, да и другие верные люди: то Ворон разоружит милицию или продотряд где-нибудь под Лисками, то на ревком нападет... Правда, занимался он погромами вроде как с оглядкой: оружие и продовольствие у красных отымал, а вот людей не трогал, не убивал. Ну, синяков там навешают в драке, бока намнут, не без этого, а чтоб кровь лить... Тогда Безручко и велел Конотопцеву: в Талах, Сашка, чтоб все было по закону, проследи лично.

«Проследи!.. Сам бы и следил, жирный боров!» — злился Конотопцев на начальника политотдела. Не на смотрины едут, под пули. Там, в Талах, й отряд самообороны есть, и милиция. Вообще, он сам в Талах не был,

все это сообщения его разведчиков. Скиба плел, что там и чоновцев полно, пулеметы у них. Нарвешься еще. И чего Безручко, да и тот же Колесников носятся с этим Вороном?! Подумаешь!.. Приказали бы вступить в дивизию, да и все дела. А не подчиняется — расстрел. Людей Ворона по разным полкам расформировать, чтоб в куче не были...

Сашка поежился, оглянулся. В сумраке безветренной холодной ночи качались позади них с Вороном тени, фыркали лошади, негромко переговаривались бойцы. Кое-кто курил, вспыхивали огоньки цигарок, кто-то надсадно кашлял.

«И дохлых с собой взяли, — досадовал Конотопцев.— Чего ради?»

Он было дернулся отдать Ворону приказ: кашляющего этого бойца вернуть, и так шуму много, но потом вспомнил наказ Безручко: ни одного бойца в Журавке не оставлять, пусть в деле покажут себя все. Но с больного этого парня какой прок?..

«Самому бы вернуться с полдороги, — тоскливо думал Конотопцев. — Сказать бы Ворону, что учения назначены, проверка. Поднялись по тревоге, вышли в поле... ну и достаточно. Все у Ворона хорошо, дисциплине подчинился, отряд свой поднял быстро, никаких особых заминок не было».

Ну а в штабе что говорить? В Талах есть свой Скиба, он донесет Безручко, что никого, мол, не было, волисполкомовцы живы и здоровы, Советская власть процветает.

«И все ж таки в Талах я показываться не буду, — решил Конотопцев. — Постою где-нибудь на бугре, погляжу. Хлопцы доложат».

Он позвал одного из «хлопцев», рябого малоразговорчивого Скрыпника, сказал ему вполголоса, что в целях «конспирации» ему, Конотопцеву, не велено совать нос в самое пекло, а ты, Афанасий, чтоб был все время рядом с Вороном, доглядал. Поняв?

— Та поняв, Егорыч, поняв! — усмехнулся Скрыпник и отъехал на свое место, куда-то в темноту, в которой с трудом угадывался весь отряд, около полусотни всадников.

Ворон ехал со своими замами, Дегтяревым и Тележным, все трое чуть впереди отряда, в ладных полушубках, в папахах, одеты тепло, хорошо. Негромко о чем-то говорили, похохатывали. Конотопцев, ехавший за ними, прислушался. Дегтярев вспоминал какую-то Дуську с

Солонцов, у которой он «кутил два дня назад и забыл портсигар...»

Боец в задних рядах все кашлял, кашель его действовал на нервы, и Конотопцев не выдержал.

— Ворон!

— Я!

Шматко придержал копя, подвернул его к начальнику разведки.

— Ну шо ты больных с собою возишь, Ворон?! Кашляе и кашляе! За версту слыхать. Верни-ка его до дому. А то он перед Талами всех собак всполошит.

— Такая ж думка была, Александр Егорович, — охотно согласился Шматко, с облегчением переведя дух — счастливый случай шел ему в руки. Если бы Конотопцев не поступил так, как поступил, Дибцову пришлось бы «портить» коня, была уже приготовлена железяка. Выяснилось бы, что конь «случайно» наступил на нее, надо возвращаться в Журавку. А именно это и требовалось: Дибцов прямым ходом взял бы на железную дорогу, к ближайшей станции, к телефону...

— Кто там кашляе, позови-ка его сюда! — зычно скомандовал Конотопцев, и скоро из темноты высунулась перед ним белая лошадиная морда; сидевший на лошади боец с трудом сдерживал кашель.

— Ты чего это лаешь на всю степь?! — напустился на него Конотопцев. — Захворал, чи шо?

— Простыл... кх!.. Извиняюсь, — виновато говорил боец. — В карауле, мабуть, промерз.

— Ты вот что, — Конотопцев рукоятью плетки поправил шапку. — Паняй-ка назад. А то все дело нам спортишь. Да не в Журавку, а на Михайловку скачи, найдешь там... — он склонился к уху бойца, сказал что-то, и тот понятливо закивал, повернул лошадь и через мгновение скрылся в темноте.

— Ты куда его послал? — как бы между прочим спросил Шматко у Конотопцева, не на шутку встревожившись, — до Михайловки было около сорока километров, полночи скакать, не меньше.

— Куда надо, туда и послал, — ухмыльнувшись, ответил Конотопцев. Он, конечно, не собирался говорить Ворону, что направил гонца к знакомой своей бабенке, Таисии Крутовой; растревожившись вдруг, ерзая вторые уже сутки на жестком седле, он подумал, что хорошо бы после набега завернуть к Таське, помять ее пухлые податливые бока, покохаться с нею. Вот он и сказал тому

дохлому, с шустрыми глазами бойцу: скажи Крутовой (она в Михайловке живет с самого краю, у колодца), чтоб протопила баньку и к вечеру ждала.

В Талы Ворон ворвался ранним золотым утром. Только что поднялось солнце, чистый белый снег на улицах села радостно искрился в косых его желтых лучах, спокойно дымили над соломенными крышами хат беленые трубы.

Шматко скакал во главе отряда, как и другие бойцы, беспорядочно палил в воздух из нагана, зорко поглядывал по сторонам. Судя по тому, что их не встретили огнем, в Талах еще ничего не знали о набеге Ворона, придется теперь выкручиваться, искать выход. Положение осложнялось, как быть дальше, Шматко не знал, очень опасался, что боец Криушин запоздает, не сообщит вовремя в Богучар... Что делать? Как провести операцию, в которую бы поверил Конотопцев и его «доглядатели». Сашка отвел на операцию не более трех часов, за это время следовало уничтожить волисполком, провести мобилизацию, угнать лошадей. Задачка была не из простых, и, если таловцы не откроют огонь и не подойдет им «номощь» из Богучара, придется... Но что придется? Уничтожить Конотопцева и его людей? Тогда рухнет легенда, батько Ворон перестанет существовать, надо будет возвращаться, переходить на легальное положение...

Нет, не годится так. Криушин боец дисциплинированный, он хорошо знает, что надо делать, и он, наверное, давно уже доскакал до Журавки, позвонил...

Странно повел себя перед самыми Талами Конотопцев. Заохал вдруг, схватившись за живот, сполз с коня, натурально побледнел. Всем было видно, что начальник разведки не притворяется, что у него действительно заболел живот и, естественно, какой тут может быть разговор о дальнейшей скачке и участии в бою?!

Случилось это в леске, примерно за версту от села. Сидя у ног коня, Сашка велел Скрыпнику и еще одному повстанцу следовать с батькой Вороном, «подмогнуть ему там, в Талах, в случай чего...» Конотопцев не договорил, снова схватился за живот.

Скрыпник знакомо уже усмехнулся — в бой посылали их двоих, остальные вместе с Конотопцевым будут отсиживаться тут, в леске. Но он сказал лишь негромкое: «Слухаю, Егорыч», — и пошел к коню.

Волисполком (он в центре села) был пуст, и это Шматко обрадовало. Кажется, председатель был предупрежден, хотя мог сейчас и отлучиться вместе со своими помощниками... Успел или не успел Криушин?

Бойцы Ворона малость погромили волисполкомовский дом: опрокинули стол, побили стулья и окна, сорвали с петель двери. Потом кинулись по дворам, стали сгонять испуганных таловцев на сход.

— Где ваша Советская власть? — кричал, размахивая наганом, Прокофий Дегтярев. — И куды вы подевали лошадей? Батько Ворон такого не прощает, имейте это в виду. Мы вам даем свободу от коммунистов, а вы должны нам помочь лошадями...

Шматко почувствовал, что кто-то осторожно, но настойчиво дергает его за полу полушубка. Он нагнулся с крыльца, стал слушать высокого тощего человека в поношенной офицерской шинели, который торопливо зашептал ему в самое ухо:

— Я знаю, где прячется председатель волисполкома и его секретарь, господин Ворон. Там же и секретарь партячейки... Кто-то их предупредил...

— Вы кто? — строго спросил Шматко.

— Моя фамилия Панов, в своё время служил в должности есаула во втором Финляндском полку Его Величества... — Панов принял стойку, большие выразительные его глаза смотрели на Ворона с верой и преданностью.— Пошлите со мной людей, господин Ворон, и мы этих собак-коммунистов доставим через пять минут.

Шматко резко выпрямился, выхватил наган.

— Ах ты, красная шкура! — закричал он. — Я покажу тебе, как заниматься провокацией, угрожать! Коммунистам сочувствуешь?!

У бывшего есаула отвалилась челюсть, он в животном страхе попятился назад, прочь от крыльца, собираясь что-то сказать или что-то объяснить, но Шматко выстрелил...

В страхе попятилась, бросилась врассыпную и толпа, и бойцы батьки Ворона онемели — все произошло так неожиданно, быстро.

На крыльцо вскочил Афанасий Скрыпник, рябое его угрюмое лицо напряглось.

— Кто это? Чего ты прикончил его? — спросил он Ворона.

— Шкура красная, вот кто! — возбужденно отвечал Ворон. — Стращать меня задумал, гад! Убирайтесь, мол, подобру-поздорову, не то перебьем всех!..

— Ну и правильно, чего с ним цацкаться! — согласился Скрыпник. — А коней давай шукать, да побыстрее, а то... Что-то мне тут не нравится, в этих Талах.

Они сошли с крыльца, вскочили на лошадей, намереваясь направиться по дворам, и тут же вдоль улицы ударил пулемет. Его поддержал дружный винтовочный залп, потом винтовки забили вразнобой, и пули густо летели над головами «бандитов».

— Откуда бьют? Кто? — дурным голосом орал Ворон, бесстрашно гарцуя на коне посередине улицы, радуясь тому, что так хорошо, складно все получилось, что Криушин успел, и надо бы еще повести бойцов «в атаку», но Скрыпник и тот, другой, из повстанцев, улепетывали уже во весь дух, и отряд Ворона поневоле потянулся вслед за ними.

— Назад, Скрыпник! Куда?! — кричал вслед Шматко, и тот расслышал, обернулся на скаку:

— Конница, Ворон! Конница!

Оглянулся и Шматко — с далекого заснеженного бугра, со стороны Богучара, катились к Талам черные точки всадников. Их было много, гораздо больше, чем бойцов в отряде Ворона, и потому самое разумное было поворачивать к леску, где ждал Конотопцев, который прекрасно видел все происходящее.

Первым скакал Афанасий Скрыпник. Сильный его, мускулистый дончак нес пригнувшегося к холке всадника легко, как бы играючи, лишь упруго вилась из-под взблескивающих на солнце копыт радужная пыль. За ним, пугливо озираясь, катился на приземистом черном коньке и второй конотопцевский боец. Он уронил обрез, снова на какую-то секунду обернулся, натянул было поводья, а потом махнул рукой и свирепо заработал плеткой...

— Ишь, вояки! — сквозь гул сумасшедшей скачки прокричал Дегтярев Шматко. — Аэропланом не догнать.

«Хорошо! Хорошо!» — радостно погонял коня и Шматко, полной грудью вдыхая тугой морозный воздух, время от времени через плечо окидывая взглядом мчащийся за ним отряд...

Сзади, в Талах, все еще гремели выстрелы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В штабном доме Колесникова деду Сетрякову постоянного места не нашлось, он только в первую ночь спал вместе с Кондратом Опрышко и Филькой Струговым, а на следующий день приехал Нутряков и велел Сетрякову перейти в пристрой, где у хозяев размещалась, видно, летняя кухня. Дед на распоряжение начальника штаба нисколько не обиделся, наоборот, его больше устраивал этот тесный, но, как оказалось, теплый закуток, в котором он целыми днями топил гудящую грубку *, варил себе то супец, то картошку «в мундире» или просто сидел перед огнем, глубокомысленно глядя на жаркий его отсвет в поддувале, думал о странностях жизни. Исправно топил он печь и в штабном доме, старался, чтобы в нем было тепло. Но Филька Стругов все покрикивал, что жарко больно, старый черт, накочегарил, не баня тут, мозги у их благородий от жары плавятся, а это вредит умственному соображению по военной части, а также протрезвлению после выпивок. Сетряков кидался тогда открывать двери и вьюшки в печи, дом быстро настывал, и Филька умолкал. Он приказал в нужной температуре ориентироваться на его лысину: если жарко, то она вся берется росой, а если холодная — то, значит, в самый раз. Все было бы ничего, на башку Стругова можно было и равняться, но лысый этот мерин весь день ходил в шапке, не снимал ее и на ночь, и попробуй тут угадай, в росе она у него или в инее. Однажды, когда Филька заснул, дед полез к нему под шапку, скользя по лысине, как по бабьему колену; Стругов хоть и был, собака, пьяным, тут же подхватился, сунул Сетрякову в зубы подлым своим кулаком, разбил губу.

— Ты чого шаришь тут, ворюга? — заорал он дурным голосом, а вскочивший следом Опрышко, деловито и молча сопя, клацал уже затвором обреза.

Прибежал в одном белье Колесников, Лида завозилась в боковухе, бабка Авдотья забубнила на печи. Фильку стали урезонивать, мол, пить надо меньше, а Опрышко обматерил. Сетряков объяснил Колесникову ситуацию, сказал, что у него и в мыслях не было чего-нибудь украсть с Филькиной головы, шапка такая и у него есть... Колесников поморщился, подергал щекой и ушел досыпать. Стругов же в сенцах облаял деда на чем свет

---

* Небольшая печка.

стоит, за лысиной велел наблюдать «при случа́е», и лучше спросить, а не лапать ее, да еще почью, так и заикой недолго стать. «Прибью, ежли еще раз разбудишь», — сказал он и снова поднес к носу деда кулак.

Сетряков, пе привыкший к такому обращению, — пусть Филька и выше его по старшинству — обиделся на ездового-телохранителя атамана, решив, что при «случа́е» он расквитается со Струговым за разбитую губу.

Сетряков считался при штабе «бойцом для мелких поручений» — таковых, кроме топки печей, мытья посуды и подметанпя полов, больше не находилось. И дед часто скучал у себя в пристрое, от нечего делать вспоминая жену свою, бабку Матрену, о которой думал с жалостью и недоумением. Матрена, как только он вступил в банду, поделила их избу ситцевой занавеской на две половины и запретила ему за эту занавеску заходить. Отделила она и чугунки-кастрюли, картошку в подполе, остатки зерна в ларе, а кусок желтого сала, который он берег еще с той зимы, просто спрятала.

Явно спятившая Матрена таким образом обрекала его на голодную смерть, и ни в какие пояснительные разговоры с ним не вступала — с бандюком, дескать, ей говорить пе об чем. Хорошо, что он был при штабе: койчего из харчей ему перепадало. В строй его, как маломощного, не поставили, скакать на конях он уже и позабыл как, а пешим ходить в атаки... да какой из него стрелок?! Глаза только и видят, что перед носом, а чуток отойди, так и не поймешь, где свой, а где красный. Как стрелять-то?.. Вот спасибо Ивану Сергеевичу, уважил — определил на хорошую должность при штабе, тут хоть и забижают, зато тепло и сытно. А Матрена... вот лярва! Что удумала-то! Спозорила на всю Калитву, насмехаются теперь в штабе, мол, выгнала тебя Матрена за мужеские дела, а ему как протестовать?.. Нехай скалят жеребцы зубы, нехай. Дело его стариковское, такое можно и стерпеть, тут уж недолго осталось небо коптить. Жаль только, круто взяла Матрена, душа у него никак на место не встанет, воротит, мутит, как после самогонки...

Обо всем этом Сетряков жалостлпво как-то рассказал заглянувшей к нему в пристрой Лиде, но скрыл главное — зачем пошел в банду. А опа возьми и спроси его именно об этом.

Дед в смущении отвел в сторону глаза, стал сердито шуровать в грубке кочергой, хотя в том не было никакой нужды. Кашлянул в измазанный сажей кулак:

— Да як тебе сказать, Лидуха... Усп пошлы, и я тож... Мабуть надо так.

— Кому надо-то? — наступала «жинка» командира.

— Кому... Нам, стало быть, и надо. Воп Безручко шо говорит: свободную новую жизнь построим без коммунистов и без этой... разверстки, во! Уси беды от них.

— Эх, дед! — вздохнула Лида. Она сидела рядом с Сетряковым на малепькой скамеечке (он уступил ей это место, а сам сел на перевернутый табурет) со скинутым на плечи платком, в расстегнутом пальто, печально смотрела на бушующий в печке огонь. — Сколько ты годов на свете прожил, а ничего так и не понял. Одурачили тебя, обрез в руки дали, и пошел ты убивать родную Советскую власть. Против народа пошел.

Сетряков от неожиданности открыл рот, хотел было вскочить и бежать прямиком к командиру — ты послухай, Иван Сергеевич, чего твоя жинка несет... Но решил, что доложить он всегда успеет, до штабного дома два раза ступнуть, а девка говорит занятно, и самое удивительное — не боится его! Он сделал вид, что слушает Лиду внимательно, думает над ее словами, потом вдруг повернул к ней седую лохматую голову, спросил:

— Слухай, а ты не боишься, шо я возьму и скажу Ивану Сергеевичу, а? Не злякаешься? Ох, он тебе и всыпет по одному месту за такие речи!

Лида сидела спокойная, по-прежнему смотрела в огонь. Потом так же спокойно перевела взгляд на его ждущее ответа лицо, улыбнулась:

— Не скажешь, дедушка. Ты и сам у них в плену, и я хочу, чтобы ты понял это.

Сетряков хлопал глазами, не сразу нашелся, что ответить, изумленно понимая, что перед ним не какая-нибудь там соплюшка, а взрослая и не трусливого десятка женщина.

— Как это?.. — промямлил он. — Я сам вступил. Захочу, дак и уйду...

Лицо Лиды стало суровым.

— Ты, дедушка, погляди на себя со стороны. Шут ты при штабе, а не боец. Над тобой и штабные потешаются, и из полков. А Безручко про тебя анекдоты рассказывает.

— Замолкни! — Дед вгорячах схватился за кочергу. — А то как звездану промеж глаз-то!..

— Да, это вы умеете, — горькая складка легла на Лидиных губах. — Нагляделась я, на себе испытала... —

Приблизила гневные глаза к лицу Сетрякова. — А тронешь хоть пальцем, на себя пеняй. Отомстят за меня, так и знай. И Колесникову вашему достанется, и Безручке... всем!

Сетряков омертвело хлопал глазами; кочерга из его рук выпала, он отодвинулся от Лиды, взялся было за семечки — нажарил после обеда, но с сердцем сыпанул их в поддувало, вытер ладонью рот.

— Ты что хотишь-то, девка? — спросил приглушенно, оглядываясь на дверь — не дай бог, кто услышит их разговор! Это ж надо — жинка атамана и такие речи. Правда, привезенная, невольная, но... как не боится?! А может, подослал ее этот чертяка, Сашка Конотопцев, в разведку свою играет? Мол, прощупаем деда: чем он там, в пристрое своем, дышит?.. Ну, нехай, нехай. Собака брешет, а ветер носит. Его, старого воробья, на мякине не проведешь.

— Помоги мне бежать отсюда, дедуль! — сказала Лида, и Сетряков окончательно утвердился в мысли: «Сашка, стервец, подослал».

— Дак что помогать-то? — осторожно спросил он, отодвигаясь, ища занятия рукам, стал ворошить семечки на грубке.— Беги на все четыре стороны...

Он хотел было продолжить свою мысль — ночью, мол, проще всего и сбежать, главное, караулы обойти, а уж по степи... Но представил, что́ значит для девки эти конные караулы, степь, где снегу сейчас по колено... Да, далеко не уйдешь.

Из приоткрытой дверцы грубки вынал красный горячий уголек, Сетряков подхватил его совком, кинул назад — не дай бог, вот так без него вывалится, пожар будет, не иначе... Снова смотрел на огонь, ждал, что будет говорить Лида, а она молчала; глянув в ее лицо, дед увидел, что жинка командира плачет — слезы частым горохом сыплются из молодых ее мокрых глаз, и она отворачивает голову, молчком вытирает их цветастым полушалком, подаренным, видно, Колесниковым.

«Конешно, девка при военных делах — баловство, — думал Сетряков. — Да иншо силком взятая. Маята с ней. Тут кровь льется, головы летят, а эти жеребцы свадьбу затеяли... Да кому скажешь? С кем поделишься? Цыкнут, а то и ножиком по горлу. У Фильки не заржавеет. Да и Кондрат нянчиться не будет. Молчком, подлюка, придавит ночью — и не охнешь. Помер, скажут, старый...»

— Куда бежать, дедушка, что ты! — сказала наконец Лида и шмыгнула носом. — За каждым моим шагом следят. Колесников измывается, сильничает... Звери какие-то.

— Да уж такая, видно, твоя доля, Лидуха. — Сетряков опустил глаза.

Он долго думал потом, говорить или нет начальству, решил, что успеется. Вспоминал в подробностях свой разговор с Лидой, жалел ее, спорил сам с собою, злился, что не может дать мыслям стройность, а душе покой и уверенность. Как бы там ни было, а резон в словах Лиды был: штабные действительно зло подшучивали над ним, тот же Митрофан Безручко сулил им всем золотые горы, а гор этих пока что-то не видать. Как был у него драный кожушок да дырявые валенки, так пока и остались. Разве только обрез прибавился... Ох, головушка дурная, связался на старости лет с таким делом.

Лида пришла потом еще, но не говорила больше о побеге, а толковала с ним на разные темы: про большевиков и комсомол, про будущую жизнь и Ленина. Про Ленина Сетрякову слушать было очень интересно — никто так в Калитве не говорил о нем. Штабные — так те несли на вождя рабочих и крестьян, иначе как врагом трудового крестьянина и не называли. А Лидка все наоборот поворачивает. Ленин, мол, всегда пекся о хлебопашце и солдате, для них и Советскую власть устанавливал. А то, что в Калитве эту власть кулаки и дезертиры временно скинули, еще ничего не значит — Россия большая, правда народная все равно верх возьмет, возврату назад не будет. Их, бандитов, — горстка, пусть и в несколько тысяч, а народу российского — миллионы, и не для того он царя сбрасывал, чтоб мироедам-кулакам власть вернуть. Кулаки хитрые, дедуль: они хотят сейчас с большевиками покончить, а потом ты все равно на них ишачить будешь.

Посещения Лидой сетряковского пристроя не остались незамеченными — Филька Стругов зубоскалил по этому поводу: мол, у Ивана Сергеевича соперник появился, гляди, дед, последнего зуба лишишься, если командир узнает. Сетряков огрызался, как умел, Лиде верил и не верил. Как-то, разозлившись больше на себя, сказал ей с сердцем: чего, девка, воду мутишь? Жила б себе спокойно. И меня не тревожила. Кто власть в Расее заберет, ишшо не ясно: если наши, калитвянские, то сидеть тебе в Воронеже губернаторшей, так что держи луч-

ше язык за зубами. У Ивана Сергеевича с законной-то супругой скандал вышел, видать, он не возвернется к ней, а раз тебя приголубил, то... Лида на это рассмеялась: не знаешь ты, дедушка, силы Советской власти, задурманили тебе голову всякой ерундой. Никаким губернатором Колесников никогда не будет, пусть и не надеется даже, все это сказки для таких, дедуль, как ты...

Лида говорила смело и уверенно, и это больше всего сбивало Сетрякова с толку: знала она что-то большее, чем он сам, и во что-то это большее верила. А он, старый, шатался и спорить с нею не умел. Говорила она, к примеру, про какой-то коммунизм, что собирается строить Советская власть, про крестьянские дома с электричеством и под железными крышами; и вроде бы все будут жить хорошо, одинаково... Ну и Лидка, даром что молодая, а язык — ну, чистое помело, так гарно сочиняе!.. Ничего коммунисты не построят, Лидуха. Иван Сергеевич вон соединится скоро с Антоновым да с батькой Махно и с донскими казаками, пойдут они гужом на Москву, скинут там большевиков с Лениным, и все в Старой Калитве будет как испокон веку: крестьяне станут поля пахать, хлеб сеять, детей ро́стить, а новые правители... Это уж не его забота, чем они там будут заниматься, главное, чтоб землю и волю дали да не мордовали. Зажиточным вернут, наверно, землю и лошадей, а у кого их не было... В этом месте дед становился в тупик, спрашивал Лиду, что будет с такими стариками, как он сам, и Лида отвечала уверенно: не жди ты, дедуль, новой власти; бандитов, сколько бы их ни было, большевики все равно разобьют, Колесников ваш не то что в Москву, а и до губернии не дойдет; что же касается земли, лошадей и стариков... Дальше она несла сущую ахинею: вроде бы все это будет общее, коллективное, так ей говорил какой-то Макар Васильевич, потому все и будут равны друг перед дружкой, никто никого забижать не станет. Старики же, которые совсем ослабнут, будут доживать свой век в специальных домах, собирать цветочки на клумбах или читать книжки...

Сетряков похихикал над Лидкиными речами — вот до чего девку испортить можно! Хорошо, что Макара этого Васильевича нету и брехни его тоже не стало. Вся Расея бунтует, ты, девка, не завирай. А кони и земля не могут быть общими — всегда они были у хозяевов, как иначе? Даже у них с Матреной надел землицы есть, нехай на нем мелу много, землица тощая, сухая, однако родит,

кормит помаленьку. Другое дело — тягло... Но коня, а, может, и двух обещал ему за службу у Колесникова сам Митроха Безручко. Ты, говорит, Сетряков, как старый солдат, воевавший еще в турецкую, подмогни теперь Ивану Сергеевичу, а он твои крестьянские интересы отбьет у большевиков. Обещал Безручко и хороший плуг, и борону, корову — все военные трофеи будут распределяться по дворам и по заслугам. Обещания Митрофан давал принародно, говорил красиво и складно, на речи эти клюнули калитвянцы, а потом и криничанцы, и дерезовцы... В тот, первый день, когда побили в Старой Калитве продотрядовцев, Безручко на сходе тоже много говорил, многие поверили именно ему, а не Гришке Назаруку с Марком Гончаровым — те грозили обрезами да матюгами, заставляли идти в войско силой. Митрофан же подкупал тем, что землю, коров и лошадей обещал, продразверстку отменял на веки вечные, а будущую власть представлял истинно народной, из одних только крестьян, понимающих нужды друг друга — новая эта власть была мягкой, справедливой и до хлебопашца расположенной. Как было не пойти в повстанцы?!

Матрена, ясное дело, ничего этого не понимает, бабы как куры, дальше своего носа не видят и пугаются до смерти всяких перемен. Она и за царя, когда его скинули, плакала, и за Керенского этого — и чего он ей хорошего сделал? Нацепил бабью юбку да и бросил Расею-матушку большевикам. А за Советскую власть Матрена прям на дыбки встала, занавеску, лярва, повесила!.. Вешай, вешай! Вернется он домой на хорошем тарантасе о двух конях, коровенку, глядишь, штаб ему выделит, деньжатами подсобит. А чего? Такой уговор был, дело военное, для жизни опасное. Нынче вот грубку топишь, а завтра красные налетят, клинками раз-раз — покатилась с плеч дедова голова. И потом: Филька сам говорил, что теплая изба помогает Колесникову умственному занятию, правильным военным планам. Они и правда померзли бы без него, як цуцики. А Матрена нехай бесится, нехай. Он ей потом и занавеску припомнит, и ларь пустой, и сало. Скрутит вожжи, да по заду ее, толстомясую, по заду! Чтоб знала, как над военным геройским стариком измываться. Ишь, мозга куриная!

Распалившись таким образом, дед видел уже себя на вожделенном тарантасе о двух конях с привязанной позади буренкой. Матрена же, стыдливо пряча от соседей глаза, встречает его у вросшей в землю хаты, и покаянные

слезы текут по старым ее щекам в три ручья. Она на виду у соседей сама скручивала вожжи и подавала ему, гнула спину — казни, батюшка!.. Он, пожалуй, не станет хлестать ее принародно — бабка все ж таки, не молодуха загулявшая. Потом как-нибудь, пусть только скажет слово поперек.

Малость поостыв, дед сильно засомневался в такой щедрой награде — за топку пусть и штабной печи ему могут не дать не только двух коней и тарантаса, а даже дохлой коровенки — не такие его заслуги. Вот если б доверили какое важное, опасное дело, а он бы хорошо его сполнил...

Не знал Сетряков, что мысли его и надежды пересеклись с ответственными планами, которые рождались в штабе Колесникова, что Сашка Конотопцев, голова разведки, уготовил для него пускай и не такую уж опасную, но вполне важную роль в этих планах.

В штаб Сетрякова позвал Филька Стругов. Вошел к нему в пристрой, потянул носом воздух, сморщился.

— В катухе и то дух легше, — сказал он и сплюнул. — То ли козлом у тебя тут воняе, то ли псиной... Идем-ка, начальство зовет.

Сетряков заволновался, стал было приводить себя в порядок: кожушок подпоясал, шапку о колено выбил, а Филька засмеялся:

— Что ты как петух перед курицей затанцював? И так гарный. Идем.

В штабе сидели только Нутряков с Конотопцевым, и дед малость расстроился — думал, что зовет его сам Колесников, а не его помощники. Эти сейчас, поди, примутся хулить его, доброго слова от них не дождешься. Но оба штабных были настроены к нему вроде бы миролюбиво и серьезно.

Нутряков предложил деду сесть поближе к столу, разговор повел спокойно, заинтересованно.

— Ну, как существуешь, Сетряков?

— Да помаленьку, Иван Михайлович, с божьей помощью. Ноги ще таскають.

— Хорошо, хорошо. — Нутряков — чисто выбритый, с подкрученными усами, пахнущий одеколоном — брезгливо повел носом: исходил от деда какой-то замшелый дух: то ли этот старый хрыч в баню никогда не ходит, то ли одежда на нем провоняла от времени и конюшен... Нут-

ряков, поскрипывая начищенными сапогами, поднялся, пересел за дальний конец стола. Спросил: — А ты, дед, знаешь, за что воюешь?

— А як же! — Сетряков с заметной даже обидой приподнял кустистые седые брови. — За пародну власть, но без коммунистов и без этой... як ее!.. развёрки, во!

Нутряков с Конотопцевым одобрительно рассмеялись.

— Молодец! — похвалил начальник штаба. — Политически ты, дед, вполне грамотный, хвалю. Ну, а с бабкой у тебя что? Говорят, что она отделилась от тебя?

— А нехай говорят, Иван Михайлович, — махнул дед рукой. — У баб, сам знаешь, волосья довгие, а ума — с воробьиный нос.

— Если она против нас, ты сообчи. — Сашка скорчил начальственную физиономию. — Не поглядим, що стара, выпорем на площади, як шкодливую козу. Евсею вон скажу, тот и родную мать не пожалеет.

— Та ни-и! — испуганно дернулся Сетряков.— Шо ты падумав, Александр Егорыч, старуху на площади стегать?! Ничого она дурного не зробыла, так просто, дурью мается.

— Ну ладно, ладно, — кончил их спор Нутряков. — Оставим старуху. Есть дела поважнее.

Он придвинул к себе лежащую на столе карту, ткнул остро заточенным карандашом в какую-то желтую плешину.

— Вот что, Сетряков, — сказал строго, — в разведку пойдешь, понял? А точнее, поедешь. Сани тебе дадим, лошадь... Как смотришь на наше предложение?

Дед судорожно проглотил набежавшую в рот слюну — вот оно, настоящее дело! Не зря позвали, не зря!

— Шо прикажете, то и сполню. — Он поднялся на ноги, стараясь принять нужную, по его мнению, стойку. — Дело военное.

— Да дело-то военное, — поморщился Нутряков. — Но ты не суетись, сядь.

Вставил свое мнение и Сашка Конотопцев.

— Разведка — дуже серьезное дело, дед. Тут дуриком ничого не возьмешь. А хитростью, осторожностью... башкой, словом, поняв? — Лисья его мордочка напряженно вытянулась.

— Да шо ж тут не понять, Александр Егорыч? — Дед в волнении мял шапку: не пошлют еще, черти полосатые, раздумают. Дедов-то в банде, конешно, раз-два — и обчелся, но в самой Калитве да на хуторах — выбирай

любого. — Сполню как положено! — Голос его сорвался в волнении.

— А в чека если попадешь, Сетряков? — Начальник штаба, разглядывая ухоженные ногти, качал хромовым сапогом. — Ты при штабе у нас, знаешь, поди, много?

— А ничого я не знаю, Иван Михайлович! Живу в Калитве, до родни еду, сало на хлиб менять... або тряпки яки... А спросють про бандитов, так нэма их у нас, не знаю...

— Да не бандитов,— покривился Конотопцев.— А повстанцы мы, поняв? И сказать про нас надо так: восстали мужики, а шо да как — не розумию, а? Твое дело — сторона.

— Так, так, — кивал дед головой.

— Иди сюда, Сетряков, — позвал, поднимаясь со стула, Нутряков, и дед боязливо подошел к карте, разложенной на столе — грамоту не знает, какая там еще карта? Но начальник штаба тыкал уже карандашиком в какие-то кружки. — Нас интересует, есть ли сейчас у красных гарнизоны вот здесь, в Гороховке, Ольховатке, какие силы стягиваются к Евстратовке? Конная наша разведка работает, кое-что еще мы предпринимаем, но и ты езжай. Тебе надо сделать вот такой круг дня за три, не больше. Спрашивать и смотреть надо осторожно, как бы между прочим, понял? Чтоб и не подумал никто, что ты чем-то интересуешься. Смотри, запоминай. Спрашивай только у местных жителей, от военных держись подальше. А то начнешь, чего доброго, у них спрашивать.

Сашка при этих словах Нутрякова захохотал, ударил себя по тощим ляжкам.

— Ты, дед, смотри, а то в самом деле...

Сетряков оскорбился в душе: сопляк, а туда же, учить...

— А насчет прикрытия... — в раздумье продолжал Нутряков, — ты, дед, пожалуй, прав: сало едешь менять, сбрую конскую... Это мы обдумаем. А ты пока собирайся.

Лошаденку ему дали, можно сказать, никудышнюю: низкорослую, с отвислым животом, клешнятыми, разъезжающимися ногами. В молодости она, может быть, и умела резво бегать, сейчас же тяжело трусила по зимней лесной дороге, недовольно фыркая, кося фиолетовым глазом на торопящего ее возницу. А он все погонял свое тягло, чмокал губами, покрикивал, испытывая во всех

своих действиях неописуемое блаженство от небыстрой, но вполне сносной езды. Он был сейчас и еще несколько дней будет хозяином и этой лошади, и крепких еще саней. Эх, оставили бы ему и то и другое — ведь на рисковое дело он согласился, вернется ли?.. Вдруг — упаси боже! — попадется он в руки чека или милиции, что тогда? Там, на Новой Мельнице, все это было просто: мели, мол, Емеля, всему поверят — старый, что с него возьмешь? А попадись он к толковому мужику — все из него вытянет, запутает и распутает клубок, хоть как выворачивайся. Не зря ли взялся за такое дело? Молодому и то не каждому по плечу, а тут... Голова вон седая вся, зубов уж нету... Эх!

Но трусливую эту мыслишку Сетряков отогнал — чего теперь! Но-о, милая... Но-о, лахудра клешнятая...

Он ехал лесом, по-над Доном. Лес стоял снежный, безмолвный. Дед с опаской оглядывался по сторонам, замечая и волчьи, и заячьи следы, упавшую отчего-то березку, сгнившую на корню ель. Думал о том, что хорошо, правда, получить в награду за разведку хотя бы эту кобылу с санями. Кобыла, понятное дело, не первой молодости, но он бы поухаживал за ней, подкормил, подлечил. Это ж били ее, подлюки, чем попадя по спине, аж кожу снесли. Конечно, лошадь обозная, не строевая, грабанули ее у кого-то при случае, чужая она им, лупи что есть мочи...

Сетряков затпрукал, спрыгнул с саней, стал подтягивать ослабший чересседельник, проверил, как затянут хомут — можно ехать дальше. Почувствовал вдруг, что кто-то стоит за его спиной, обернулся. Румяный, голубоглазый, разгоряченный, видно, ходьбой парень в потертой солдатской шинели, с котомкой за широкими плечами спокойно стоял перед ним, смотрел на него и его лошадь с интересом, улыбался приветливо.

— Здорово, дед!

— Здоров, здоров... — Сетряков отступил на шаг — напугал, черт! И откуда взялся, ведь никого на дороге не было!

— Куда путь держишь? — спросил парень.

— А ты?

— Я-то... Я далеко. — Парень махнул рукой в неопределенном направлении. — До дому. После ранения в Крыму в госпитале с ногой валялся, теперь к мамане двигаю. Заскучал. Да и хозяйство надо глянуть.

— Не нашенский ты, — сказал Сетряков. — Не из хохлов.

— Не из хохлов, — охотно согласился парень и предложил:—Давай, дед, посидим, покурим, а? А то я со своей ногой устал больно...

— Покурить можно, — неуверенно согласился Сетряков, думая, какой бы найти предлог, чтоб побыстрее отвязаться от лесного этого человека, а парень уже уселся на сани, сбросил с плеч котомку.

Они закурили. Парень развернул кисет, полный хорошего табаку, и Сетряков зацепил без огляду, чмокал теперь с удовольствием.

— В Гороховку, что ли? — снова спросил парень, и Сетряков близко теперь видел его васильковые, а не голубые, как это ему показалось раньше, глаза.

— Ага, в нее самую. — Сетряков отворачивал голову. — Одежонку кой-какую поменять на хлиб, сала баба шмат дала. Зерна нема, мил человек, баба с голодухи пухнуть уж стала.

— Из Калитвы сам?

— Оттуда.

— Я слыхал, народ у вас зажиточный, с чего бы это бабе твоей пухнуть?

— Дак... Кгм!.. Кх! Ох, и крепкий у тебя самосад, парень!.. Кто и зажиточный, а кто — голь перекатная, вроде меня.

— А лошадь-то... твоя?

— Лошадь... да лошадь моя. Но ты же бачишь, яка кляча. Бежит-бежит, станет... Покурим, дальше едем. М-да...

Парень молча кивал головой, соглашался. Курил не торопясь, отдыхал на санях.

— А что, дед, я слыхал, бунтуют у вас в Калитве?

— Дак... малость есть. Повстанцы, стал быть. Народ, вишь, обиделся на продотрядовцев энтих, хлеб силком выгребали, скотиняку уводили... Забунтуешь тут.

— Угу, ясно... Сам-то какой линии держишься? Тоже в банде? — Парень аккуратно стряхнул пепел в ладонь, держал ее на весу.

— Сам-то? — переспросил Сетряков, и пальцы его, державшие цигарку, дрогнули. — А я, милок, темный, не понимаю... Какая там еще банда?! Глаза вжэ не бачуть, ноги нэ дэржуть... Бабка и та с печи прогнала, каже, храпишь, да... стыдно дальше и казать. А линия... Яка тут может быть линия, милок? Я так думаю: шо красные, шо

белые — один черт. Линия у крестьянина одна — выжить. Хай ему черт до той политики! И батька мой без нее прожив, и деды тож...

Парень вздохнул, бросил в снег окурок цигарки.

— Жаль. Советская власть за вас, середняков да бедняков, горой стоит, на вашу поддержку в первую очередь и рассчитывает. И кровь мы за вас в гражданскую лили... Жаль.

Сетряков неожиданно для себя вскипел.

— Шо ты жалкуешь на словах?! На деле-то оно подругому выходит... Ну, раз ты такой грамотный, милок, то скажи: какую все-таки власть крестьянину-хлеборобу надо? Щоб справедлива була и защитница? А?

— Советскую, — ровно сказал парень и хорошо, светло улыбнулся. — Больше никакой нам, дед, власти не надо. Я и сам из крестьян, и отец мой, и дед тоже землю пахали. А я вот воевал за нее. Гражданская кончилась, думал: все, конец. А тут — новая заварушка. Глядишь, опять позовут, и не дадут дома как следует отлежаться.

— Да эт так, — согласился Сетряков. — У власти не спрячешься. Вон у нас, в Калитве... — но вовремя спохватился: вот старый дурак, чуть было лишнего не сболтнул. Наказывали же ему Конотопцев с Нутряковым: слухай больше, дед, а язык прикуси. Он поспешно переменил тему, спросил ласково: — Як зовут тебя, хлопец?

— Меня?.. С утра Павлом звали. — Парень думал о чем-то; он встал с саней, отряхнул с шинели табачные крошки. Убрал кисет и сложенную газетку в котомку, закинул ее за плечи.

— Ну что, дед? Пока. Как у вас, хохлов, говорится: до побачення, да?

— До побачення. — Сетряков пожал протянутую ему руку, ощутив в пальцах парня недюжинную силу.

— Так ты в Калитву, Павло, чи шо? — спросил он как бы между прочим.

— Нет, зачем?! — Парень отрицательно потряс головой, и пшеничный его, вьющийся чуб выполз из-под шапки. — Мне, дед, на железную дорогу надо, а там домой.

Они раскланялись и разошлись каждый в свою сторону.

«Брешешь ты, Павло, или як там тебя, — думал Сетряков. — Калитву ты нашу никак не минуешь, а до железной дороги тут два дня тилипать...»

— Но-о! Поехали! — покрикивал он на вялое свое тягло, подталкивал сани — прилипли к дороге, не стронешь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Борис Каллистратович «Моргун», он же Юлиан Мефодьевич Языков, он же Георгий Михайлович Лебедянский... возвращался из Старой Калитвы в отличнейшем расположении духа. В сопровождении бывшего штабс-капитана Щеголева — невысокого, в цивильной одежде брюнета, который встретил его в Россоши, — он спокойно добрался железной дорогой до Воронежа, а через два дня ехал уже в Каменку, к Александру Степановичу Антонову.

Готовясь к встрече с начальником Главного оперативного штаба повстанческих армий, Языков решил в этот раз требовать от Антонова более решительных действий. Конечно, вряд ли Антонов даст хотя бы полк в помощь Колесникову, поверит в реальность захвата Воронежа в ближайшее время, но внушать ему эту мысль нужно настойчиво. Так или иначе, но Колесников командует дивизией, успешно разгромил воинские формирования под командованием Мордовцева и нужно срочно воспользоваться моментом растерянности большевиков, закрепить успех. Победы Колесникова привлекут к нему новые силы, а главное — в него поверят, как поверили в самого Антонова. На сегодняшний день армии Александра Степановича насчитывают до пятидесяти тысяч человек, сила грозная, в том же Тамбове среди большевиков паника. То и дело в Москву мчатся гонцы, представители Советской власти, шлют Ленину слезные телеграммы: выручайте, мол, вот-вот падет Тамбов. Судя по всему, события в Воронежской губернии развиваются примерно так же, силы Колесников тоже собрал немалые, растет недовольство крестьян продовольственной разверсткой, экономической политикой большевиков, и это хорошо. На этом недовольстве и Антонов, и Колесников смогут продержаться еще немало времени, а это — на пользу партии социалистов-революционеров, которая выдвинула очень своевременные, нужные лозунги: за Советы, но без коммунистов.

Да-да, лозунги эти отражают настроения масс, с этим нельзя не считаться. Сейчас в России и речи быть не может о возврате к буржуазному правительству, толпа упивается революцией и на попятную не пойдет. Путь же сейчас один — Учредительное собрание, где представительство большевиков-коммунистов будет сведено на нет, а с ним и реальная их власть. Ленин просто перестанет существовать...

Глубоко и удовлетворенно вздохнув, Языков с сентиментальной нежностью смотрел сейчас на заснеженный, угрюмо шумящий по обеим сторонам дороги лес. Сойдя с поезда на станции Ржакса, они с Щеголевым пересели на поджидавшую их бричку, тряслись теперь по мерзлой, но довольно гладкой дороге в сторону Каменки, в штаб Антонова. Возница их, широкоплечий усатый детина, укутавшись тулупом, мурлыкал что-то себе под нос, казалось, совершенно не интересуясь тем, кого и куда везет. Языков спросил его еще там, на станции: чего это ты, братец, укутался так, не очень же холодно,—на что детина лишь хмыкнул и отвернулся. Ямщицкое свое дело он знал хорошо, две сытые и сильные лошади бежали справно, и дорога охотно стелилась под их крепкие кованые копыта.

Плотнее усевшись в бричке, Языков попросил у Щеголева прикурить. Тот выхватил из кармана пальто зажигалку, в ладонях поднес трепещущий огонек к папиросе Языкова, закурил и сам. Обменявшись с бывшим штабс-капитаном Деникинской армии малозначительными фразами, Юлиан Мефодьевич снова углубился в свои важные мысли. Он перебрал в деталях разговоры в штабе Колесникова, нашел, что вел их правильно и умно. Во-первых, никто из калитвян не знает его подлинного имени, для воронежских повстанцев он — Борис Каллистратович, бывший офицер Деникина, ныне связник Антонова. Во-вторых, ему удалось внушить Ивану Сергеевичу — несомненно, это способный командир! — веру в то предприятие, за которое он волею судьбы взялся. Пусть и под нажимом своих земляков, пусть и без особой радости — что делать?! Он, Языков, тоже занимался бы сейчас другим делом, если бы не революция, не гражданская война, не победы большевиков — как все это мерзко сознавать! Народ, быдло, пришел к власти, выкинул его семью из прекрасного имения в Пензенской губернии, лишил состояния, надежд!..

— Вы еще поплатитесь за это. Кровью!—не сдержавшись, в голос сказал Юлиан Мефодьевич, смуглое его холеное лицо помрачнело, а левое веко знакомо стало дергаться.

— Вы что-то сказали?.. Простите... — с готовностью и некоторым недоумением в глазах повернулся к нему Щеголев, но Языков поспешно поднял руку.

— Нет-нет, Юрий Маркович, так я... мысли.

Дорога пошла под уклон, лошади прибавили ходу, возница стал сдерживать их, натянул вожжи.

«Вообще я попал к Колесникову в нужный момент,— думал Языков. — Знаю теперь доподлинно обстановку в дивизии, настроение людей, планы. Хорошо подал своего «Осьминога».

Насчет батальона, готового выступить в Воронеже по первому приказу, он, конечно, малость преувеличил—верных людей наберется, может, с роту, не больше. Чекисты основательно почистили их центр в восемнадцатом году, многие были арестованы, расстреляны, иные уехали. Но те, что остались, — люди проверенные и надежные, возьмутся за оружие с большой охотой. Была бы поддержка, было бы твердое решение Антонова о совместном выступлении. Его надо убедить в этом. Разумеется, оружием Александр Степанович Колесникову поможет, в этом сомнения нет, ведь все делается в интересах «Союза трудового крестьянства», партии социалистов-революционеров, светоча их надежды и вдохновителя...

«Вдохновителя! — повторил Языков с горечью. — Эсеры мечутся как напуганные уличные девки, то делятся на правых и левых, то выступают с большевиками, то идут против них. На всю Россию осуждают терроризм и следом убивают германского посла Мирбаха. Где логика, где оправданность действий Чернова и Спиридоновой? * И сколько можно прятаться, заискивать перед большевиками?!»

Да, «Союз трудового крестьянства» понятен миллионам. И эсерам Тамбова честь и хвала, что сумели создать у себя мощную организацию по борьбе с коммунистами, что поставили под ружье десятки тысяч людей. Но, бог ты мой, как медленно развиваются события: прошло четыре месяца **, казалось бы, за это время можно охватить восстанием половину России, но участвуют в нем лишь Тамбовщина, Тюмень да несколько уездов Воронежской губернии. К тому же воронежские повстанцы плохо вооружены, нерешительны в действиях, малоинициативны. Да и к масштабам восстания тот же Колесников, кажется, равнодушен...

«Ты не прав, Юлиан, не прав! — горячо убеждал себя Языков. — Россия, конечно, велика, но все начинается с малого. Большевики не так сильны, как хотят, тужатся это продемонстрировать всему миру. Страна обескровлена,

---

* В. М. Чернов, М. А. Спиридонова — руководители эсеровской партии.

** Антоновский мятеж начался 19 августа 1920 года.

разрушена, кругом голод, нищета. Крестьянин в своем большинстве зол на Советы, он охотно пойдет за Антоновым, за Колесниковым, за кем угодно — только дай ему умную, толковую программу и оружие. Но прежде всего должна быть идея, вера...»

«Сам-то ты веришь? — спросил себя Языков, с трудом представив, как рота преданных ему людей может захватить губернский город, жизненно важные его учреждения — почту, телеграф, электростанцию, вокзал... — Стоит Советам всерьез взяться за повстанцев, и от их армий полетит только пух!.. Ничего не останется от дивизий и армий, от Антонова и Колесникова!.. Но на кого же, в таком случае, опираться, надеяться? На кого, черт возьми! Нельзя же сидеть сложа руки, когда все рушится, летит в пропасть. Разбиты целые армии Колчака, Деникина, Врангеля, нет Мамонтова и Шкуро, Семенова и Каппеля... Но есть теперь Антонов и Колесников, Фомин и Махно. Не все еще потеряно, борьба продолжается, может быть, это последняя надежда, и стоит еще рискнуть головой. А не получится — так пусть красные и бывшие красные убивают и режут друг друга, пусть навечно будет вражда в их рядах! Социальное равенство и социальная справедливость всегда были и будут утопией, сказкой для одураченных масс, народ это со временем все равно поймет, ощутит на собственной шкуре, снова вернется к борьбе за власть, за справедливость. Долго большевизм не протянет, хотя и не собирается отдавать завоеванное, отступать. И очень хорошо сказала девица эта, Вереникина: только вооруженная борьба с большевиками поможет взять власть, это единственный путь!»

О Вереникиной Языков подумал спокойно, даже равнодушно — девица как личность мало его заинтересовала. Отчего это штабные у Колесникова проявили такой повышенный интерес к ней? Таких, как Вереникина,—сотни тысяч по России: бывших офицерских жен, барынек, интеллигентов. Все они сейчас растерялись, притихли, ждут. Охотно пойдут за любой новой властью, которая пообещает им новую жизнь и новые блага, выкрикивая здравицы в ее честь. Толпа есть толпа, ей всегда нужен хороший пастух с крепким кнутом...

Но все же энергию Вереникиной и ее ненависть к большевикам надо использовать. Колесников правильно решил, оставив ее в Калитве. Пусть пишет воззвания и прокламации, просвещает в нужном направлении темных этих земляных жуков, взявшихся за винтовки...

За очередным поворотом дороги открылась березовая роща, и Языков велел вознице остановиться: задохнулся вдруг от нахлынувших, остро резанувших сердце воспоминаний. Точно такая же роща была и возле его имения, где он так любил бродить с женой, Дарьей Максимовной. Отняли, все отняли, сволочи!..

Снегу у берез было много, гораздо больше, чем он предполагал, но Юлиана Мефодьевича это не остановило. Он углубился в рощу, стоял, подняв голову, с тоской смотрел в серое зимнее небо, на голые вершины берез, гладил их толстые белые стволы. В ушах его звучал смех Дарьи Максимовны — дохнуло летом, теплом, зеленью. Жена в длинном белом платье, веселая и счастливая, любящая и любимая. Где все это? Дарья Максимовна вынуждена жить теперь в простом крестьянском доме, учить сопливых деревенских пацанят грамоте... Мог ли кто-нибудь из них даже подумать о нынешнем кошмарном времени, когда и он сам, и боевые его товарищи вынуждены теперь скрываться, жить нелегально, ждать и надеяться на лучшие времена. Неужели это все явь? Бог ты мо-ой!

Охватив голову руками, Юлиан Мефодьевич покачнулся, застонал. Стоял так долго, чувствуя, что встреча эта с березовой рощей не прошла для него даром, что он почерпнул здесь, среди деревьев, какие-то новые, прочные силы.

С каменным лицом пошел назад, к бричке, твердо глядя на своих попутчиков. Они, эти люди, помогут ему стать снова самим собой, человеком и имущим гражданином, тем, кем он был всего три года назад.

Щеголев с готовностью подвинулся в бричке, внешне весь подтянулся — это хороший помощник, умеет держать язык за зубами, дисциплинирован и предан. С такими людьми легко и просто. У них с Щеголевым нет разногласий — Юрий Маркович сам из богатого рода, тоже ограблен Советами, а значит—смертно обижен, не простит.

Возница, повернув голову к Языкову, сказал грубо, что «нету времени прохлаждаться, ваше благородие, сумерки надвигаются», и Юлиана Мефодьевича взорвало это замечание мужлана, придатка лошади, ямщика! Он смеет делать ему замечания, ублюдок!

Прочитав в глазах возницы неприязнь к себе, Языков не сдержался, закричал властно, с удовольствием, как давно уже не кричал на рабочую эту скотину:

— Ты! Как разговариваешь с офицером?! Встать!

Возница, по виду которого нельзя было сказать, что

он испугался, неторопливо сошел с брички, стоял, вольно опустив руки, насмешливо глядя Языкову в лицо.

— Коренная вон рассупонилась! — зажатыми в руке перчатками Языков тыкал в сторону лошади. — Сидишь, ворон ловишь!..

Возница повернулся не спеша, мощным коленом придавил хомут коренной лошади, затянул супонь. Сел потом с бесстрастным лицом на свое место, спросил, не поворачивая головы:

— Можно ехать, ваше благородие?

— Трогай, — разрешил Языков, а возница усмехнулся, ткнул коренную кнутовищем под хвост.

— Но-о... Поше-ел. Размечтался, паразит!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Павел Карандеев тоже заподозрил встретившегося ему старика. Более того, убедился, что перед ним не просто калитвянский крестьянин, а член банды, пусть не активный, насильно выполняющий чью-то волю, но в данный момент это значения особого не имело. Дедок выдал себя многим: путался в ответах на вопросы, был настороженн, пуглив. Конечно, встреча с незнакомым человеком на глухой лесной дороге отчасти оправдывает его поведение, но было в нем нечто большее, чем простая человеческая пугливость.

Углубившись в лес, Павел сошел с дороги, круто взял вправо — надо обойти Калитву с севера, прийти в нее ночью. Дом Степана Родионова стоял в одном из проулков слободы, крайним к глубокому оврагу, из него легко было проникнуть на подворье, а оттуда — в сенцы. Хорошо бы, не услышали собаки, а то займется, чего доброго, переполох, может примчаться бандитский патруль.

Павел никогда не был в Старой Калитве, но по примитивным схемам крепко запомнил расположение улиц в слободе и дом Родионова нашел легко.

Степан вышел на условный стук, повел гостя в сарай (в доме Карандееву показываться было нельзя); там до самого рассвета рассказывал Павлу о встрече с Вереникиной, о том, что было очень и очень непросто поговорить с Катей. Но повезло: его, Степана, послали в Новую Калитву по хозяйственным делам, возил запечатанную в конверт бумагу, там, в штабе, он тихонько назвал ей пароль, а она быстро, выбрав момент, передала ему вот это...

Родионов поднялся, на ощупь отыскал где-то в углу сарая тайник, отдал Павлу туго завернутый в тряпицу сверток. Потом рассказал Карандееву, что сам знал о дивизии и полках Колесникова, более подробно о Старокалитвянском полке и его командире — Григории Назаруке... Павел задавал бесконечные вопросы о численности полков, вооружении, коннице, количестве орудий, организации караульной службы, охраны штаба, связях с антоновцами, снабжении продовольствием и фуражом, настроении в полках, дисциплине и тому подобном...

Даже длинная ноябрьская ночь прошла незаметно, надо было уходить. Павел попрощался с Родионовым, пожал его шершавую, видно, много работающую руку, спросил, как, мол, сам-то живешь, Степан? Тот пожал плечами, не сказал ничего. Что говорить? Играет с огнем, ходит, как циркач по проволоке. Приходится участвовать и в набегах, скачет в куче других, постреливает в воздух до поры до времени. Донесут если на него, то несдобровать, у того же Назарука разговор короткий, тут они с Марком Гончаровым, что яблоко от яблони, недалеко укатились.

В слабом свете, падающем из затянутого паутиной оконца, Павел видел теперь лицо Степана, грустное и усталое, но серые большие глаза его смотрели спокойно.

Выйдя во двор, Степан огляделся — никого и ничего вокруг подозрительного не увидел; Старая Калитва спала в этот предутренний стылый час, поднимался над Доном слабый туман, плыл понизу бесцветными почти лохмами, путался в вершинах дубов. Стоял туман и в оврагах, и Родионов порадовался: Павлу это на руку — скользнул с подворья и пропал, растворился в этом жидком молоке. Он дал знак Карандееву, тот быстрыми шагами, почти бегом, пересек двор и огород, перелез через невысокий, покосившийся от времени плетень, спустился в овраг. Теперь все — знакомый уже круг по неглубокой снежной целине и — лес. В лесу же он, что иголка в стогу сена.

Перевел дух и Родионов. Запахнул плотнее полушубок (а холодно, однако, с самого утра, видать, морозный будет нынче день), пошел в дом. Ложиться, пожалуй, теперь ни к чему, солнце скоро поднимется, жена встала уж, поди. Да и ему самому — коня почистить и напоить, навоз из катуха выгрести — дел много. А там и «служба» — Гришка Назарук вроде смотра сегодня затеял: коней глядеть, сбрую, амуницию бойцов, оружие.

Степан ушел, а в соседнем доме, в подслеповатом маленьком окне неслышно опустилась занавеска: старый

Марущак, пробудившийся еще до первых петухов, видел и самого Степана, и ночного его гостя, скользнувшего в овраг за их огородами...

* * *

Сведения Вереникиной были очень важными. Любушкин, прочитав торопливо исписанные листки, тут же пошел к Карпунину, и вдвоем они снова и снова вглядывались в цифры и слова донесения, сопоставляя с другими, уже известными им фактами.

Картина полностью прояснилась. Воронежская губчека располагала теперь дополнительными сведениями о Повстанческой дивизии, о ее связях с антоновским штабом, о намерениях колесниковцев. Важными были и подтверждения о планах Языкова.

— Языковым я займусь лично, — сказал Карпунин.— А ты, Михаил, кровь из носу, а обоз с оружием в Калитву не пропусти. Маршрута движения и способа переправки его с Тамбовщины мы не знаем, и никто нам этого, сам понимаешь, не скажет.

— Да уж! — засмеялся Любушкин.

— Вызови отряд Наумовича, устройте засады на возможных направлениях движения этого обоза...

— Оружие они могут и отдельными подводами переправлять, — вставил Любушкин свое соображение. — Обоз очень заметен, его не так просто переправить в нашу губернию.

— Все так, согласен, — сказал Карпунин. — Но иного пути не вижу пока, Михаил. Вряд ли обоз пойдет, скажем, через Усмань, слишком большие расстояния. Скорее всего вот здесь, смотри...

Карпунин, а вслед за ним и Любушкин поднялись, подошли к карте, и Карпунин стал показывать возможное направление и место переправки обоза. Скорее всего, это будут лесные глухие дороги, ночное время...

Да, теоретически все выглядело вполне логичным: Антонов прикажет переправить оружие кратчайшим путем, держась лесных дорог и темноты, это было бы вполне разумное решение, но, с другой стороны, глупо было бы, рискованно отправлять оружие сразу, одним обозом и в одном направлении — не могут же в штабе Антонова не предположить о возможном нападении чекистов?!

— А вот ты бы шел с этим обозом, Михаил, — спросил Карпунин. — Ну-ка, покажи на карте — где?

Любушкин подумал, показал довольно широкий коридор движения, но все равно путь он выбрал по лесным массивам, по глухим, почти невидным на карте дорогам.

— И привел бы я его сюда, в Шипов лес, — закончил Любушкин свои рассуждения. — Имей в виду, Василий Миронович, что лес этот под контролем бандитов, того же Осипа Вараввы. Тянется этот массив во-он аж куда, в него легко попасть из тамбовских лесов, сделать это можно почти незаметно. Так что я бы при хорошей охране рискнул провести сразу весь обоз.

— Сделаем так, Михаил. — Карпунин вернулся к столу, сел в кресло и Любушкин. — Перекроем весь этот «коридорчик». Дело чрезвычайно важное, и потому подними на ноги все, что только можно: отряд Наумовича, милицию, чоновцев, отряды при ревкомах и военкоматах, все! Задача одна — найти этот обоз. Думаю, что он должен появиться в ближайшие дни. Антоновцы спешат, Языков был в Старой Калитве... та-ак,—Карпунин посчитал в уме, — двадцать второго, сегодня двадцать шестое... Конец ноября — начало декабря, не позже четырех-пяти ближайших этих дней. Действуй, Михаил Иванович!

Любушкин кивнул, ушел, а Карпунин вытащил из стола знакомые фотографии, снова вглядывался в лица Вознесенского и Языкова, думал. Конечно, Языков живет в Воронеже нелегально, скорее всего под другой фамилией и, возможно, с измененной внешностью. Конспиратор он опытный, враг серьезный, возможность сделать пакость Советской власти не упустит. «Но неужели ты всерьез думаешь организовать здесь, в Воронеже, мятеж? А, Юлиан Мефодьевич? — спросил Карпунин фотографию. — В восемнадцатом году положение было посерьезнее, и то ваш «Осьминог» был наполовину перебит, а теперь...»

— Теперь положение тоже опасное, — сказал вслух Карпунин, отодвинул фотографии, закурил. Подумал, что надо размножить фотографии Языкова, раздать их постовым милиционерам на вокзалах — не сидит же Юлиан Мефодьевич в каком-нибудь подземелье, а ездит, видимо, работает...

* * *

Старый Марущак, бобыль и напрочь почти глухой семидесятилетний дед, обиженный на Степку Родионова за пропавшего петуха (еще в шестнадцатом году Степка швырнул в него каменюкой, когда петух склевал сохну-

щие на ряднике семена конопли), едва дождался утра. Надев штопаный-перештопаный когда-то бабкой Шурой лапсердак, на ходу уже кинув на седую голову шапчонку, Марущак вооружился клюкой, чтобы отбиваться от слободских собак, и, шаркая крепкими еще катанками, двинулся к штабу повстанцев, к самому Гришке Назаруку.

Гришка доводился ему каким-то родственником, каким — старый Марущак и сам уже позабыл, но хорошо помнит его сначала сопливым, с вечно разбитым носом пацаном, а потом пьяным и драчливым парубком. Теперь же, когда Гришка стал «полковым командиром», он, кажись, малость остепенился, морда сделалась сытой, да и в поведении он стал важный, на козе не подъедешь. Просто так с тобой, зараза, и не поздоровкается, руку не подаст. Мотнет башкой при встрече, кинет ехидное: «Ты ще живой? Надо же...» — и был таков. Приблизиться к начальственному родственнику Марущаку никак не удавалось. А приблизиться хотелось. Отчего бы не сидеть ему в том же штабе? Глядишь, дал бы дельный совет, семьдесят годов по земле ползает, кой в чем разбирается. Да и при случае мог бы тот же Гришка или кто из его хлопцев привезти воз хворосту, самому уж ему, старому, то не под силу.

Назарук в этот день по приказу Нутрякова проводил строевой смотр, слушать Марущака сначала не захотел. Но потом, услыхав о подозрительном человеке, шмыгнувшем ни свет ни заря в овраг, завел деда в штабную хату, стал спрашивать с пристрастием.

— Може, тебе приснилось, старый хрен? Спав-спав, та и побачив, як черти в овраг стали скакать.

Гришка посмеивался, важно поглядывал на троюродного придурковатого дядьку и заодно в окно — не приехал там Нутряков?

— Ась? — переспросил Марущак.

— Не приснилось, кажу? — прибавил голоса Назарук.

— Та бог с тобою! — замахал Марущак руками. — Вот як тэбэ и бачив. Як выскоче со двора Степки Родионова, як побежить... И в овраг. А там сгинув.

— Шо ж вин, с винтовкой був, или так просто?

— С винтовкой, с винтовкой! А може, и две, я не побачив.

— Ну а Степан чего?

— Та чего. Зырк-зырк глазами и махнув тому, в шипели — тикай! Вин и побиг.

— Ладно, дед, разберемся. А теперь иди, а то мне некогда, начальство дожидаю.

— Ась?

— Иди, кажу, до дому. Разберемся.

— А, пу-пу, пийшов я. Слышь, Гришка, ты б коняку мэни дав и хлопцив, дрючок хоть на топку привезли б. Холод у хати собачий, сопли и ти замерзають.

— Потом! — отмахнулся от него Назарук. — Сказав же!

Марущак, шмыгая простуженным носом, вышел вслед за Гришкой на крыльцо, постоял в недоумении: то ли еще поспрошать? Или уж, правда, потом? Словят вот Степку, прищучат... Сознается, куда деться! Евсею в лапы попадет, скажет небось!.. Будешь знать, Степка, як петухов переводить.

Старый Марущак удовлетворенно погрозил клюкой в сторону родионовского дома, сошел с крыльца и поскребся до своей хаты. Шарахался от конных, пролетавших мимо него с руганью — и чего их носит по Калитве? Чего хвосты позадирали?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Катя почувствовала, что слежка за ней усилилась. Она и раньше видела, что за ней следят, но в последние дни ее откровенно преследовал Пархатый. Под разными предлогами Богдан являлся к ней на квартиру, заводил скользкие разговоры о ненадежности и ненужности их восстания — рано мы, Кузьминишна, поднялись, силов маловато; она спорила с ним до хрипоты, корила командира Новокалитвянского полка за политические шатания. Если уж среди руководителей восстания такие настроения, то чего можно ожидать от рядовых бойцов?! Пархатый хмурился, слушал ее внимательно, соглашался, тяжко вздыхал. Потом униженно просил «его думки никому нэ казаты, бо за них, Кузьминишна, можно поплатиться головою». Ей же он доверился как человеку надежному — «хочь ты и баба, а в деле розумиешь, душу надо разрядить и дать ей свежего ветру».

Катя не верила ни одному слову Пархатого, понимала, что это элементарная проверка, и что Богдан по чьему-то совету или, быть может, приказу изменил тактику

своего поведения, не лез к ней, как прежде, с объятиями, а повел эти опасные, шитые белыми нитками разговоры. Доводы и «сомнения» Пархатого Катя разрешала легко, командир полка умом и знаниями не отличался, весь вечер мог мусолить какую-нибудь одну мыслишку о том же преждевременном выступлении или отсутствии «ероплапов»: был бы у нас ероплан, Кузьминишна, мы бы большевиков бомбами закидали, та и всэ... Катя, посмеиваясь в душе, терпеливо объясняла ему, что главное — идеи, убеждения и монолитность, то есть крепость их рядов...

Размышляя о визитах Пархатого, Катя понимала, что Богдан — подсадная утка, за нею следят более проницательные и умные глаза, но чем вызвана эта активизация слежки? Где она наследила?

Нехорошие предчувствия томили ее душу. Катя шаг за шагом стала разбирать свои действия, встречи и разговоры. Ничего в них такого, что могло бы усилить подозрение к ней, не было. Из дому она никуда, помимо «службы», не выходила, и никто к ней, кроме Пархатого, на дом не являлся. Степан Родионов приезжал в штаб Новокалитвянского полка, но ни одна живая душа пе видела, как она передала ему сверток с донесением. Следующая встреча с ним через три дня, Степан должен найти повод явиться снова в штаб...

После «свадьбы» Колесникова чаще стал наезжать в Новую Калитву Нутряков, начальник штаба дивизии. У него появились какие-то новые дела в полку Пархатого, больше внимания стал он уделять и «помощнику начальника канцелярии Вереникиной». Должность эту он придумал для Кати сам, но с одобрения Колесникова: ты, Кузьминишна, грамотная и должна нам помогать составлять разные бумаги по хозяйству и командирам.

Нутряков приезжал обычно во второй половине дня, терся в штабной избе, спрашивал по делу и без дела толкущихся тут командиров; с особым пристрастием донимал он вопросами коменданта гарнизона Бугаенко: выставил ли тот посты? хорошо ли охраняется штаб полка? не спят ли, чего доброго, патрули в ночное время?

Бугаенко — короткий, с широким бабьим задом, с волочащейся по полу саблей — испуганно таращил на начальника штаба дивизии красные от постоянной пьянки глаза, испуганно отвечал: «Никак нет, Иван Михайлович. Посты пе сплять, бо я им, чертям косопузым, спать пе даю. Посты дежурять справно, воша на карачках не проползет...»

Нутряков морщился от диких этих докладов, кивал снисходительно: «Ну-ну. Проверим». И как бы между прочим спрашивал, не было ли гостей «с той стороны»? Не все, наверное, понимали, о чем именно спрашивал начальник штаба, но Кате, сидящей в смежной комнате, все было ясно. Кажется, именно Нутряков взял над нею негласное «шефство», не доверил начальнику разведки, Конотопцеву. Что ж, враг серьезный...

Нутряков в сопровождении Пархатого заглянул и в канцелярию полка; начальник канцелярии, Косов, тощий, лысоватый, вскочил при появлении такого высокого начальства, замер истуканом. Встала и Катя — как-никак она была сейчас на военной службе. Нутряков вяло махнул им обоим — садитесь, мол. Стал спрашивать Косова о делопроизводстве, доходят ли приказы штаба до рядовых бойцов, знают ли во взводах и эскадронах о письме Антонова?

Косов, так и не севший, отвечал с запинками, что «як же, письмо Александра Степаныча знають у войсках, читали услух», а другие приказы и разные бумаги помогает составлять Катерина Кузьминична — дуже грамотно у нее получается.

Начальник штаба одобрительно поглядывал на Вереникину: мол, приятно это слышать, уважаемая, рад за вас; потом вдруг спросил, в каком именно полку служил ее муж, в жизни гора с горой не сходится, а человек с человеком... Катя, мгновенно почувствовав подвох, — отвечала, ведь именно на этот вопрос! — со вздохом повторила номер, назвала некоторых сослуживцев Вольдемара Музалевского, так звали ее «мужа». Нутряков выслушал ее, покивал неопределенно, сказал, что воевал в других краях.

— М-да-а... Жизнь офицера русского. И что обидно, Екатерина Кузьминична: одно дело пасть за родную землю на поле брани, лицом к лицу с врагом, а другое — погибнуть от подлой руки большевизма...

Неожиданно Нутряков спросил Катю, умеет ли она ездить верхом и, получив утвердительный ответ, предложил ей прогуляться, «заодно и обсудим одно дело».

У Кати сжалось сердце — не закамуфлированный ли это арест? Конечно, Нутряков мог просто приказать арестовать ее, как бы она могла этому противодействовать? Да никак. Но он решил, видно, поиграть с нею...

Катя заметила, как вытянулась физиономия у ее ухажера и опекуна, Пархатого. Богдану явно не понравилось

решение начальника штаба дивизии: нечего тут прогуливаться с чужими бабами, своих, что ли, не хватает? Других мыслей у него не возникло, Вереникиной он, хоть и выполнял задание того же Сашки Конотопцева «глядеть за дамочкой во все глаза», верил, решив изменить свое поведение по отношению к ней на благопристойное — глядишь, и Катерина Кузьмининшна помягчает.

Богдан, помявшись, спросил Нутрякова, надо ли их сопровождать? На что Нутряков лишь дернул презрительно лицом — болван ты, однако, Пархатый.

Тронулись из Новой Калитвы спустя полчаса. Под Катей была грузная, вяло откликающаяся на поводья кобыла. Катя не сразу поняла, что лошадь слепа на один глаз — голову она держала как-то боком, скакала тяжело, неровно, осклизаясь на наезженной дороге с вмерзшими яблоками конского помета. Под Нутряковым же был рыже-огненный мускулистый дончак; он легко, играючи нес своего хозяина, нетерпеливо перебирал сухими стройными ногами, рвался вперед, и начальнику штаба стоило большого труда сдерживать его красивую, с белым храпом голову на уровне Катиного плеча. Катя слышала чистое, мощное дыхание жеребца, понимала, что ее специально посадили именно на эту лошадь, на такой далеко не ускачешь; понимала и то, что Нутряков опасается все же с ее стороны какой-либо неожиданности, потому и решил обезопасить себя.

Ехали они в направлении Новой Мельницы; маршрут теперь не казался Кате странным — конечно, Нутряков решил допросить ее в штабе дивизии, возможно, она уже и не вернется в Новую Калитву. Неясно только, что же случилось? Да, с ее стороны не было допущено ошибки, она в этом уверена... Впрочем... Лида Соболева! Ведь она нарушила инструкцию, приоткрылась девушке. А Карпунин и Любушкин строго-настрого запретили ей делать это, она не имела права даже намекать Соболевой на какое-то второе свое лицо. Девушку могли избить, пытать, и она не выдержала, призналась о их разговоре в день «свадьбы», о вопросах, которые задавала ей Катя. Ах, Лида-Лида! Неужели ты выдала?! А хотелось же помочь тебе, выручить!..

Лошадь споткнулась о какой-то ледяной бугорок на дороге, споткнулись и Катины мысли. Она подняла голову, огляделась. День стоял тихий, солнечный. Хорошо была

видна справа Старая Калитва — под белыми снежными шапками крыш, казалось, шла прежняя, ничем не нарушенная мирная жизнь. Не слышно сейчас никаких инородных звуков — грюканья железа, военных команд, выстрелов. Лишь фырканье двух лошадей, поскрипывание снега под их копытами.

— Думаете, наверное, Екатерина Кузьминична, куда и зачем я вас везу? — вкрадчиво спросил Нутряков, приблизившись, и холеное его лицо расплылось в загадочной улыбке. — Строите всякие версии?

— Да чего мне их строить, Иван Михайлович? — простодушно рассмеялась Катя. — Вы пригласили меня прогуляться, я с большим удовольствием делаю это. Тем более что погода... ну просто прелесть, гляньте-ка! Солнышко, небо голубое, тихо... И места здесь красивые. Летом, наверное, глаз не оторвешь — Дон, лес, зелень... Ах!

Нутряков тронул хромовыми, начищенными до яркого блеска сапогами своего дончака, и тот вынес его на полкорпуса вперед; начальник штаба говорил теперь, слегка обернувшись к Кате:

— Вот несправедлива все-таки жизнь к человеку, Екатерина Кузьминична, не находите? Казалось бы, всем поровну должна принадлежать эта красота, о которой вы упомянули, и блага земные, и сама жизнь. А пользуются этим избранные, причем далеко не лучшие человеческие экземпляры.

— То есть? — Катя не понимала, куда клонит Нутряков.

— Поясню. — Нутряков ехал теперь вровень с Вереникиной, перебирал руками в кожаных черных перчатках украшенные медными бляшками поводья. Лицо его раскраснелось на морозце, дышало здоровьем, лихо топорщились подстриженные, ухоженные усы. — Во все времена революционных преобразований гибли за правое дело лучшие люди. И сейчас гибнут. Погибнем и мы с вами — борьба идет не на жизнь. Вы — за своих большевиков, я... черт знает, за кого отдам жизнь я! Но в любом случае после нас останутся на земле... ну, с вашей стороны — какие-то темные, необразованные рабочие, это промышленное быдло, а с нашей... с нашей вообще всякий сброд от земли...

Катя строго посмотрела на него:

— Что за психологические шарады, Иван Михайлович? Причем тут «ваши», «наши»? Какие-то большеви-

ки?.. Не понимаю. Мы с вами по одну сторону баррикады.

— Да стоит ли нам с вами отдавать за этих людей свои молодые и прекрасные жизни, Екатерина Кузьминична?! — с театральным почти надрывом воскликнул Нутряков. — Даже допустим, что мы и по одну сторону? А?

— Это дело каждого, его личных убеждений, — твердо сказала Катя. — Жизнь потому и движется вперед, что ей не дают зачахнуть, что всегда найдутся такие общественные силы, которые... Вспомните хотя бы русскую буржуазную революцию, свержение царизма!

— Вот вы и выдали себя окончательно, Екатерина Кузьминична, —хмыкнул Нутряков. — Мы говорим, что ранее существовавшая общественная формация заменена другой, но прогрессивной ли? Жаль, конечно, что Временному правительству не удалось удержать власть, все эти бездарные Родзянки и Керенские развалили Россию окончательно, отдали власть в руки большевиков. Но и они не удержат ее долго, слово офицера! Как не быть у власти и новоявленному нашему предводителю от н а р о д а... — Ха-ха! — Александру Степановичу Антонову. Трагедия России именно в том и состоит, что нет на нашей земле истинного, подлинного хозяина!..

— Мне стыдно за вас, Иван Михайлович!

— Вы хотели сказать — жалко? — усмехнулся Нутряков. — Человек без стержня, без идеи, без направления... Вот вы — вы другое дело. Вы за убеждения пошли на смертное, совсем не женское дело. И знаете, Екатерина Кузьминична, я вам завидую. Более того, я восхищаюсь вами. Как человек и мужчина. У вас есть чему поучиться.

— Я не понимаю вас, Иван Михайлович. — Катя почувствовала, как напряглись ее ноги, сдавили бока лошади, и та поняла это как требование прибавить ходу, тяжело, неуклюже заскакала. Дончак Нутрякова в два прыжка догнал ее, игриво куснул в холку.

— Сказать, кто вы на самом деле? — спросил Нутряков, глядя прямо в лицо Кате.

— Скажите. — Она неуверенно повела плечами, дескать, хоть мне и не очень нравится эта игра, но интересно, забавно.

— Вы из чека, Екатерина Кузьминична... или как вас там зовут по-настоящему. Я это понял сразу. Наши дураки верят вам. Но вы молодец. Ведете себя безупречно,

у вас убедительная легенда, вы хорошо ориентируетесь, перехватываете инициативу... Хвалю. Вы не из актерок, а?

— В таком случае, — Катя обернула к Нутрякову спокойное лицо, — вы рискуете, Иван Михайлович. Все знаете и ничего не говорите своим... э-э...

— Скажем, коллегам,— знакомо уже усмехнулся Нутряков. — Но спешить нет никакой необходимости. Убежать от нас вы все равно не сможете. Как вы убедились, за вами смотрит не одна пара глаз.

— Даже бабка Секлетея! — со звонким смехом подхватила Катя. — Вот уж не ожидала.

— И Секлетея тоже, — кивнул Нутряков. — Но держитесь вы отменно, Екатерина Кузьминична. Надо отдать вам должное. Хорошая школа.

— Фантазер вы, Иван Михайлович, — умиротворенно, считая разговор как бы законченным, сказала Катя. — Занимались бы вы лучше своими штабными делами... Но ваша бдительность мне по душе, — переменила она тон.— Я думаю, когда мы разобьем красных, наша партия оценит ваши... гм... старания по заслугам.

Нутряков покривил в деланной улыбке рот.

— О, польщен, польщен! Партия большевиков, разумеется, оценит мои заслуги. Пожалуй, вы лично и расстреляете меня в вашем чека.

— Ну хватит! — неожиданно резко для Нутрякова оборвала его Катя. — Что вы затеяли шарманку?! Чека, большевики!.. Надоело. Будьте в конце концов мужчиной.

Нутряков, смущенный, некоторое время ехал молча.

— Может, вы и правы, Екатерина Кузьминична, — сказал он наконец. — Шутка, пожалуй, не очень удачная. Прошу меня извинить.

— Хорошо, забудем ее, — улыбнулась Катя и теперь уже откровенно хлопнула поводьями по шее своей лошади, поторопила ее.

«Это очень жестокий и расчетливый враг, — думала Катя. — Он даже не притворяется в своих намерениях, он просто сомневается. Ведь, в самом деле, я им не дала ни малейшего повода усомниться в верности моей легенды, они не имели возможности уличить меня... И все-таки, и все-таки...»

Хорошо, что Нутряков раскрылся. Он намеренно вел ее сегодня к срыву, испытывал нервы — а вдруг она не выдержит? Чем черт не шутит. И знал бы этот хлыщ, че-

го стоит ей улыбаться ему, спорить — все внутри дрожит, еще бы пять — десять минут такого разговора, и не нашлась бы, что сказать. Но теперь, кажется, все вернулось на круги своя, и она снова обрела уверенность и спокойствие.

— А знаете, Екатерина Кузьминична, у нас в одном из полков чрезвычайное происшествие, — как бы между прочим сообщил Нутряков.

— Какое еще происшествие? — спросила Катя без особого интереса. Она натянула поводья, лошадь ее сбавила шаг, поводя боками. Катя смотрела на Нутрякова весело, даже игриво: хороша жизнь, товарищ начальник штаба, вы в этом правы. И вот я — часть этой жизни, молодая, радующаяся солнцу и дню женщина, и мне преотлично сейчас, в эти минуты, ехать на этой лошадке, дышать, видеть солнце и небо, чистый белый снег вокруг...

— Поймали связника чекистов, — продолжал Нутряков с прежней бесстрастностью. — Родионов Степан.

— Родионов? — переспросила Катя. — Гм... Кто это?

— Может быть, и не знаете, — не стал спорить Нутряков. — Хотя теоретически все возможно.

— Вы опять? — Катя остановила лошадь, смотрела на начальника штаба обиженно и сердито. — Только что извинялись, Иван Михайлович, как можно?

— Ну, я вообще, Екатерина Кузьминична! — Нутряков помахал в воздухе рукой. — Говорю же: может быть, и не знаете, ни на чем ведь не настаиваю. А с другой стороны, могли и знать, видеть...

— Не знаю никакого Родионова,— жестко сказала Катя. — Ну а что он? В чем провинился?

— В чем провинился? — Нутряков смотрел Кате в глаза. — Да как вам сказать, Екатерина Кузьминична... Следствие покажет. Я полагаю, Конотопцев с Евсеем смогут заставить заговорить этого Родионова и того... второго.

У Кати ухнуло сердце. Неужели Павел не сумел уйти незамеченным? Неужели и он попал в руки повстанцев?! И если Степан не выдержит пыток...

— Ну что вы мне рассказываете какие-то жуткие вещи, Иван Михайлович? — Она капризно надула губы.— Пригласили женщину покататься, подышать свежим воздухом, а сами... Ну-ка, догоняйте!

В знакомом уже штабном доме на Новой Мельнице Катю с Нутряковым ждали голова политотдела Митрофан Безручко и представитель антоновского штаба Борис Каллистратович. Борис Каллистратович улыбнулся Кате, встал, склонив голову, а Безручко на все это «представление» глядел насмешливыми глазами, посмеивался в пышные вислые усы. С бабой можно и попроще...

Штабные расселись за столом, пригласили и Катю. Она села, расположенно поглядывая на мужчин. Спасибо, — было написано на ее лице, — что пригласили меня сюда, что считаетесь со мной, и я могу хоть в чем-то помочь вам, мужчинам...

«Если Степан и Павел в их руках, то зачем это совещание, или что они тут затеяли? Проще ведь устроить очную ставку, допросить! Донесение написано моей рукой, пусть и в зашифрованном виде...»

— Как вам здесь живется, Екатерина Кузьминична? — вежливо поинтересовался Борис Каллистратович, изобразив на лице улыбку.

— Прекрасно! — воскликнула Катя. — Прогулялись вот с Иваном Михайловичем по морозцу, дохнуло какой-то прежней, человеческой жизнью...

— Да-да, вы правы. — Борис Каллистратович погрустнел, глянул с тоской за окно. — Была жизнь, была-а... Ну ладно, все еще впереди. Мы вас, Екатерина Кузьминична, если позволите, пригласили вот по какому поводу...

— Да-да, конечно. — Катя закурила. Сидела прямая, строгая, поглядывая на всех с некоторой холодностью. Она видела, что тон ее и взятая манера поведения действуют на штабных и их гостя должным образом, тот же Безручко слушал разговор с почтительным вниманием, приоткрыв рот. Серьезность была и в глазах Нутрякова.

— Учитывая вашу принадлежность к партии эсеров, — продолжал Борис Каллистратович, — мы просили бы вас провести кое-какую работу как в наших полках, так и за пределами территории...

«Им нужно, чтобы я куда-то съездила. Зачем?»

— ...территории, какая сейчас находится под контролем дивизии Ивана Сергеевича. Ваше участие в делах Новокалитвянского полка в качестве помощника начальника канцелярии... — представитель штаба Антонова иронично скривил губы, — дело, конечно, важное, но, полагаю, вы можете принести гораздо больше пользы нашему движению.

— О чем конкретно вы меня просите, Борис Каллистратович?

— Во-первых, выступить перед началом боевых действий в полках с... э-э... такими, знаете ли, популярными лекциями о целях нашего движения, о борьбе с большевиками, о шатких платформах, на которых пока еще держатся Советы...

«Значит, скоро начнутся бои. По-видимому, антоновец приехал кое о чем договориться со штабом Колесникова. Возможно, они начнут первыми...»

— Кроме того, нам важна и поддержка эсеров в самом Воронеже. Как нам известно, Воронежский губкомпарт весьма неоднороден по составу, в его среде, вероятно, можно найти и сочувствующих нам людей. Но мы вовсе не хотим подвергать вас опасности, заставлять вас лезть в самое логово большевиков. Достаточно будет, если вы побываете в самом городе и встретитесь там с некоторыми представителями эсеровской партии. Кое-кого мы вам назовем, возможно, и у вас есть старые связи...

«Им нужно проверить меня. Но зачем посылать в Воронеж?! Я могу элементарно сбежать».

— Сомневаюсь, что смогу видеть кого-нибудь из старых друзей по партии, — сказала Катя. — Прошло время, многие были на нелегальном положении...

— Сейчас многое изменилось в городе, Екатерина Кузьминична. Действия наших армий, успех дивизии Ивана Сергеевича — это прищемило большевикам языки, они просто в панике. Ленин, насколько мне известно, мечется там, в Кремле, шлет во все стороны гонцов с чрезвычайными полномочиями ЦК... ха-ха-ха... Да что с этими полномочиями, когда Россия трещит по швам!

— Куда конь с копытом, туда и рак с клешней, — басовито захохотал, заколыхался рыхлым телом Безручко. — Тьфу, мать вашу за ногу!..

«Им нужно, чтобы я с кем-то встретилась в Воронеже. Но прекрасно понимают, что эта моя встреча ничего не решит. Значит... да-да! Они дают мне возможность повидать своих. Зачем?»

— Если нужно, я поеду, — сказала Катя.

— Это не сегодня и не завтра. — Борис Каллистратович откинулся к спинке стула, сложил на груди руки. — Думаю, числа двадцать восьмого... Мы вас перебросим.

— Лучше по железной дороге, Борис Каллистрато-

вич, — сказал Нутряков. — Незаметнее. И садиться на поезд не в Россоши, а южнее, ближе к Кантемировке.

— В Россоши, господа, Екатерине Кузьминичне носа нельзя показывать, что вы! — Представитель антоновского штаба сделал возмущенные глаза. — Вы же прекрасно знаете, что именно с этой станции... — Он осекся на полуслове.

«Россошь. Там штаб красных частей. Там сосредоточиваются наши войска. Наконец, Россошь — крупнейший железнодорожный узел, от него рукой подать до Лисок...»

— Ну мы, вообще-то, не делаем от Екатерины Кузьминичны секретов, — неестественно как-то улыбнулся Нутряков, и Катя поняла, что с ней завели неуклюжую, хотя и продуманную игру. Итак, им нужно, чтобы она, случайно получив информацию, передала ее в Воронеже своим. Так что же это за информация?

— Если бы я не доверял Екатерине Кузьминичне, я бы рта не раскрыл в ее присутствии, — обиженно дернул плечами Борис Каллистратович. — Вы что, за мальчика меня принимаете, господа офицеры? Слава богу, с пятого года погоны ношу.

«Вероятно, они хотят нанести объединенный удар по станции... Но Россошь ли? Это же строжайшая военная тайна, чтобы так вот «проговориться».

— Тебе виднее, Каллистратович, — прогудел Безручко. — Мы тут люди маленькие.

— Ну, люди маленькие, а дела вершите большие. Не скромничай, Митрофан. На вас вся Россия смотрит. Шаг вы сделали заметный, вся Тамбовщина с надеждой вздохнула. Теперь Мордовцева этого надо разгромить окончательно и — честь вам и хвала. А мы вам поможем. И начать надо именно с той станции, о которой говорилось. Дату согласуем.

«Они откровенно внушают мне, что готовится объединенный удар по Россоши, по штабу наших частей, — думала Катя. — С одной стороны, это может быть просто дезинформация, чтобы сковать на какое-то время действия красных, чтобы вынудить их усиливать оборону, тем самым отвлекать часть сил от участия в разгроме повстанцев. С другой стороны, это похоже на правду, ибо логично первыми напасть и разгромить красных, пока к ним не пришло подкрепление. С третьей же стороны, они проверяют меня, хотят знать, видеть, что я буду делать с их сверхважной информацией, куда пойду или кто придет ко мне. Да, пожалуй, это самое вероятное.

Ни в какой Воронеж они, разумеется, посылать меня всерьез не собираются».

Катя внимательно слушала, о чем говорили штабные, но разговор дальнейший крутился все вокруг одной и той же мысли — с какого полка лучше начинать «политические беседы представителя эсеровской партии Верeникиной». Выходило, что самый отсталый в политическом отношении полк — Дерезовский: он и деревню-то свою взять не сумел, прячется в лесу от отрядов самообороны и чоновцев, и командир там, Ванька Стреляев,— пентюх, каких поискать, жрать только любит да баб щупать. Вот в него, в этот полк, и надо ехать в первую очередь. Лучше, если и ты, Митрофан, поедешь с Екатериной Кузьминичной, так солиднее, а то, глядишь, бойцы и слушать ее не будут...

Говорил, в основном, Борис Каллистратович, Безручко с Нутряковым мотали головами, соглашались, а Катя щурила глаза, думала о своем.

Потом она спросила у Безручко, как, мол, жинка Ивана Сергеевича поживает? Ей тогда, па свадьбе, плохо было, помните? И начальник политотдела кивнул — как же, как же!.. А ты бы сходила до нее, Кузьминишна, проведала, чи шо? А мы тут, покамест, покуримо...

«Умница ты, Катька! — сказала себе Вереникина. — Точно рассчитала. Нутряков бы, пожалуй, и не отпустил к Лиде. А этот боров подыграл мне...»

Лида стояла в дверях, ждала ее. Бросилась к ней в объятия и то ли плакала, то ли смеялась от счастья.

— Я знала, что ты придешь, знала! — шепотом говорила она. — Видела, как вы приехали, как закрылись в горнице...

— Говори нормально! — быстро приказала Катя. — А что хочешь передать — вполголоса, нас у двери подслушивают.

Они заговорили в полный голос; Катя спрашивала о здоровье Лиды, та отвечала, что голова что-то болит, мало бывает на свежем воздухе, вот приедет Иван Сергеевич, она попросит прокатить ее на санках. Так хочется свежего ветра, чистого снега...

— Катя, они что-то задумали против тебя, — шептала Лида в следующую минуту. — Я слыхала, но не поняла. Кто, говорят, эту девку раскусит, тот ее и... Поняла?

— Да ты бы хоть во двор почаще выходила, — громко советовала Катя. «Ну вот, правильно я думала. Не верят

они мне, решили организовать проверку...» — Без свежего воздуха ты, милая, зачахнешь, и Ивану Сергеевичу нравиться не будешь.

— Чтоб он сдох, кобелина! — у Лиды брызнули из глаз слезы.

— А хорошо у тебя тут, тепло и чисто, — говорила Катя и приказывала лицом, руками: успокойся, мне нужно с тобой поговорить! Ну!..

— Катюша, обоз идет с оружием в Старую Калитву, — снова шептала Лида. — Я подслушала: через Новохоперские леса, потом на Калач, мимо нашей Меловатки, через Дон... Где — не поняла. Идти будет только по ночам, тридцать почти саней и подвод с охраной. Поняла?

— А ты поняла, что нельзя все время взаперти сидеть? — спрашивала Катя, а сама кивала головой: поняла, мол, молодец.

— Филимон! — крикнула в дверь Лида. — Принеси-ка нам чего-нибудь поесть. Да поживей!

— Вот ты уже как с ними, — улыбнулась Катя, обняла Лиду.

«Бедная, ну как бы ее поскорее отсюда вызволить!..»

...Назад, в Новую Калитву, Катю сопровождал Опрышко. Телохранитель Колесникова молчал всю дорогу, тяжело хлюпал на медлительном своем коне чуть сбоку дороги; молчала и Катя. Разговаривать ей с угрюмым этим мужиком не было никакой нужды и охоты, да и не до него. На душе по-прежнему тревожно: что со Степаном? Что с Павлом? Кого из них схватили? И ее отпустили до поры до времени, вели с нею странный разговор в штабе... Что все это значит? И как теперь передать сведения об оружии для повстанцев — ведь точно известен маршрут движения обоза...

Солнце в этот час уже спряталось за тучи, краски вокруг поблекли, стало холоднее. Катя мерзла, поводила плечами — скорей бы «домой»...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

На осторожный условный стук в окно долго никто не отзывался, хотя Павел чувствовал, что кто-то стоит за занавеской. Он взвел курок нагана, постучал снова: раз-та-та... раз-та-та... Занавеска дрогнула, показалось испуганное женское лицо и тут же скрылось. «Чего тебе?» —

услышал Павел приглушенный стеклом голос, сказал, что «ищет товарища своего по фронту, Степана, привет ему привез...» За окном послышались всхлипывания, дверь открылась, высокая худая женщина стала в дверном проеме, в руках ее были вилы.

— Степана забили, теперь за мной пришли, да? — в отчаянном плаче всхлипнула она. — Ироды проклятые, душегубы! И детишек вам не жалко.

Павел отпрыгнул в сторону от вил, сказал, что он не тот, за кого она его приняла, но женщина снова закричала, что из-за такого вот ночного человека и забили Степана, все допытывались у него — кто да что.

Павел понял сложность своего положения, отбежал за сарай, притаился. Итак, кто-то выдал Степана, его нет в живых, укрыться негде. Признаться его жене, посочувствовать и сказать, что Советская власть поможет ей... Нет, нельзя этого сейчас делать, с женой и детьми Родионова бандиты поступят точно так же, как и с самим Степаном. Где же он дал промашку? Почему его схватили и казнили?

Надо уходить, придется действовать самостоятельно. Но кто теперь передаст ему сведения от Кати? Вполне вероятно, что она узнала что-то новое, важное, а именно за этим он и пришел сюда. Нет, нет, уходить пока не нужно, надо посидеть здесь, в Старой Калитве, день-другой. Может, ему удастся поговорить с кем-нибудь из местных жителей, узнать подробности гибели Степана Родионова.

Остаток ночи Павел провел в поле, в стоге соломы. Когда рассвело, внимательно наблюдал за жизнью слободы весь день. По ней носились всадники, слышались какие-то команды, раза два прогремели выстрелы.

Карандеев мерз, пощипывал хлеб, раздумывал. Решил, что к вечеру переберется вон в тот, у дороги, сарай, оттуда удобнее наблюдать, хотя и опасней: дорога соединяла Старую Калитву и Новую Мельницу, по этой дороге, рассказывал Степан, Колесников часто ездит из штаба в слободу и обратно. Поехал бы он завтра...

В сумерках Павел обошел Старую Калитву по большой дуге, глупо было бы сокращать путь, лезть напрямую — собак в слободе великое множество. Снег, хоть и осел, был глубокий, по колено, и Павел скоро промок, к тому же у левого сапога оторвалась подошва. Нога заледенела, дорога показалась нескончаемой, новая уже пришла ночь, безлунная и холодная, а он все брел по без-

молвной степи, чутко слушал округу, не теряя из виду далекие огни Старой Калитвы, досадуя на сапог и Федора Макарчука: тот, когда Павел переодевался в Павловске, клялся, что его сапоги крепче, надень да надень. Вот и надел.

В сарае у дороги он обосновался хорошо, зарылся в старую пропахшую тленом солому и скоро забылся тревожным полусном...

* * *

Повезло ему на третий день, к вечеру.

Павел в широкую щель между бревнами увидел вдруг группу всадников, выехавшую шагом из Старой Калитвы. Всадников четверо; один из них — на рослом рыжем жеребце — ехал первым, хорошо было видно его угрюмое, неулыбчивое лицо, добротный черный полушубок, серую папаху, белые ножны сабли на боку. «Колесников!» — ожгла Карандеева догадка, и он вскочил на ноги, подбежал к двери сарая, которую еще загодя осмотрел и подготовил — надо теперь лишь толкнуть ее ногой, и она повалится, освободит проем, в который он выскочит с бомбами в руках...

Колесников, ехавший с Безручко и двумя телохранителями, Опрышкой и Струговым, пришпорил вдруг коня, приближался к сараю быстро, хорошей рысью. Павел с бьющимся сердцем был наготове, считал метры — ну, ближе, ближе... Жаль, что Колесников оторвался от своих спутников, бомба достала бы и других, но делать нечего. Он откроет по ним огонь из нагана, на его стороне неожиданность, внезапность нападения, надвигающиеся сумерки. Будь что будет. Такой случай ему может больше не представиться.

Прибавили ходу и Безручко с охранниками, у самого сарая эти трое почти догнали Колесникова; Безручко хотел уже крикнуть атаману, мол, погоди-ка, Иван Сергеевич, дело есть, как вдруг выскочил из упавшей двери сарая какой-то человек в солдатской шинели, молчком метнул под ноги коня что-то круглое, небольшое, и тут же раздался оглушительный взрыв, за ним другой. Конь под Колесниковым испуганно заржал и грохнулся на скользкую санную дорогу, ударился вместе с ним о землю и Колесников, а человек из сарая открыл огонь по остальным.

Безручко, увидев упавшего Колесникова, тут же повернул своего громадного черной масти коня назад, в

Старую Калитву. «Я за подмогой, ну!» — грозно крикнул он на увязавшегося за ним Стругова, но Филимон сделал вид, что не расслышал начальника политотдела, скакал, чуть приотстав от него, зябко втягивал голову в воротник полушубка — сзади гремели выстрелы. Кондрат Опрышко, коня у которого убило второй бомбой, лежал за его круглым вздымающимся животом, бил по сараю из обреза. Оставшись один на один с противником, Опрышко, опытный стрелок, видел, что положение у парня не очень-то завидное, и не сбеги Филька с головой политотдела, они бы накрыли его в два счета, если, конечно, у него нет больше бомб. Ах, черт, метко садит, метко!.. Кондрат охнул от неожиданной и резкой боли в правой руке, бросил обрез, стал сползать с боевой своей позиции в ложбинку, за голые сейчас кусты тальника.

Перестали сейчас стрелять и из сарая; Кондрат видел, как метнулась из двери быстрая серая тень — парень побежал низом, к заснеженному лугу, беря курс на лозняк и камыши. «Давай, давай, — злорадно думал Опрышко, наблюдая за беглецом. — Дальше Новой Калитвы не убегишь, сейчас подскочут Безручко с кем-нибудь, словят тебя как миленького...»

Он поднялся, схватил обрез, пальнул для острастки в сторону луга, с трудом уже различая бегущего по нему человека; оглядывая окровавленную свою руку (кажись, не сильно задело), пошел к лежащему Колесникову. «Как же это мы, а? Командира проворонили... И откуда он взявся, цэй хлопец?»

Колесников с разбитым лицом лежал под конем, рука его застыла на эфесе шашки. «Тут стрелять надо было, а он за шашку свою хватався», — неодобрительно подумал о командире Опрышко, наклоняясь над Колесниковым, вглядываясь в его залитое кровью лицо.

— Живой, Иван Сергеевич? — обрадованно и неуверенно спросил телохранитель, здоровой рукой поворачивая к себе Колесникова, и тот застонал, заскрипел зубами...

Павел, раненный в плечо, намеренно взял направление на лозняк и камыши в пойме Черной Калитвы. Он видел, что двое из группы поскакали к Старой Калитве, через пятнадцать — двадцать минут они вернутся, и не одни, за ним погонятся, а тот, что остался и стрелял в него, укажет именно сюда, в камыши. Времени мало,

очень мало, из раны сочится кровь, левая рука не слушается, придется сражаться только правой. Еще есть одна бомба, но он оставит ее на самый крайний случай, когда надо будет кончить все разом. Есть еще один союзник — надвигающаяся темнота, на нее-то можно рассчитывать больше всего.

По нему больше не стреляли; Павел перешел на шаг, огляделся. Смутно виднелся сарай у дороги (остался в нем сидор с хлебом и куском сала), его трехдневное пристанище, его крепость. У сарая копошилась согнутая человеческая фигура, пальнула в его сторону, но Павел лишь усмехнулся — время этот стрелок упустил. «От камышей я пойду назад, вокруг Старой Калитвы, — думал Павел, на ходу оторвав клок исподней рубахи, зажав им мокрую, обжигающую плечо рану. — Они, конечно, кинутся сюда, по направлению к Новой Калитве, будут искать меня по берегу Дона, а я пойду назад, на север, там спасение...»

Он сделал, как решил: от камышей повернул под углом вправо, стал огибать слободу с затлевшими уже кое-где огнями, с занявшимся лаем собак, выстрелами. Значит, те двое уже подняли на ноги помощников, значит, его уже ищут... Ну, пусть ищут, пусть. Ночью не много найдешь, снег, кажется, пошел... А к утру он будет далеко от слободы. Только бы не подвела рана, только бы удалось остановить кровь...

Мокрый, задыхающийся Павел, тяжело проваливаясь в снег, шел по бесконечному этому лугу, уже с трудом ориентировался в поднявшейся снежной круговерти, но четко слышал нарастающий справа гул — шел по дороге большой отряд конницы. Он знал, что на лугу конница рассыплется цепью, станет прочесывать метр за метром, искать его, полагая, что у него одна дорога, в камыши и лозняк, к берегу Дона, а он повернул совсем в другую сторону... И как хорошо, что пошел снег, совсем уже стемнело, не видно почти ничего.

По-прежнему мешал идти сапог с оторвавшейся подошвой, казалось, что подошвы совсем уже нет, нога ступает прямо в снег, и зачем, в таком случае, сапог? Саднило, горело плечо, перед глазами пошли желтые, оранжевые круги, быстро одолевала слабость. «Сядь, Паша, отдохни», — услужливо и заботливо говорил какой-то голос внутри, но Павел знал, что не сядет — потом не встанешь.

— Главное, Колесникова больше нет, — хрипло сказал ветру и снегу Карандеев. — А я дойду, дойду... Врешь!..

Шел он всю ночь, временами теряя сознание, шатаясь от усталости и боли, падая в снег и поднимаясь снова...

Последнее, что помнит Павел, — это две испуганные темные фигуры в утреннем лесу, санки с хворостом, на которых он лежал вверх лицом, негромкие голоса. Потом явилась откуда-то теплая изба, теплая вода и тугая, бережно обнявшая его плечо повязка...

Санки с хворостом и полуживым каким-то человеком Данила Дорошев с матерью привезли в Старую Калитву ранним утром. Тащили огородом, с опаской: парень на санках мог оказаться кем угодно, к тому же ранен, изошел кровью, значит, кто-то стрелял в него, или он сам от кого-то отбивался. Вчера палили в слободе весь вечер, палили и на лугу, — а кто? зачем? Словом, о парне надо было немедленно заявить Григорию Назаруку, полковому командиру, но Дорошевы не сделали этого. Парня раздели у печи, вымыли окровавленное плечо, забинтовали чистой тряпицей. Он тихо стонал, скрипел зубами, был все время в памяти, лишь под самый конец процедуры затих и на вопросы не откликался.

Данила — широкоплечий, с вьющимся русым чубом и такой же бородкой, сероглазый и большелобый — курил сейчас у печи, думал. Он знал уже, что Колесникова хотели убить вчера вечером, скорее всего, это и есть тот человек, который кидал бомбы, а потом стрелял из нагана. По всей слободе рыщут конные, спрашивают каждого: не видал ли чужого? Но как им быть теперь с этим человеком? Удастся ли спрятать его? А если найдут?

Вопросы перескакивали с одного на другое, теснились в Данилиной голове, но нужного, толкового ответа на них Дорошев не находил. Вполголоса, боясь потревожить забывшегося в боли гостя, Данила стал делиться своими сомнениями с матерью. Мать ответила: «Спасли, Данилушка, человека, знать, на то божья воля. Кто он и откуда, спрашивать не надо, оклемается и скажет сам, а не скажет... ну что ж. И так видно, что человек пришлый, издалека, но какая в том разница? У него, видно, и мать есть, и, может, жена, ребятишки, они со временем спасибо нам скажут, в ноги поклонятся. А сейчас пусть лежит, поправляется, даст бог — выздоровеет, под-

вимется...» Мать кинула на себя торопливый крест, подошла на цыпочках к двери в горницу, прислушалась. Раненый спал тихо, никаких звуков из горницы не доносилось. Данила, тоже подошедший к двери, обеспокоился — не помер ли! — а мать не пустила его дальше, не разрешила тревожить попусту: живой он, одеяло вон на груди подымается.

Данила, прихрамывая, вернулся к табурету у печи, сел.

— А хуже ему станет, мамо? — тревожно спросил он. — Что делать будем?

Мать вытерла концами головного в белый горошек платка рот, сложила на коленях руки.

— Да шо, сынок, робыть? И не знаю. Мабуть, до врача надо обращаться, до Зайцева.

— До Зайцева? — вскинул голову Данила. Керосиновая лампа, стоявшая на столе, освещала его склоненное к коленям лицо, завитки дыма цигарки, путающегося с кольцами бороды, обкуренные желтоватые пальцы. — В лапы бандюкам хлопца отдать?

— Может, он не скажет Колесникову? — неуверенно проговорила мать. — Раненый же!

Они помолчали, каждый думая о своем. Данила понимал, что нельзя доверять Зайцеву, тот обязательно скажет Колесникову или Конотопцеву, парня будут мучить, да и им с матерью не простят. Мать же прикидывала, куда бы сховать хлопца: выходило, что раненого ни в сарае, ни в подполе держать нельзя, не годится — человек он, а не какая там скотина. Можно, конечно, отвезти его на хутор к сестре Варваре, тут километров восемь, не больше, туда из банды не наведываются, старики одни, пусто. Но выдержит ли хлопец дорогу?.. Дня три нехай полежит, окрепнет, а там видно будет.

Кто-то стукнул в черное окно; Данила с матерью испуганно оглянулись — неужели пришли за хлопцем? Но не видел же никто, как везли они парня из лесу, никто им не повстречался и на огородах!..

Стук повторился — негромкий, вежливый; Данила, накинув зипун, вышел в сенцы, сказав матери, что скоро вернется, а сердце бешено стучало — вернется ли?

За углом дома, в тени, которую бросал на подворье высокий, крытый камышом сарай, стояла Оксана Колесникова — не сразу можно было и разглядеть ее. Данила, сколько давала сломанная нога, бросился ей навстречу.

— Ксюша! Ксюшенька!

Он взял ее озябшие, вздрагивающие пальцы, прижал к груди, заглядывал в белое при слабом свете лицо, в распахнутые тревогой и отчаянием глаза — что привело ее сюда?

Данила спросил об этом, и Оксана, припав к его плечу, заплакала, а он несмело гладил склоненную ее голову в белом пуховом платке, вдыхал переворачивающий душу запах ее волос, как и в девичестве венчиком уложенных над высоким матовым лбом. Сколько бессонных ночей провел он в думах об этой женщине, сколько хороших слов было сказано о ней в темноту ночи!.. И вот Оксана почему-то пришла, стоит перед ним несчастная, вздрагивающая от рыданий, в добротном кожушке и валенках, в белом пуховом платке на темно-русом венчике волос.

— Что, Ксюша? Что? — спрашивал Данила, теряясь, не зная, как вести себя с Оксаной; сердце его вздрагивало от вида мокрых ее щек.

— Иван, подлюка, женился там, на Новой Мельнице, — говорила она, вздрагивая плечами. — Девку ему какую-то привезли... женили...

— Погоди, Ксюша: женили? Или сам женился?

— Да какая в том разница, Данилушка? — Оксана жалостливо хлюпала носом. — Я ж его всю гражданскую ждала, и до революции, когда его дома не было, ногой на улицу не ступнула... А он видишь как отплатил?

Они ушли с улицы за сарай, лунный свет здесь совсем потерял силу, лицо Оксаны как бы растворилось в ночном стылом воздухе, лишь глаза по-прежнему были рядом, жгли душу Данилы тревожным огнем.

Оксана обняла Данилу, прижалась мокрым холодным лицом.

— Всю жизнь серденько мое к твоему ластилось, Данилушка! Как перед богом говорю. Знаю, нет мне прощения. Голова моя глупая не понимала, где счастье пряталось. За богатством погналась, хромоты твоей застыдилась... А люблю я тебя, Данилушка, ой как люблю!

Дорошев стоял, оглушенный речами Оксаны, ее видом, самим присутствием. Он улыбался потерянно и печально: зачем ворошить прошлое? Что теперь исправишь?..

— Ксюша... Ксюша... — только и повторял он. — Ласточка ты моя!.. Если б ты знала, как я тебя люблю!.. Но Иван — муж твой, и мало ли чего сбрешут про него.

— Бандит он, не муж, — говорила Оксана решительно, и слезы вспыхивали на ее глазах блескучими искрами. — Весь род наш опозорил, мать его горем изошла... И не убили же кобеля!

— Что ты говоришь, Ксюша! — отшатнулся от Оксаны Данила. — Муж он тебе, дочка у вас.

— Не-ет, Данилушка, не-ет, — говорила она распевно и качала головой; лицо ее каменело. — Плохо ты меня знаешь. Ушла я от него, мы с Таней у матери моей... А до тебя я пришла прощения просить. Знаю, гадкая я, дурная... Прости, Данилушка! Не держи зла на меня, баба я глупая...

— Ну что ж теперь, Ксюша! — Голова ее со сползшим на плечи платком по-прежнему покоилась на его плече. — Зла я на тебя не держу, знать, не судьба нам с тобою... Ласточка ты моя! Сколько я дум передумал, сколько ночей один стерег!..

— Давай уедем отсюда, Данилушка! У меня тетка в Донбассе, на шахтах... Если любишь, если простишь. А я для тебя чем хочешь буду... Таня еще мала, отца своего, бандюку, не упомнит, я ей ничего никогда не скажу... Дитя за отца не отвечае... Или гребуешь уже мною, Данилушка? Скажи прямо!

— Да дите, понятно, ни при чем, — только и успел ответить Данила — на краю Старой Калитвы полоснули выстрелы, послышались крики, конский топот. Минуту-другую спустя пронеслись по слободе верховые, паля в воздух, горланя матерщину.

Оксана еще тесней прижалась к Даниле.

— Что это, Данилушка? Почему стреляют?

— Н-не знаю... Мало ли... Им только и делов...

— Мать казала, что ищут кого-то, кто в Ваньку стрелял, — зашептала Оксана в самое его ухо. — Вроде в слободе он должен бы быть, нету кругом следов, не ушел он... Я поняла, что чекист это.

— Да?!

— Коняку под Иваном он убил, а самого лишь напугал, морду Иван об дорогу расквасил. Человек этот раненый, Данилушка, кровь в лесу видели, наган нашли...

«Так вот это кто», — подумал Дорошев, и сердце его сжалось предчувствием беды — не миновать им с матерью расправы, не миновать. Может, попросить Оксану... Нет, что это он? Колесников не пощадит и ее. Нельзя...

— Ну что ты молчишь, Данилушка? — заглядывала она в его лицо. — В ноги тебе упала, решай.

— Надо хоть несколько дней обдумать, Ксюша. Не так все это просто... И шахты... что я там делать буду? А Тапе твоей мы, конечно, ничего говорить не будем... Может, в Бобров переберемся? Там родня... Завтра, как стемнеет, приходи на выгон, — сказал он. — Я обдумаю.

Мимо дома снова пролетели конные, ахнул поблизости винтовочный выстрел, кто-то заорал дурным голосом; луна ушла за тучу, стало темно и совсем холодно.

— Я сказала матери, что к тебе пошла. — Оксана, опустив руки, стояла перед ним беззащитная, согласная на все. — Не прогоняй меня, Данилушка! Слышишь?

Данила настороженно повернул голову — скрипнула дверь в сенцах, мать его вышла на крыльцо, кутаясь в теплый платок; позвала тихонько:

— Данилушка! Ты где?

— Здесь я, мам, здесь! — откликнулся он торопливо, боясь, что она скажет лишнее, и шагнул к крыльцу.

— Парню... плохо что-то, сынок, — сказала мать. — Иди быстрее.

Шагнула из темноты и Оксана, встревоженно, понимающе блестели ее глаза.

— Ой, лышенько! — Мать Данилы испуганно всплеснула руками. — Это... ты, Оксана? Господи! А я думала... Сердце так и оборвалось. Данилушка! — простонала она. — Да як же ты?!.

— Чего вы так убиваетесь, тетка Горпина! — укоризненно и спокойно сказала Оксана. — Я поняла, что хлопец у вас, ну и что с того?

— Та у нас, у нас, — машинально повторяла мать Данилы. — Кровь из плеча пошла, а я сама ума не дам... Да и душа за Данилушку болит — ушел и нема.

Данила, а за ним и Оксана, вбежали в дом. Павел метался в бреду, повязка с его плеча сползла, рана кровоточила. Оксана быстро перемотала тряпицу, положила руку ему на лоб.

— Горит весь, — негромко, с тревогой в голосе сказала она. — Порошки нужны.

— Та яки ж у нас порошки, Ксюша?! — все еще плакала мать Данилы. — Хотели ж сначала до Зайцева пойтить...

— Ну да, до Зайцева! — перебила Оксана. — Хлопца этого тут же схватят, мордовать начнут... Вот что. Сейчас я до дому сбегаю, у меня были какие-то порошки... и, кажись, бинты. Тряпки эти держать долго все равно не будут.

— Ой, лышенько! — снова всплеснула руками мать Данилы. — Да там же на улице носятся эти... Бахають из винтовок, не чуешь разве?

— Пусть бахают, — засмеялась Оксана. — Жинку атамана небось этим не напугаешь.

Она поспешно ушла, а мать, укутав раненого, тревожно и немо смотрела на Данилу.

— Ты не думай ничего, мам, — стал он успокаивать ее. — Оксана не скажет.

— Ой, не дай бог, сынку! Не дай бог!

Оксана скоро вернулась. Заново перебинтовала парня, напоила чем-то из принесенной склянки, сказала, что теперь он будет спать спокойно и срывать бинты не станет.

— Ну, слава богу, — говорила обрадованно мать Данилы. Она плотнее задернула занавески на окнах, притушила лампу.

— Завтра ночью к нам его перевезем, Данилушка, — решительно говорила Оксана, прижавшись к Даниле плечом. Они сидели на лавке у печи, слушали, как беснуется за окном ветер, как шуршит под полом мышь.— У нас его никто искать не будет. Закроем в спаленку, она глухая, во двор окнами, да еще ставни...

Оксана тихонько и счастливо засмеялась, ластилась к Даниле, заглядывая ему в лицо ласковыми глазами. Он гладил ее волосы, соглашался охотно, что да, так будет лучше и безопаснее для всех, а поправится парень — можно будет переправить его и к тетке Варваре, материной сестре...

На улицах Старой Калитвы все еще было неспокойно; слышались резкие голоса, фырканье лошадей, лай собак.

Данила встал, потушил лампу, светало. Кажется, пронесло. Теперь можно идти и Оксане.

Данила подошел к окну, прислушался. Кто-то остановился напротив его дома, зычно, по-командирски, крикнул:

— А ну давай тут пошукаем, у Данилы. Мало ли что!

В доме поднялся переполох.

— Спрячься хоть ты, Ксюша! — вскрикнула мать Данилы, прилегшая было на лежанку, а сейчас вскочившая, мечущаяся по горенке. — Вот сюда... Нет, тут увидют, окаянные. Лучше здесь, за занавеску. Тут у мэнэ

рогачи та веники... Становись ближе к стенке, к стенке!.. Ой, лышенько. Пропали мы, Данилушка!..

Явился Сашка Конотопцев, с ним — двое с винтовками, из разведки.

— Посторонние есть? — с порога спросил Сашка и, не дожидаясь ответа, пошел в горницу, придерживая рукой длинную, не по его росту шашку на боку, зорко поглядывая во все углы.

— Коновалов! Япрынцев! Сюда! — крикнул он через минуту, и двое, стуча сапогами, кинулись на его зов.

Конотопцев держал под прицелом нагана мечущегося в постели парня, матюком позвал Дорошевых.

— Кто такой?.. Я спрашиваю, Данила! Тетка Горпина?! Откуда взялся хлопец?

Мать Данилы опустила голову.

— Да хворый же он, Александр Егорыч. Родня наша. В гости приехал и захворал. Опусти наган, чего ты человека пугаешь. Он и так...

— В гости?! Захворал? — недоверчиво спрашивал Сашка, подступая к постели, вглядываясь в бледное, заросшее трехдневным волосом лицо. — А не в лесу ли вы его подобрали? А? Данила! Чего молчишь? Ну! Ездили за дровами?

— За дровами ездили, было такое, — хмуро отвечал Данила. — А парень этот — родня наша, приехал и захворал.

— Ага! Значит, были в лесу! — обрадованно проговорил Сашка и отошел от кровати, сел в отдалении на табурет. Дулом нагана столкнул малахай на затылок, обнажился мокрый, с прилипшими волосами лоб.

— Ездили и привезли, так? — спросил он, недобро посмеиваясь, показывая глазами на раненого. — А мы, бога мать, с ног сбились, мы, как волки, по лесу рыскаем, следы его нюхаем — куда побежал, кто спрятал... Та-ак... А хлопчик уже в постельке, болячку лижет...

Сашка вскочил, подбежал к кровати, сбросил с Павла лоскутное пестрое одеяло, заорал:

— Подымайся! Кому говорю! Ну! — и трахнул из нагана в потолок.

Павел вздрогнул, открыл воспаленные, ничего не видящие глаза, повернул голову.

— Коновалов! Япрынцев! Одевайте красную сволочь! Да в сани его, в штаб повезем. И вы, тетка Горпина, с сынком собирайтесь! Разберемся, что к чему.

Уже выходя из дома, Сашка просто так, на всякий

случай, отдернул занавеску печи, присвистнул пораженный:

— Фью-у-у... мать твою за ногу! Оксана?! И ты туточка? Вот это да-а... Вот это подарочек Ивану Сергеевичу. А ну, выходи.

Оксана молча вышла из своего угла, молча же стояла перед Конотопцевым — красивая и бледная в распахнутой шубейке и сброшенном на плечи платке.

— Помогала им? С парнем-то? Или как? — спросил Конотопцев. — Может токо... хе-хе... блудила тут, а? Случайно зашла? Как скажешь, так и передам.

— Помогала, — твердо, без колебаний сказала Оксана.

— Ну и дура. — Конотопцев с сожалением сплюнул. — Теперь с тебя, Ксюшка, Иван Сергеевич шкуру спустит. А не он сам, так найдется кому... Ладно, идем. Нехай в штабе разбираются. Ох, едрит твою в кочерыжку. Вот это улов!..

...Допрашивал Павла сам Колесников. Он, с перевязанной головой, черный от злобы, пришел в амбар, где при Советах был ссыпной пункт, а сейчас держали пленных, сел на услужливо подвинутый Евсеем ящик от патронов, смотрел на лежащего у его ног человека, который день назад охотился за ним, швырял в него бомбы. Павел приподнялся на локтях, хотел сесть, но, охнув от боли в плече, снова опустился на солому. Он хорошо понял взгляд Колесникова и его душевное состояние: болезненное любопытство и плохо скрытый страх светились в его встревоженных, растерянных глазах. И руки Колесникова мелко, но заметно подрагивали.

— Что дрожишь, Колесников? — насмешливо спросил Павел. — Я у тебя в плену, радоваться должен, а ты...

Колесников заметил, на *что* именно смотрел полуживой этот чекист, поспешно стал закуривать, занял руки делом. Жадно и торопливо затянулся, сквозь дым папиросы разглядывал Павла, думая, что сильным и смелым надо быть человеком, чтобы вот так вести себя перед смертью. А может, просто дураком, не понимающим, что жизнь одна, другой не будет. С третьей стороны, у чекиста нет выхода, он хорошо понимает, что в живых его не оставят, как бы он себя ни вел, и потому решил быть самим собой, не извиваться душой. Что ж, и это понятно.

«Взять бы да отпустить», — неожиданно для самого себя подумал Колесников, понимая, что этим вызовет

сильное недовольство штабных — все они предвкушали какую-нибудь необычную кровавую расправу над парнем из чека. И вдруг отпустить. Нет, уйти ему отсюда не дадут, даже если он, Колесников, и распорядится.

И все же какое-то мгновение Колесникова цепко держала эта мысль. Он не смог бы найти точного объяснения причин ее появления, но мысль эта ему нравилась, тешила какой-то смутной надеждой, предположением: а случись что с ним самим? Ведь все в мире так переменчиво. Лежал бы он сейчас на соломе вместо этого парня... А потом поставили бы перед столом, за которым сидел Трофим Назарук, штабные...

Вспомнив недавнее прошлое, Колесников зябко повел плечами, спросил Павла, из каких он мест родом, где живет его мать.

— Родом я из России, Колесников, — был ответ. Голос у парня по-прежнему насмешливый, живой — не было в нем и тени страха. — Кому надо, найдут мою мать, скажут...

— Неужели тебе не страшно? Помрешь ведь скоро, — Колесников с нервной улыбкой оглянулся на стоящих рядом Безручко и Евсея.

— Смотря за что умирать, Колесников, — ответил Павел. — Тебе, вижу, страшно, потому что ты трус. За жизнь свою подлую кому угодно служить готов...

— Думай, шо говоришь, парень! — грозно прикрикнул Безручко. — Языка за такие речи лишишься.

— Поздно уже думать, дядя. — Павел шевельнулся на соломе, лег поудобнее. — Времени не осталось. Да и Советская власть меня таким сделала.

По знаку Колесникова Евсей набросился на Павла, бил его в лицо и ребра носками тяжелых кованых сапог, выкручивал раненую руку. Потом облил ледяной водой, привел в чувство.

Безручко наклонился над Павлом — тот тихо, сдерживая себя, стонал.

— Ты ще молодой, хлопец, — вкрадчиво говорил голова политотдела. — Жить тебе да жить. А много не розумиешь. Власть ваша — она на два дня, а нашей — века стоять.

— Брешешь, гад, — внятно сказал Павел. — Власть у народа всегда будет Советской. Запугали вы своих хохлов, одурачили.

— Ты скажи, хлопец, кто тут в Калитве помогав те-

бе? А? — настойчиво спрашивал Безручко. — Ну, Степка Родионов... А ще кто? Живого оставим, если скажешь.

— Дурак ты. — Павел сплюнул кровь. — Никакого Родионова я не знаю.

Евсей приладил тем временем к одной из перекладин амбара веревку, за связанные сзади руки потянул Павла вверх, к бревну, и Колесников, весь напрягшись, ждал: вот-вот закричит этот парень с измученными васильковыми глазами, попросит пощады, тогда и у него, у Колесникова, что-то станет в душе на место — все живые одинаковы, все хотят жить и боятся боли. Но Павел не проронил ни слова и скоро потерял сознание.

Разозлившись, Колесников зверем накинулся на Данилу Дорошева — тоже страшно избитого, окровавленного.

— Ну шо, Данила, нагулявся с моею Оксаною? — хрипло спрашивал Колесников. Он обошел стоявшего перед ним Дорошева с недоверием и некоторым удивлением: неужели правда, что могла Оксана полюбить хромого этого черта, пусть и со смазливой рожей?! Неужели бегала к нему на свидания, дарила ласки?!

— Оксану любил и люблю. — Данила пошатнулся от удара в лицо. — А тебе, паскуда, одно скажу: не жилец ты на этом свете. Ты бандюкам продался, шкура...

Колесников, скрипнув зубами, ударил Данилу ногой в пах, и тот скорчился от боли.

— И на власть нашу законную... руку подняв... Не будет тебе прощения. Попомни мои слова.

— А тебе за чекиста прощения нету! — Колесников, выхватив наган, одну за другой всаживал пули в живот Даниле. — Вот... собака! Подавись!

Он разрядил всю обойму, не чувствуя, однако, в душе облегчения и удовлетворения — и мертвый уже Данила, и парень из чека не покорились ему, не испугались смерти!

Мать Данилы удавил матузком * Япрынцев, молодой прыщавый хлопец, у которого пьяно тряслись губы. Но поручение Евсея он выполнил охотно, заслужил похвалу.

— Вот гарно, — подбодрил Евсей. — Это в первый раз не по себе, а потом ничо́го, пройдет...

...Оксана, которую грубо втолкнули в какой-то темный закуток с единственным, затянутым паутиной оконцем, слышала стоны Данилы, выстрелы. Она понимала, что оз-

* Короткая завязка, веревка.

веревшие люди не пощадят и ее, пусть она и жинка самого Колесникова — велики были ее «грехи» и перед мужем, и перед повстанцами. Конечно, если бы она сказала Конотопцеву, что никакого отношения к раненому этому чекисту не имеет, все повернулось бы, наверное, по-другому, ее сейчас и не держали бы здесь. Иван, понятное дело, набросился бы на нее с кулаками: пусть ты, Ксюшка, и ушла сейчас к своей матери, наслушалась сплетней, но мало ли в семье бывает, позорить себя не позволю... Оксана физически уже чувствовала удары, рука у Ивана тяжелая, бил не раз. Но нынче дело битьем не кончится, вон что они делают с людьми! Данилушка! Что же они там с тобой вытворяют, бедный ты мой! И как же это они не подумали — надо было сразу и уходить из Данилиного дома, перевезти парня. А что теперь?

Дверь в ее закуток распахнулась; на пороге, поигрывая плеткой, стоял Конотопцев. Осклабился:

— Просют тэбэ, Оксана Григорьевна. Ходим.

Оксана пошла вслед за Сашкой по длинному-длинному амбару с разбросанными там и тут старыми хомутами, передками от телег, колесами, дугами, клочьями сена, рассыпанным зерном... В амбаре было холодно и пыльно, только что где-то здесь били Данилушку, тащили, видно, по полу, вон кровь.. Изверги! И куда же они его дели? Жив ли он?

Конотопцев привел Оксану в дальний конец амбара, толкнул ногою крепкую дубовую дверь, пропустил ее вперед себя — она очутилась в какой-то кладовке, где ярко и весело горела «буржуйка», было тепло. На топчане у стены сидел мрачный Колесников, а у «буржуйки», ковыряя кочережкой в распахнутой сейчас дверце, — Митрофан Безручко. Был здесь и Трофим Назарук.

— Ну, ты шо ж зто робышь, Оксана? — добродушно прогудел Безручко, захлопывая дверцу «буржуйки» и поднимаясь на ноги. — Мужик твой за народную свободу бьется, а ты врагов наших ховаешь. А? Як це понимать?

Оксана молчала. Стоя у порога, она безотрывно смотрела на огонь, пляшущий в щелях «буржуйки», думала, что жалко ей не себя, а парня, так глупо попавшего в плен, и маленькую дочку, которой расти без матери. Страха она не испытывала. Знала, что ни слезы, ни крики о пощаде не помогут. Иван такой же безжалостный и жестокий человек, как и все, кто здесь сейчас был, и эти люди не остановятся ни перед чем, никаких оправданий

не примут. Да и в чем ей оправдываться? Она поступила так, как подсказало ей сердце, не могла не помочь Даниле с его матерью и раненому этому парню. И как бы теперь над ней ни измывались — не пожалеет о сделанном: жизнь человеку спасала. Может, она чего-то и не понимает в политике, но хватит, насмотрелась на кровь и горе, и власть ей Советов по душе, потому как она за крестьян, хочет, чтобы они жили лучше.

— Ну, шо ж ты мовчишь, девка? — с плохо скрытой угрозой спросил Трофим Назарук. Он подошел к «буржуйке», сунул в печку кочережку, раскалил ее докрасна. Не торопясь потом вынул, запалил «козью ножку», углом торчащую у него изо рта, сплюнул в огонь. — Або язык у тэбэ в одно мисто утянуло, а? Наколбасила, так держи ответ перед командирами и мужем своим. Так, Иван Сергев? Ты-то чего нос опустыв? Твоя жинка...

— С-с-с-сука это, а не жинка! — вихрем взвился Колесников. В один прыжок он оказался рядом с Оксаной, коротко размахнулся, ударил ее в лицо. Оксана пошатнулась; почувствовала во рту кровь и сколовшийся зуб, закрыла рот рукою, ждала новых ударов. Прислонившись к стене, смотрела на Колесникова с ненавистью и вызовом: ну, бей еще, бей! Что ж ты стоишь?!

Но Колесников, лицо которого перекосило гримасой, вернулся на прежнее свое место, сел на топчан, опустил голову, тупо глядел в пол.

Назарук, все еще держащий в руке дымящую кочережку, глядя с сожалением на малиновое, медленно остывающее железо, усмехнулся.

— Сука-то она сука, это всем известно, Иван Сергев. Но хлопец тот, шо в тэбэ бомбы кидав, из чека, большевик. Выходит, Оксана, жинка твоя, с ними заодно.

— Делайте с нею все, шо считаете нужным, мужики, — глухо, не глядя ни на кого, сказал Колесников. — На все народна воля.

— Ну, жинка она все ж таки твоя, Иван, — подал голос Безручко. — Як скажешь, так и накажем. А лучше б сам. Выпоров бы ее, чи шо. Прощать такие дела...— Он крутнул с сомнением головой.

— Ишь, выпоров! — тут же вскочил Назарук. — Гадюку таку. Она с чека заодно, а ты — выпоров! К стенке ее, заразу, вместе с тем хлопцем и Данилой. Заслужили поровну.

Трофим, не выпуская из рук кочережки, приблизился к Оксане, кричал, брызгая ей в лицо слюной:

— С кем спуталась, стерва?! Тебя Колесниковы як путную в дом взяли, жила, горя не знала. А пришла до них с голой задницей. Вишь, сколько на ней надето: и шубка гарная, и шаль...

— Я и работала у них от зари до зари, — не выдержала Оксана, вскрикнула раненой птицей. — Все на мне було — и скотина, и огород, и свекор, когда захворав!.. Ты не знаешь, дядько Трофим!

— Все так. Все знаю! — не сдавался и Назарук. — А ты думала, богатство само в руки дается, а? Вот этими руками, голубушка, да горбом! Так же и батько его. — Он повернулся, кочережкой показал в сторону Колесникова. — И тож от зари до зари. А як ты думала? Это большевики напридумывали: кулаки, мироеды!.. На печи меньше надо было лежать, тогда б у каждого и хлеб, и сало были и...

— И горилка, — подсказал Безручко.

— ...А тут являются эти голодранцы, продотряд — давай зерно! Давай скотину! Во-о, видали?.. И ты, зараза, туда же. Вот прутом тебя по этому самому месту, щоб не сучилась, щоб мужика своего не позорила!.. И с большевиками не якшалась.

Назарук отшвырнул кочережку, сел рядом с Колесниковым на топчан, в сердцах отбросил потухшую цигарку. Решил:

— Казнить ее, и все тут. Не маленькая. Знала, шо вытворяла.

Некоторое время в кладовке стояла жуткая тишина. Оксана, глотая кровь, мысленно прощалась с дочкой, слезы застилали ей глаза. Она понимала, чувствовала, что упади сейчас в ноги к мужикам, начни рыдать и каяться — может, и простят, помилуют. Но она стояла прямая, внешне спокойная, несломленная. Колесников не выдержал, выскочил вон, трахнул дверью. Теперь все, последняя ниточка-надежда оборвана, теперь она действительно в руках этих потерявших голову мужиков, вкусивших уже шальной власти и крови, не знающих сострадания...

— Ладно, нехай до дому идет, — протянул Безручко. — Лица вон на бабе нету. Может, на пользу пойдет разговор. А нет — в другой раз спуску не жди, Оксана. Все припомним.

Она, не чувствуя тела, повернулась, пошла. У широко распахнутых амбарных ворот остановилась, глаза ее в ужасе расширились: из-под кучи соломы торчали ноги в

знакомых стоптанных сапогах. Она подошла, постояла, покачиваясь, прошептала:

— Прощай, Данилушка! Прощай, кохапый мой.

Колесников стоял неподалеку, курил. Смотрел па Оксану, которая неверными шагами пошла от амбара прочь, спустилась с бугра по накатанной блескучей дороге к мостку через Черную Калитву — непокрытая ее голова с венчиком аккуратно уложенных волос гордо и печально покачивалась на обтянутых шалью плечах...

Этой же ночью, тепло закутав дочь, распрощавшись с матерью, Оксана Колесникова навсегда ушла из Старой Калитвы.

...Павла мучили еще двое суток, он жил и не жил эти дни: побоев уже почти не ощущал, нестерпимым огнем горело загноившееся плечо, а в голове стоял красный горячий туман, все перед глазами плыло, качалось...

В какое-то мгновение перед глазами его появилось знакомое лицо — да, это тот самый дед, которого он встретил в лесу под Гороховкой, с которым курил крепкий душистый самосад. Но почему этот дедок здесь? Зачем? Или все это ему кажется? Снится?

Нет, пе снилось. Сетряков, верпувшись из разведки, доложил Конотопцеву обо всем, что видел и слышал: красные части готовятся к паступлению на Старую Калитву, в Россоши стянуты крупные воинские подразделения, ждут конницу, бропепоезд, какие-то пехотные курсы... Рассказал Сетряков и о встрече в лесу с незпакомым и подозрительным парнем, и Сашка тут же повел его в амбар: смотри, дед, не этот ли?

Окпа в амбаре — под самым потолком, маленькие, зарешеченные, пропускают мало света; пыльными квадратными столбами падали лучи на загаженный земляной пол, на кучу соломы в углу, где шевелился, тихо стонал человек.

Сетряков подошел, вгляделся.

— Здорово, Павло! — негромко и уверенно проговорил он.

Павел приподнял голову.

— А-а... Это ты, дед? Здравствуй. Так ты, выходит, в банде?.. Ну, я так и подумал тогда, в лесу... Но ты, дед, еще не совсем для Советской власти потерянный человек, что-то у тебя в глазах человечье...

— Признайся им, сынок, — негромко попросил Се-

тряков. Он оглянулся на широкую амбарную дверь, у которой приплясывали на холоде часовые. — Может, в живых оставют, а? Ты молодой еще.

— Это я уже слыхал, дед. Приходил тут один бугай, в банду к вам звал... Тьфу!..

Павел застонал, с минуту лежал, не шевелясь, уткнув лицо в солому, скрипел зубами. Поднял наконец голову:

— Ладно, дед, иди с глаз. Опознавать меня пришел, да?.. Хороший мы с тобой табачок курили, сейчас бы затянуться пару раз... Ну, ничего. Скоро сюда наши придут, скажи им, дед, что Пашка Карандеев хорошо помер, честно. Ничем Советскую власть не подвел. Иди.

В дверях Сетряков столкнулся с явно подслушивающим их разговор Сашкой Конотопцевым.

— Ну что: этот? — выпучил он в нетерпении бараньи свои глаза.

Сетряков утвердительно кивнул.

— Он самый, Алексан Егорыч. Пашкой Карандеевым назвался. Сдается мне, из чека он. За Советскую власть агитировал...

...Здесь же, в амбаре, Евсей, алчно посверкивая глазами, отрубил Павлу обе ступни; Япрынцев с Коноваловым держали Павла за руки, кто-то из них стал коленом ему на грудь. Потом пленника выволокли из амбара, кинули в сани, стеганули сытого, тревожно прядающего ушами коня, и он понес их к берегу Дона. На высоком его берегу Япрынцев с Коноваловым выбросили истекающего кровью Павла в снег, захохотали: «Ползи, чека, в свою коммунию!»

Умчался снежный вихрь, поднятый санями, стихло все. Блистало в высоком бледном небе яркое солнце, мороз жег руки и лицо.

«А Катя все-таки внедрилась, — думал Павел, глядя перед собою на белый, ослепительно белый, неодолимый теперь простор. — Держись, Катюша, держись, родная...»

Мягко, неслышно пошел снег, стало быстро смеркаться. Пропадали в снежных кружевах очертания берега, далекого леса, глохли в сознании последние звуки. Павел, истекая кровью, слабея с каждой минутой, тихонько полз берегом Дона, оставляя на снегу алый глубокий след...

* * *

Дня через три к бабке Секлетее, квартирной хозяйке Верeникиной, пришли какие-то подростки, мальчик и де-

вочка. Девочка плакала, говорила, что на их хуторе совсем нечего есть и кормить их с братом некому: отца убили еще в гражданскую, мать умерла десять дней назад, схоронили всем миром соседи, а им с Тимошей пришлось идти побираться. Спасибо, в Калитве люди отзывчивые: кто кусок хлеба даст, кто картошки, они кое-что насобирали по дворам, теперь, может, на неделю и хватит.

Секлетея, подперев голову сухим, сморщенным кулачком, жалостливо слушала подростков, смахивала слезы: да, сколько горя коммунисты эти принесли — и войну устроили, и теперь народ мучают, хлеб отымают у крестьянина. Изверги! И как только бог терпит их на земле?!..

Секлетея посадила подростков за стол, налила им горячих пустых щей, велела есть, выставила и чугунок вареной картошки. Позвала постоялицу, но Катя отказалась, не чувствовала голода — не до еды было. Мучила неизвестность, неопределенность ее положения, надо было что-то делать — шел уже, наверное, обоз с оружием для Колесникова, а она ничего не могла предпринять.

Подростки тихо рассказывали о своем житье-бытье, с аппетитом уписывали картошку. Девочка чистила кожуру тонкими, прозрачными пальцами, подавала мальчику, а тот, склонив к столу лобастую темноволосую голову, ел.

Катя вышла к ним, и подростки первыми поздоровались с нею; смущенные ее появлением, отложили было еду, но Катя сказала, чтобы они не обращали на нее внимания, стала спиной к печи, накинув на плечи вязаный платок — бабка Секлетея не очень-то жаловала свою постоялицу теплом. Греясь, наблюдала за подростками, вслушивалась в то, что говорила Таня, жалела их — вот действительно ни отца ни матери не осталось, ходи по дворам, побирайся. Но вспомнила и своих братишек и сестренок, у самой сжалось сердце — что бы она делала, если б не Советская власть, если б не помогли ей определить ребятишек в детский дом?

Катя заметила, что Тимоша как-то странно, очень выразительно смотрит на нее... У нее дрогнуло сердце: неужели эти ребята...

— Сидай и ты, Катерина, — снова позвала Секлетея, и Катя пошла к столу, но ела вяло, неохотно. Квартирная хозяйка дотошно расспрашивала Таню о родителях и других родственниках; оказалось, что больше никого у подростков нет, живи как хочешь. Хата пустая, живно-

сти на дворе тоже давно не стало, все поприели, кончилась и картошка. Теперь вот одна надежда на добрых людей.

— И походите по дворам, правильно, — одобрила Секлетея. — Уж как-нибудь с божьей помощью насобираете. Я тебе, Танька, вилок капусты дам, хоть и подмерз, а ничего, щец сваришь.

— Нет ли чего кисленького, бабушка? — спросила Катя, чувствуя, что надо как-то хоть на несколько минут выпроводить разговорившуюся старуху из горницы — вдруг да ее предчувствия подтвердятся?!

— Капусту квашену будешь? — спросила Секлетея.— Она у меня в погребце.

— Сходи, пожалуйста, что-то кисленького захотелось. — Катя улыбнулась реакции старухи: та понятливо и сочувственно закивала седой маленькой головой — как же, понятно...

Едва Секлетея, накинув на голову драный пуховый платок, вышла, Тимоша сказал вполголоса:

— Екатерина Кузьминична, вам привет от Станислава Ивановича. Пароль — «Князь у синя моря ходит». Мы к вам три дня добирались, не пускали в Калитву. Говорят, нечего тут шататься.

— Ой, ребята, родненькие вы мои! — У Кати на глаза навернулись слезы, так хотелось броситься сейчас к подросткам, обнять их, расцеловать!..

— Екатерина Кузьминична, у нас мало времени, говорите, что нужно передать Наумовичу, — деловито и строго сказала Таня, и Катя подивилась ее самообладанию. Вот так «побирушка»!

...Вошла Секлетея, впустив в избу клубы морозного воздуха, застукотела у порога подшитыми кожей валенками.

— Насилу откинула дверку, — жаловалась она. — Пристыла окаянная, хоть караул кричи. Я уж и вас хотела покликать. Танька, поди-к сюды, я и тебе вилок прихватила.

«Бог ты мой, совсем еще дети! — думала Катя, поглядывая на Тимошу. — Такое опасное дело, пришли в самое логово. Но, видно, нельзя было больше никого послать, взрослый человек очень заметен здесь, тут же вызовет подозрение...» Но как передать детям донесение? Написать все на бумаге? А вдруг они попадут в лапы того же Сашки Конотопцева? Дети не выдержат пыток, признаются — смерть всем троим. Надо что-то придумать. Ду-

май, Катя, думай! Этого варианта, с детьми, они с Любушкиным не предусматривали, они очень надеялись на связных в банде Колесникова...

Теперь они все четверо сидели за столом, ужинали, и Катя расспрашивала Тимошу с Таней о смерти их матери — они ходили в тот день в Богучар менять кой-чего из одежды, а когда вернулись, то тетка Василиса, соседка, побежала им навстречу с криком: померла мать ваша, ребятки, где ж вы ходите?.. А мать им последнее отдавала, сама уж больше недели не ела ничего...

Катя плакала вместе с Таней и Секлетеей, которая все приговаривала: «Ето все из-за них, большевиков проклятых...»

За окнами между тем стемнело; Катя сказала хозяйке: куда, мол, отправлять детей в темень и ночь, пусть переночуют, а утром уйдут. Секлетея согласилась, постелила Тимоше на печи, а Таня легла с постоялицей на кровать.

Много раз повторила Катя то важное, что узнала за последние дни здесь, заставила повторять и Таню. Вслед за Катей Таня шепотом повторяла фамилии бандитов, количество пулеметов, пушек в их полках... обоз с оружием, может быть, уже движется в сторону Старой Калитвы из тамбовских лесов... Обоз — это очень важно, Таня, запомни!..

Потом, когда Таня уснула, Катя лежала с открытыми глазами, слушала лихой посвист ветра и шуршание снега за стеной дома, глухой и далекий лай собак. Посапывала у себя на койке бабка Секлетея, по-детски чмокал во сне губами Тимоша, скреблась где-то под полом мышь.

Катя думала о Павле. Только сейчас дала она волю горячим и нежным слезам. Нет больше на свете Павлуши Карандеева, парня с васильковыми, влюбленными в нее глазами. Умер Паша. Убит!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Боевые действия красных частей против дивизии Колесникова возобновились двадцать девятого ноября.

Накануне, получив из губкома партии и Павловской чека пакеты, Алексеевский проанализировал оперативную обстановку. За минувшие две недели Колесников укрепился организационно, пополнил полки и вооружение, район восстания расширился. Теперь, по существу, вся правобережная часть Дона контролировалась повстанца-

ми. Колесников имел постоянную и надежную связь со штабом Антонова; судя по донесениям разведчика, посылали гонцов и в Донскую область, к Фомину. Одним словом, в штабе Колесникова времени зря не теряли, недооцененный поначалу и в губкоме партии «кулацкий бунт» в Старой Калитве принял четкую политическую окраску. Это обстоятельство особенно беспокоило теперь Сулковского. Федор Владимирович писал Мордовцеву с Алексеевским, что допустить соединения повстанцев ни в коем случае нельзя, это грозит большими неприятностями, Российская Федерация может оказаться в смертельной опасности. Конечно, Колесников исполнит далеко идущие планы Антонова, если к восставшим присоединится крупное соединение Фомина, гуляющего в верховьях Дона, а потом и украинские головорезы батьки Махно... Да, тогда Советской власти придется туго.

Алексеевский и сам понимал: подавить в самом сердце России такой крупный бандитский мятеж, охвативший уже несколько губерний, десятки уездов, привлекший на свою сторону тысячи и тысячи крестьян, — дело чрезвычайно сложное. И тут надо действовать наверняка, решительно и быстро, времени и так упущено достаточно много.

В донесениях Вереникиной фигурировали четкие цифры; пополнились полки «бойцами» и вооружением, есть артиллерийская батарея, при некоторых полках имеются по одному-два орудия, повстанцы хорошо вооружены пулеметами, ручными и станковыми на тачанках, в полках поддерживается дисциплина, ведется активная политическая обработка восставших по воспитанию ненависти ко всему советскому. Общая численность дивизии приближается теперь к десяти тысячам человек, сила грозная. Колесников координирует свои действия с Антоновым. Связь осуществляет некий Борис Каллистратович, особые приметы: дергающееся левое веко, одет в полувоенный френч — все в нем выдает кадрового офицера-белогвардейца. По какому-то каналу идет в банду и информация о красных частях, о их намерениях — это не только действия разведки... Судя по одному из штабных разговоров, Колесников намерен нанести удар по станции Россошь, но к этому надо отнестись с сомнением — не является ли это дезинформацией и не готовится ли удар в другом месте? Из Каменки * движется в Старую Калитву обоз с

* Место дислокации штаба Антонова.

оружием, около тридцати подвод — винтовки, пулеметы, боеприпасы, вооружение для нового полка... Сообщалось здесь же о неудачном покушении на Колесникова, о гибели Павла Карандеева, связника Родионова.

Прочитав последние эти строки, Алексеевский горестно вздохнул, долго сидел, глядя в одну точку. В душе его поднималась глухая ненависть к коварному и жестокому врагу, от рук которого погибли боевые товарищи... Жаль, сорвалась задуманная операция — ударом в лоб уничтожить Колесникова не удалось. Что ж, придется изменить тактику, зайти с другой стороны. Из тысяч крестьян, большей частью силой поставленных кулаками под ружье, одурманенных призрачными посулами о «новой и свободной» жизни, есть люди, которые понимают истину, которые находятся в бандах лишь под угрозой расправы. Есть и такие, которые, опомнившись, пожелают искупить вину перед Советской властью...

Раздумывая об этом, Алексеевский поднялся, вышел из штабной комнаты, направляясь к телеграфу, где сегодня, он это видел, дежурила Настя Рукавицына, комсомолка, рослая, с румяными щеками девушка, поглядывающая на него с откровенной влюбленностью.

Настя, подняв голову от аппарата, вспыхнула, отбросила за спину толстые русые косы, смотрела на него ждущими и послушными глазами. Аппарат что-то отстукивал, ровно ползла узкая бумажная лента, в каморке телеграфистов было по-домашнему уютно, пахло хлебом.

— Здравствуй, Настенька, — сказал с улыбкой Алексеевский, хотя видел уже сегодня Рукавицыну, здоровался с ней.

— Здравствуйте, Николай Евгеньевич, — улыбнулась и Настя, одергивая на себе простенькую, в тон глазам кофточку, туго обтянувшую грудь.

— Что принимаешь? — Он склонился над аппаратом, взял в пальцы ленту.

— Да это наше, железнодорожное, — пояснила девушка, и Алексеевский близко увидел ее загоревшееся лицо. «Ну что уж ты, милая, краснеешь так, — ласково подумал он. — И что нашла во мне — худой, длинный...»

Алексеевский сел напротив Насти, смотрел на нее безмолвно, с удовольствием. Вот, можно сказать, и прошли юные годы, промелькнули. В гимназии, до революции, некогда было с девушками общаться, потом семнадцатый год, гражданская война, партийная работа и ответственная советская должность в Боброве, губчека, Воронеж...

Теперь вот Россошь, борьба с бандитами... А у Насти действительно уютно здесь, тепло. Не спешить бы никуда, расспросить ее о житье-бытье, а вечерком домой проводить. Ему ведь и двадцати еще нет! А много ли за эти годы бывал он на вечеринках, провожал девушек?! Какой там! Все дела, заботы, обязанности... Ладно, разобьют вот они Колесникова, поедет он в Воронеж специально через Россошь, зайдет к Настеньке, поговорит с нею. А сейчас... Нет, сейчас и думать о том некогда, нельзя.

— А ты вроде не в свою смену, Настенька? — спросил он. Девушка ответила, что да, не в свою, сменщик ее, Выдрин, попросил подменить, какие-то дела дома, она и вышла с утра, а так ей в ночь. Алексеевский, больше по привычке, поинтересовался: что, мол, за человек, местный ли, какая семья, родственники, чем до революции занимался, и Настя охотно рассказала, что Выдрин — из Дерезоватого, там у него и мать, и братья, и дядья. А сколько она его помнит — он все тут, при телеграфе, и ее обучал на аппарате... Настя нахмурилась, вспомнив, как назойливо лез Выдрин со своими ухаживаниями к ней, холодные его липкие пальцы вспомнила... бр-р-р... Ну да не будешь же об этом чрезвычайному комиссару рассказывать!.. Она тогда отшила его, Выдрина, сказала, что брату своему, Константину, пожалуется, а его, Настя знала, Выдрин боялся — Костя на расправу был короток... Что еще сказать о нем?.. Родня какая? Да родни, уже сказала, много, и в Новой, и в Старой Калитве. Она слышала, что даже к Колесникову он имеет какое-то дальнее отношение: то ли троюродная сестра за кем-то из Колесниковых, то ли двоюродная тетка.

«Все подтверждается, — отметил себе Алексеевский.— Родственник Колесникова у нас под боком, в самом штабе... Хм!»

Он больше не стал спрашивать Настю о Выдрине, решил, что поручит проверить этого телеграфиста Бахареву, сотруднику губчека, приехавшему сюда вместе с ним; положил перед девушкой зашифрованную телеграмму в Воронеж, Карпунину.

«Надо, пожалуй, глянуть ночью, чем этот Выдрин тут занимается», — думал Алексеевский, возвращаясь в штабную комнату и снова берясь за присланные из губкома бумаги. Внимательно прочитав их еще раз, стал размышлять над донесением Вереникиной, его заинтересовали выводы разведчицы о моральном духе в Повстанческой дивизии Колесникова — дух этот был высок, победы над

красными частями воодушевили повстанцев. Сам Колесников, видимо, окончательно поверил в собственные силы и в успех восстания. Конечно, питает эту веру регулярная двусторонняя связь со штабом Антонова, переговоры о совместных действиях, стремление соединиться. Да и обещанный обоз с оружием — дело нешуточное. Местное же кулацкое население, настроенное антисоветски, помогает Колесникову провиантом, лошадьми и фуражом, при штабе есть хозяйственная часть, которая успешно занимается этими делами на стороне — попросту грабежом мирного населения. С помощью обреза проводится «добровольная» мобилизация лиц мужского пола, есть в бандах и женщины — медсестры и кухарки. Листовки-воззвания губкома партии и губчека, которые разбрасывались над слободами с аэроплана, тщательно собирались и сжигались. Работой этой руководил лично начальник политотдела Митрофан Безручко...

Скрипнула дверь, вошел Мордовцев — бодрый и румяный с улицы, улыбчивый. Он осматривал с начальником станции пути.

— Слышишь, Федор Михайлович! — не удержался Алексеевский, приподняв бумаги. — Листовки наши не доходят до народа, жгут их.

Мордовцев, распахнув шинель, шагнул к столу, через плечо Алексеевского глянул на листок.

— Жаль, — сказал он со вздохом. — Листовка все же лучше пули, кровь невинных льется. Но выхода теперь нет, будем громить Колесникова беспощадно — он занес клинок над самым дорогим для нас... Губкомпарт настаивает на немедленном выступлении, а конницы Милонова все нет, без нее же... Что будем делать? Эшелон явно где-то застрял.

...Спустя два часа штаб вынес решение: начинать боевые действия без конницы. Милонов, командир кавалерийской бригады, направленной в помощь воронежцам и движущейся с юга республики, должен быть на станции Митрофановка через два дня. Завтра прибывает бронепоезд и Воронежские пехотные курсы с пулеметами.

Мордовцев давал последние указания командирам частей, уточнял боевую задачу. Наступление, как и в прошлый раз, осуществлялось по двум направлениям, двумя сводными отрядами — Северным и Южным. Северным командовал Белозеров, ему придавалась артиллерийская батарея и бронепоезд с двумя легкими орудиями. Авангард этого отряда, пехотный полк, должен внезап-

пым ударом выбить бандитов из слободы Евстратовка, двигаться далее на Терновку и Старую Калитву. Южный отряд (им командовал Шестаков), не дожидаясь прибытия кавалерии, обязан нанести удар по Криничной, двигаться потом на Ивановку, Цапково, хутор Оробинский, стремясь в районе Дерезовки соединиться с Северным отрядом. Таким образом, Повстанческую дивизию Колесникова планировалось взять в клещи.

Склонившись над большой штабной картой, вглядываясь в красные стрелы на ней, читая надписи, командиры отрядов и полков делали пометки на своих картах, уточняли задачи.

— Мы полагаем, — заговорил Алексеевский, — что боевые действия займут у нас четыре-пять дней, максимум неделю. Перевеса в силах над Колесниковым мы не имеем, наоборот. Более того, нам противостоит грамотный и неплохо вооруженный враг. Думаем также, Колесников окажет нам прежде всего тактическое сопротивление, это в его интересах — полки разношерстные, сформированы в основном из дезертиров, а это публика ненадежная. Многие местные же крестьяне воюют под угрозой, насильно. За прошедший с начала восстания месяц идеологам банды, конечно, удалось настроить многих крестьян против Советской власти, но я убежден, что наши бойцы и командиры сумеют противопоставить им революционную стойкость духа, твердые убеждения и воинскую смекалку. Наша народная власть в опасности, товарищи, об этом губернский комитет партии просит нас говорить прямо. Говорите бойцам и о зверствах, чинимых бандитами над партийными и советскими работниками, над красноармейцами из продотрядов, над чекистами и милиционерами. Рассказывайте своим подчиненным о далеко идущих планах главарей и вдохновителей восстания...

...Белозеров сильным решительным ударом выбил пехоту Григория Назарука из слободы Евстратовка, оттеснил ее до селения Межони. Бой начался к вечеру и быстро кончился — банда отступила. Помня о коварстве колесниковцев, Белозеров, оставшись ночевать в Евстратовке, выставил сторожевое охранение за пределами слободы, на соседних хуторах: Назарук (Евстратовку и Терновку оборонял Старокалитвянский полк) мог пойти в ответную атаку в любое время.

Ночь прошла спокойно, а к утру банда в триста шты-

ков при сотне конных навалилась на Белозерова. Врасплох, однако, полк она не застала — и на сторожевых хуторах, и на окраинах слободы колесниковцев встретил сплошной ружейный огонь.

Откатившись, бросив на снегу убитых и раненых, Григорий Назарук по приказу Колесникова (тот со штабными наблюдал за схваткой в бинокль) перегруппировал силы: наступающим были теперь приданы два орудия и три пулемета. Но успеха это не принесло — бандиты, проклиная красных и своих командиров, атаковали вяло, трусливо.

— Чего топчешься, как баба на гумне?! — орал на Григория Колесников. — Зайди с левого фланга, по оврагу, ну! И конницу по оврагам пусти, в обход! С Колбинского* ударь, поняв? Баранья твоя голова!

— Да ото ж... И я так думав... — лепетал Назарук вздрагивающими губами, сдерживая под собою нервно танцующего коня. — А хлопцы... утикли, мать их за ногу!

— Хлопцы!.. Утиклы, морда твоя е... — орал Колесников. — Соображаешь, что говоришь?! — Рука его схватилась за эфес сабли. — В тр-р-рибунал пойдешь, бога мать!.. Расстреливай трусов на месте, или самого расстреляем как собаку! Поняв? Никакой пощады своим хлопцам, их по деревням полно, бабы еще нарожают!.. Ну?! Чего стоишь?

Григорий, понуро опустив голову, действительно топтался на месте.

— Да стреляют, сатаны, дуже метко. — Он ткнул дулом нагана в сторону красных: в сером тяжелом утре четко уже проступали соломенные крыши слободы, отовсюду слышались выстрелы. — Як пальнуть, так обязательно кто-нибудь у нас падае... Хлопцы и того...

— Ты, Григорий, сполняй приказ, — нахмурился, побагровел и Безручко, сидевший тяжелой тушей на громадном вороном коне. — А шо хлопцы падають... так на то она и война.

— Не тяни время, Назарук! — не выдержал Нутряков, толкая коня Григория своим. — Дорога́ каждая минута. Красных нужно выбить из Евстратовки через час, не больше. Иначе к ним явится подкрепление, и тогда будешь кусать локоть. А людей — не жалеть! Командир правильно говорит.

* Имеется в виду хутор Колбинский.

— Ладно, я поихав, — покорно согласился Григорий и злобно стеганул взвившегося под ним коня.

Назарук с орудиями и пулеметами обрушил сильный огонь на фланги Белозерова, конница же — скрытно, оврагами — ушла в обход Евстратовки, скоро слобода была почти полностью окружена.

— Вот так, — на обветренном лице Колесникова дергались желваки. — А то «хлопцы»... «утиклы»... Вояки! Сам трусишь, и хлопцы твои в штаны понаклали.

Штабные, сдерживая коней, посмеивались: прав дивизионный командир, чего там! Небольшая хитрость — и пожалуйста: скоро этому красному полку крышка.

Отсюда, с крутолобого заснеженного бугра, хорошо видно поле боя. Теперь можно было точно определить, какими именно силами обороняется полк Белозерова, понять, где у него уязвимые места. Колесников видел, что за Евстратовку бьется грамотный и смелый командир — он умело организовал наступление, занял сейчас надежную, заранее продуманную оборону... Ну что ж, красные, по-видимому, не собираются отступать, такой у них приказ, тем хуже для них — часы их сочтены. Вот-вот появится со стороны Колбинского конница Григория Назарука, ударит полку в тыл... Интересно, не тот ли это Белозеров, которого он знал еще в четырнадцатом? Надо будет потом посмотреть на убитого, или сказать, чтобы Опрышко привез его документы.

— Ну вот и конница, — обрадованно вздохнул начальник штаба, нервно разглядывающий округу в бинокль. — Сейчас порубят капустки, порубят. Это они умеют...

Но что это? Что за отряд на дороге? Откуда взялся? Неужели к красным пришло подкрепление?!

— Бачишь? — Безручко коленом толкнул Колесникова. — Эх, Гришка, морда твоя немытая. Такую возможность упустил. Ну, погоди, харя поросячья!

Да, на выручку Белозерову шел уже полк Аркадия Качко, на ходу разворачиваясь в боевые цепи, бесстрашно принимая на себя удар конницы. Дружно ахнули винтовочные выстрелы, и началось столпотворение: раненые и убитые лошади со всего маху опрокидывались на землю, всадники летели через их головы с криками ужаса, задние напирали, топтали и добивали упавших, а, вылетев из давки на плотный ружейный огонь, сами сталкивались с теми, кто летел еще по инерции вперед. В какую-то минуту перед развернувшимся полком Качко и

правым флангом воспрянувшего духом Белозерова образовалась мешанина: вскидывали головы и ржали смертельно раненные лошади, дико, нечеловечьими голосами орали всадники, падали с коней, кто-то вскакивал, по его тут же сбивали в снег и грязь, хрустели под копытами коней кости; конница смешалась окончательно, повернула назад, но бежать ей мешал Григорий Назарук, полковой, — с наганом в руке он носился на коне взад-вперед, стрелял в тех, кто намеревался отступить. После очередного залпа красных Григорий дернулся телом и сполз на землю, в грязный, истерзанный копытами снег, а конница, никем теперь не удерживаемая, покатилась восвояси — в овраг, из которого и появилась; вертелись над крупами метлы лошадиных хвостов... Побежала за конницей и пехота.

— Трусы!.. Подлюки! — вне себя орал навстречу бегущим и скачущим Безручко, дергал из кобуры застрявший наган, а в следующую минуту уже палил в чье-то безумное, с вытаращенными пьяными глазами лицо. — Наза-а-ад!.. Пулеметы где?.. Назарук где?! Григорий!..

— Убили Назарука-а! — прокричал мчащийся мимо какой-то расхристанный, с окровавленной физиономией всадник, и Безручко так и остался с раззявленным, удивленным ртом.

— Пора и нам, Иван Сергеевич... того. — Нутряков выразительно посмотрел на Колесникова.

— Чего... «того»?

— Да тикать, чего! — сплюнул с сердцем Безручко. — Красные, бачишь, артиллерию ладят, сейчас нам шрапнели под зад сыпанут, чтоб сидеть удобнее було... Тикаем, командир!

— Надо бы тело Назарука взять, — сказал Колесников, привстав на стременах, вглядываясь в поле боя.

— Яке там тело, Иван! — Безручко затравленно оглянулся. — Дерьмо за собою таскать. Поихалы, поихалы! А то красные зараз и из нас с тобою тела зроблять!

Остатки Старокалитвянского полка с командным резервом Колесникова удирали с поля боя. Многие, побросав оружие, бросились кто куда — в те же спасительные овраги, в свежие еще снарядные воронки, в скирды соломы...

Над Евстратовкой стояла грязная снежная туча, солнце с трудом пробивалось сквозь нее, печально оглядывая корчившихся или уже неподвижно лежащих на земле лю-

дей и лошадей, загоревшуюся на краю слободы избу... Поднимался к самому небу и пронзительно-отчаянный, рвущий душу женский крик...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В бою у Евстратовки под Демьяном Маншиным убило коня: он вдруг подломил обе передние ноги, ткнулся мордой в землю. Демьян с размаху полетел через его холку, больно обо что-то ударился (не иначе, под снегом оказался камень) и потерял сознание.

Очнулся Демьян скоро, сгоряча вскочил на ноги, собираясь что-то предпринять — ловить ли нового коня (вон их сколько носится без всадников), бежать ли на красных врукопашную. Но в следующее мгновение понял, что ничего делать больше не придется: от полка их и след простыл, а по полю разъезжали какие-то верховые, склоняясь над убитыми и внимательно вглядываясь в их лица. Поодаль стоял высокий, с красными крестами фургон о двух лошадях, возле него суетились незнакомые Маншину люди, слышались чьи-то голоса, стоны.

Маншина заметили; трое конных (среди них один был в кожанке и черной кубанке с красным верхом) неторопливо поскакали к нему, и Демьян судорожно цапнул с земли обрез, передернул затвор.

— Брось оружие! — властно крикнул всадник в кожанке и выстрелил в воздух. — Кому говорю?!

Демьян, секунду поколебавшись, отшвырнул обрез, затравленно оглянулся. Бежать было бессмысленно, на ровном снежном поле его хорошо видно, а овраги далеко; оставалось одно — поднять руки, что он и сделал. Стоял так, шмыгая кровоточащим носом, без малахая, в бабьей поношенной дохе. Вид у него в этой заячьей дохе был нелепым и смешным: полы не доставали до колен, зато по ширине она вмещала двоих таких, как Демьян. Обернувшись дохой, Маншин перепоясал себя веревкой; веревка, понятное дело, портила вид, но хорошо держала тяжелый обрез, его можно было удобно выхватывать, не выпадет и на скаку. В бою Демьян палил без особого старания, попадал ли в красноармейцев, нет ли — одному богу известно, но старался не отставать от эскадронного командира Ваньки Поскотина, оравшего что-то грозное и скакавшего чуть впереди Демьяна — обрез в его руках дергался, изрыгал огонь и смерть.

Поначалу они всей конницей успешно теснили красных, внезапно ударив с хутора Колбинского, потом красноармейцев стало гораздо больше, подоспела им откуда-то выручка, конницу Григория Назарука они расстреливали теперь из винтовок и пулеметов. Скоро тряхнули землю и орудийные взрывы. Упал справа Ванька Поскотин — корчился на земле, схватившись за сразу намокший кровью живот; конь, высоко задирая тонкие в белых чулках ноги, перепрыгнул через него, понесся в сторону; упал еще один калитвянин, с Чупаховки, кажись, сынок Кунахова, кулака. Потом закричали несколько голосов: «Назарука убило-о-о...» Но к Григорию, повисшему на коне, никто не подскакал, не перекинул на свое седло, не потащил коня в поводу — и Григорий брошенным кулем сполз на землю...

Вокруг палили из винтовок и обрезов, махали клинками, матерились, падая на избитую, смешанную со снегом и кровью землю. Стоял над полем боя стон, солнца не стало видно, морозный день померк. Теперь вблизи Демьян видел лишь оскаленные лошадиные морды, перекошенные в дикой злобе лица людей, взблескивающие жала клинков, сползающие с седел окровавленные, согнутые тела... Конь под Демьяном слушался плохо: боялся гнедой и выстрелов, и испуганного ржания других лошадей, и криков. Конь ему достался нестроевой, пахали, видно, на нем или воду возили; в бою гнедой совсем задурил, шарахался из стороны в сторону, и Демьян еще в самом начале сражения едва не вылетел из седла: подпруга как назло ослабла, елозила по конскому животу, тут уж не до прицельного боя, пали́ куда придется. Когда упал Ванька Поскотин, эскадрон сам собою поворотил назад, понукать и сдерживать его было некому, не нашлось такого смельчака; повернул и Маншин, но в это время зататакал пулемет, и коня под ним не стало.

Конные подъехали; настороженно, не опуская наганов, смотрели на Демьяна. Старший, в кубанке, сказал:

— Посмотри-ка, Макарчук, в штаны он еще один обрез не засунул?

С низкорослого, беспокойно переступающего ногами коня, косящего на Демьяна диковатым фиолетовым глазом, легко спрыгнул на снег коренастый, сильный в плечах парень в красноармейской шинели, быстро обыскал Демьяна.

— Нету, кажись, ничего, Станислав Иванович, — до-

ложил он. — Опусти руки-то, пугало. Бабью доху напялил, руку на власть поднял. Тьфу!.. Где доху-то взял?

Демьян открыл было рот, хотел объяснить: мол, по случаю купил, по дешевке, нехай и бабья, зато тепло в ней, но его не стали слушать. Человек в кожанке вплотную подъехал к нему, вгляделся.

— Ранен?

— Не... Упал я, зашибся. — Голос у Демьяна дрожал.

— Упал! — передразнил его Макарчук. — Задницу зашиб... Сидел бы себе дома!.. Нет, туда же, против власти выступать. — Он презрительно сплюнул.

— Ды-к... мы... Силком, стало быть.

— Силком! А голова у тебя для чего?

— Оставь его, Федор, — приказал человек в кожанке. — Допросим его, как положено. Давайте с Петром в хутор, а я вон к начальству пока заверну.

Верховые повели Демьяна к видневшемуся за бугром хутору, к тому самому, откуда калитвянская конница скрытно напала на красных; теперь же тут никакой конницы и в помине не было, Евстратовка вся занята множеством красноармейцев — это хорошо было видно даже отсюда, с поля. «Отвоевался! — тоскливо сжалось у Демьяна сердце. — Расстреляют красные, не иначе, допросят сейчас — и к стенке. Наслышены. Макарчук этот и глазом не моргнет».

Демьяну стало жалко себя, он заплакал, сморкался в кулак. Дороги перед собою почти не видел, да и не смотрел на нее: шел между конями, между круглыми их боками, глядя на снег, на копыта лошадей, слушая молодые и возбужденные голоса конвоирующих его всадников. Они еще не остыли от боя, говорили о слаженности действий красных полков, о том, что какой-то Качко поспел в самое время, иначе Белозерову пришлось бы туго. Жалко, что Колесников драпанул, среди убитых и раненых его, кажется, нет, надо будет потом походить еще по полю боя, хотя бы с этим вот «пугалом» — он наверняка знает главаря в лицо, видел...

«Убьют, убьют, — тягостно думал в это время Демьян. — За Колесникова, за доху эту, провались она. Станут теперь разбираться, тот, в кожанке, до всего дойдет, все прознает...»

— Чего слюни распустил? — крикнул сверху Макарчук. — Как грабить да убивать, смелый, а тут... ишь!

— Да не убивал я никого, хлопцы! — жалостливо вы-

крикнул Демьян. — И стрелять-то как следует не умею, в ваших и не попадал, поди. Палил, да и все.

— Палил... А чего, спрашивается, палил? Бросил бы дуру эту да с повинной. Глядишь, и простили бы... А теперь... Теперь сам понимаешь — трибунал. — Макарчук выразительно хлопнул рукоятью плети по голенищу сапога.

— Заставили меня, хлопцы! — Демьян схватился за стремя. — Гончаров у нас да Григорий Назарук был... Это ж не люди, хуже собак. У них не откажешься, у них разговор короткий.

— Нам тоже с тобой долго говорить нечего, — отрубил Макарчук, и сердце Демьяна ушло в живот.

— Контрреволюционный мятеж против законной власти, — сказал молчавший до сих пор второй верховой с узким, обветренным лицом и красными от бессонницы, видно, глазами. — Куда короче?

Вскоре они добрались до Колбинского, хутора из десятка, не больше, домов под толстыми соломенными крышами. У одного из них высился громадный голый тополь, возле него и остановились. Съезжались к хутору и другие конные, двигался мимо, в направлении на Терновку и Старую Калитву, хорошо вооруженный полк красных. Слышались вокруг уверенные молодые голоса командиров.

«Такая силища, какому там Колесникову сломить»,— вывел для себя Демьян.

* * *

Наумович допрашивал Маншина вечером, при слабом свете керосиновой лампы. Сидели они с ним в горнице, при закрытых дверях, за которыми топтался, переминаясь с ноги на ногу, часовой. В избе было холодно. Наумович дышал на озябшие пальцы, с трудом водил карандашом в мятой записной книжке, записывал ответы Демьяна. Себя он велел называть «гражданин следователь», представился при этом, мол, из чека, и зовут его Станиславом Ивановичем. Имя-отчество Демьян запомнил, а фамилию сразу забыл. Вошел как раз тот, здоровый чекист, Макарчук, сел рядом со следователем и положил на стол кожаную сумку с чем-то тяжелым, металлически звякнувшим, выразительно глянул на Демьяна. «Кандалы, — мелькнуло у того в мозгу. — Ну и слава богу, хоть не сразу».

— Фамилия твоя? — строго спросил Наумович и нацелил карандаш в блокнот.

— Маншин. Демьян Васильев, — поспешно и угодливо отвечал Демьян.

— Какой нации?

— Из хохлов мы.

— На Украине, что ли, родился?

— Не, зачем?! Тута, в Старой Калитве.

— Значит, русский. Годов сколько?

— Да сколько... Тридцать три сполнилось на паску.

— Ишь, возраст Иисуса Христа, — вставил Макарчук. — Верующий?

— А як же! — В доказательство правдивости своих слов Демьян хотел перекреститься, но не посмел.

— Родители твои кто? Какое происхождение?

— Батьки нема, помер, мать Федосья, два брата, Семен да Иван, жинка...

— Братья тоже в банде?

— Семен был у Колесникова, убили ще в ноябре. А Иван — у вас, у красных.

— У красных!.. Ты-то чего в банду полез? — Наумович поднял на Маншина сердитые глаза.

Демьян сглотнул слюну, молчал. Выдавил потом:

— Наган приставили к башке, гражданин следователь Станислав Иванович... тут не шибко откажешься.

— Та-ак, допустим: вступил в банду по припуждению. Партийная принадлежность какая?

— Шо?

— Ну, в партии какой-нибудь состоял? Или состоишь? Может, у эсеров, или, там, социал-демократов...

— Ни... Про цэ я нэ розумию.

— Грамоту знаешь?

— Ни. Кресты тильки на бумаге могу ставить.

— Ясно. На какие средства жил до банды?

— Да на яки... Работав. Больше на кулаков — на Кунахова, Назарука... Они хлеб давали. Когда картохи. Все так жили.

— Вот и шел бы против них воевать, дурья твоя голова! Они из тебя кровь сосали, а ты за них же против власти пошел! — снова не удержался Макарчук.

— Да вы тоже... — заикнулся было Демьян, но прикусил язык.

— Что — мы? — спросил Наумович. — Говори, не бойся.

— Да шо... С разверсткой этой. Грабиловка ж форменная, гражданин следователь Станислав Иванович! Все подчистую гребли. Хлеб, картохи, буряки... Главное, шо обидно: сколько едоков в семье, столько и брали. У Кунаховых, к примеру, трое детей да их двое, значит, пять долей назначали. А у соседа моего восемь душ детей, они двое да бабка старая, не ходила уже. Тоже с каждой души, получается одиннадцать долей, так? У Кунаховых запасов понапрятано ще на три семьи, а у соседа, Рябой его по-уличному, вошь на аркане да блоха на цепи. Разверстку все одно — сдавай...

— Гм... Ну, может, и перегнули... А у тебя, Маншин, какое было хозяйство?

— Да яке... Та же вошь да ще мыши под полом. Кота и того нема. Кормить нечем.

— И что же — Колесников вам хорошую жизнь обещал? — Наумович откинулся на стуле, смотрел на Демьяна с интересом.

Тот опустил голову:

— Та обещав... И Кунахов с Назаруком тож сулили, агитировали. Казали, шо заживем свободно, без Советов, хлеба будет от пуза.

— Брехали они вам все, Маншин! — Желтый язычок лампы дернулся от резкого голоса Наумовича. — Вы не за себя, за кулаков воевать пошли. Им надо Советскую власть уничтожить, коммуны разогнать, землю снова к рукам прибрать. И опять ты, Демьян, батрачить на него пойдешь, понял?

Маншин дернул плечом — вам, мол, виднее.

— Хто на!

— Вот тебе и хто на! — спокойно возразил Наумович. — Я тебе рассказываю, чтоб ты понял. Нельзя же, как бычку на веревочке, к бойне идти. Снесут башку, а за что — и не поймешь.

— Кончайте скорей! — Нервы у Демьяна не выдержали. — Бычок, веревочка... Что ж теперь?! Поймали, значит, кончайте.

— Трибунал разберется.

«Да, в трибунале блины быстро пекутся, знаем», — повесил голову Демьян.

Наумович смотрел на его склоненную голову, думал о своем. Расстрелять человека в этой ситуации проще всего — трибунал примет решение об этом в короткий срок. А Маншин мог, наверное, принести пользу. Может быть, вернуть его в банду? Ведь заблудшая душа, выну-

дили вступить в Повстанческую дивизию, приказали взять в руки оружие, пойти против Советской власти. Все это так, но нельзя забывать и о тех злодеяниях, которые уже совершил этот человек. Можно ли ему сочувствовать, тем более — прощать? Вряд ли. Пусть сам искупит свою вину.

— Ты вот что, Мапшин, — начал Наумович трудный разговор. — Жить хочешь?

— Ха! — Тот выразительно дернул плечами. — О чем вопрос?!

— Давай-ка возвращайся в банду.

— Зачем? Убьют ведь, гражданин следователь Станислав...

— Трибунал тебя тоже вряд ли простит.

Мапшин, медленно соображая, смотрел в лицо чекисту.

— Помогать вам, да?

— Да.

Демьян шевельнулся на табурете, лицо его в недельной щетине помрачнело еще больше.

— Мне не поверят, гражданин следователь... Почему вернулся? Почему отпустили?

— Это мы устроим, не твоя забота.

— Что я должен робыть там?

— Колесников нам нужен. Живой или мертвый.

«Вот оно что! — подумал с тоской Демьян. — А попробуй-ка... К Ивану Сергеичу и близко не подступишься... Но соглашаться, мабуть, надо. Надо! Попрошу следователя дать время подумать».

Макарчук отвел его в небольшой, но крепкий с виду сарай, наказал двум красноармейцам с винтовками: «Этого бандита стеречь пуще глаза. Понял, Коровин?» Коровин — рукастый, с забинтованным глазом — молча кивнул, втолкнул Демьяна в темное нутро сарая, где, оказывается, были другие пленники. На ощупь Демьян пробрался в дальний угол, сел на какие-то оструганные жерди, затих. К нему шепотом обращались: из какого полка, сам чей будешь, но Демьян как воды в рот набрал — не отвечал, махал только рукой.

На рассвете он постучал в дверь, сказал часовому, чтоб позвал следователя. Коровин грубовато ответил, дескать, допрашивает Станислав Иванович, жди. А через полчаса, не больше, зататакал поблизости пулемет, захлопали винтовочные выстрелы, занялся суматошный, скоротечный бой. Люди в сарае (с Демьяном их было чело-

век двенадцать) попадали на пол, на холодную землю, кто-то радостно матерился, нетерпеливо приподнимал голову к серым, рассветным щелям, стараясь увидеть и понять, что же там, снаружи, происходило. Потом послышался знакомый голос:

— Пленных не брать, Макарчук!

Скоро забил поблизости ручной пулемет, трахнул рядом с дверью винтовочный выстрел, потом еще... За дверью охнули, упало тело. Молодой испуганный голос закричал: «Макарчука ранило, Станислав Иванович!»

— В тачанку его, живо!

Подлетели копыта, фыркали невидимые, встревоженные лошади, слышалось заботливое: «Осторожно... В грудь его... О-ох...»

Потом гикнули, лошади сорвались с места, и сразу же ударила с тачанки тугая пулеметная очередь.

— Уйдет чека, уйдет! — злобно бил кулак о кулак лежавший у самой двери детина в рваной, местами прогоревшей шинели — он наблюдал за всем происходящим в щель. — Кони у них добрые, не догнать!.. Ах, суки-и... — И вдруг замолк, странно и быстро ткнувшись носом в присыпанную сенной трухой землю, в пол: шальная пуля пробила крепкие дубовые доски...

— Царство тебе небесное, Фрол! — отчетливо сказал лежащий рядом с Демьяном мужик и неловко, торопливо перекрестился.

Скоро все стихло. Чекистский отряд ускакал, отстреливаясь. К хутору шла какая-то конница — мелко и глухо подрагивала под копытами сотен лошадей земля. В сарае все повскакивали, молотили в дверь чем придется, а с той стороны уже сбивали замок железом, ломали доски...

Первым, кого увидел Демьян, был Колесников. Он сидел на коне — посмеиваясь, поигрывая плеткой, заглядывал вовнутрь сарая и в лица бывших его пленников. Рядом с атаманом гарцевали на неспокойных, разгоряченных бегом конях Сашка Конотопцев и Марко Гончаров.

— Доброго ранку, земляки! — насмешливо проговорил Колесников, узнавая в пленных своих бойцов. — Шо это вы тут поховались, а? Мы воюем, а вы в сарае дрыхнете...

Пленники переминались с ноги на ногу, потупили головы, шапки даже поснимали — в сером холодном утре лица у всех были одинаковые, виноватые. Потом кину-

лись к своим освободителям, возбужденно гогоча, обнимаясь...

«Вот видишь, как все обернулось, гражданин следователь Станислав Иванович, — думал Демьян, заново напяливая шапку, отряхивая от соломы доху. — Колесников, выходит, спас меня от трибунала...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Оторвавшись от красных частей и сделав за ночь крюк, Колесников ранним утром тринадцатого ноября с поредевшим своим войском снова появился под Евстратовкой, с тем чтобы двинуть теперь на Криничную и Дерезоватое, а потом и на Талы, где, по данным разведки, зажиточный народ был настроен против Советской власти и хотел примкнуть к восставшим.

Во вчерашнем бою дивизию основательно потрепали. Старокалитвянский полк во главе с новым командиром Яковом Лозовниковым почти целиком разбежался. При Колесникове остался резерв, за ночь он подсобрал коекого из хуторов и балок, освободил и пленных в Колбинском. Он знал, что на Криничную шел крупный отряд красных, знал как фамилию командира этого отряда — Шестаков, — так и то, что кавалерийской бригады Милонова все еще нет в Митрофановке; Шестаков располагает только пехотой, пулеметами и орудиями — самое время ударить по нему. Колесников приказал Дерезоватскому полку подтянуться к Криничной, сам теперь гнал к слободе со своим резервом, точно рассчитав и время нападения на Южный отряд, и боевые его возможности.

Шестаков не выдержал мощного удара Колесникова — силы были неравные, решающий перевес имела конница: два эскадрона под командованием Ивана Позднякова оттеснили красные части от Криничной, вынудив их спешно отступать к Митрофановке. В саму Митрофановку Колесников не пошел, не было в том нужды: во-первых, с отрядом Шестакова (так он считал) было покончено, красные разбиты наголову, во-вторых, надо идти назад — Старую Калитву заняли Белозеров и Качко. Новую Калитву пока еще держал в своих руках Богдан Пархатый, но если не помочь ему — падет и Новая Калитва.

Колесников спешил, понимая, что должен вернуть Старую Калитву во что бы то ни стало — ее переход в руки красных дурно влиял на войско. Хоть и старался

Безручко со своими речами, дух в полках был не ахти: многих убили, многие сами сбежали.

К полудню Колесников вернулся в Криничную; не останавливаясь, двинулся на Новую Калитву — на добрый километр, а то и больше растянулось по заснеженным холмам его войско. Мороз нынче малость отпустил, снег был мягкий, лошади шли спокойно, не скользили. Над всадниками вились дымки самокруток, кто-то в группе конных рассказывал матерный анекдот, его слушали охотно, гоготали. За конницей шла пехота, катились пулеметные тачанки, подпрыгивали на ухабах орудия. Орудий осталось два, снарядов — девять; с такой артиллерией много не навоюешь, можно было пушки и бросить, таскать их по снегу одна морока. Но Колесников приказал орудия беречь: снаряды еще можно отбить у красных, а даже два выстрела из орудий могут в иной момент боя остудить пыл противника.

Колесникова поддержал начальник штаба Нутряков, осунувшийся за последние дни боев, злой, с набрякшими глазами и заросшим подбородком. Нутряков почти всю дорогу прикладывался к фляжке с самогоном, пил, запрокинув голову, и острый кадык судорожно дергался в такт глоткам. Нутряков был зол на Колесникова — тот не разрешил ему довести начатое дело с «эсеркой» Верениkиной до конца, не поверил в подозрения разведки и в тот хитроумный план, который они выстроили вместе с представителем антоновского штаба. «Ты мог ее и так покрыть, без проверки, — грубо сказал Колесников начальнику штаба. — Не велика цаца, пусть и наша. А если красная — так и того проще...» Словом, голова у Колесникова была занята другим, Нутряков сам решил довести проверку Верениkиной до конца; вот кончатся бои, он займется этой «барышней» из чека как следует, вздернет ее с помощью Евсея на дыбу — заговорит милая, у него не такие говорить начинали... А из Новой Калитвы ты никуда не денешься: и Пархатому, и Бугаенко, коменданту, строго-настрого приказано следить за Верениkиной в оба. Да и хлопцы есть там надежные, им сказано о ней, что следует...

Выглотав почти всю флягу, Нутряков сидел теперь на коне обмякший, полусонный, безразличный ко всему. Осуждающе поглядывая на него, морщась от боли, ехал рядом Митрофан Безручко, проклинал красных: шальная пуля куснула его в бедро, застряла в мякоти. Зайцев, коновал, расковырял рану, пулю достал, но бедро

посинело, сидеть и то было больно. Безручко однако храбрился, от санитарной повозки отказался — не до того, мол, эскулапная твоя душа. За народом надо теперь смотреть да смотреть, а я в повозке валяться буду. Вон и Сашка Конотопцев что-то скис, держался со своим взводом разведки особняком, сбоку войска; но от его взвода то и дело отлетали два-три конных, щупали округу — нет ли поблизости красных. Ну, хоть работает Сашка, и то слава богу. А начальник штаба совсем скурвился, хлещет и хлещет самогон... Колесникову, похоже, все трын-травой: надулся, как сыч, молчит...

Колесников действительно ехал неразговорчивый, мрачный. Уже первый настоящий бой показал ему главную слабость всей этой разношерстной сборной орды, которая именовалась Воронежской повстанческой дивизией — трусость. И эскадроны, и полки, и отдельные взвода были храбры и решительны, если видели перед собой слабого. Ах, с каким упоением и лихостью вырубали они малочисленные гарнизоны в волостях и мелкие продотряды красных! Но стоило им увидеть перед собою регулярные части Красной Армии, тот же полк Качко, — и куда девались боевой запал и лихость?!.

Подумал Колесников и о себе; отчетливо понял, всей вздрагивающей кожей ощутил, что за ним лично охотятся, что кто-то задумал уничтожить его во что бы то ни стало и будет этого добиваться. Колесников вспомнил того чекиста, решившегося на отчаянный шаг, не пощадившего ради этой цели жизни...

Судорожно передернув плечами, он невольно оглянулся — нет ли и позади, за спиной, таких же, как у того чекиста, ненавидящих глаз? Не подслушал ли кто его мысли? Не видит ли кто его страха?

Усмехнулся: кто может знать чужие думки? И кто может из его войска ненавидеть его, желать ему смерти? Чушь! Но парень тот, чекист, шел ведь в Калитву не на голое место — Нутряков доложил ему, что Степан Родионов, которого они казнили, связан был с чека. Нет ли среди его подчиненных нового Степана?.. Ладно, что теперь думать об этом?

За месяц с небольшим столько пролито крови, столько совершено злодеяний, что никого из них, особенно командиров — Безручко, Гончарова, Конотопцева, Нутрякова, а в первую голову его, Колесникова, не простит ни один даже самый гуманный суд. Григорий Назарук — этот кончил свой земной путь, кончат так же сегодня-

завтра и другие: красные не успокоятся, пока не разобьют их. Эх, поддержал бы Александр Степанович — ведь обещал, письма слал, гонцов... А на деле...

У Антонова, видно, свои заботы, не до Колесникова ему — воюй как знаешь и умеешь. Навалились бы гужом на этого Мордовцева с Алексеевским, только бы пух от них полетел. А теперь... Теперь, по всей видимости, бои предстоят затяжные, кровопролитные. Красные явно хотят взять его в клещи, не просто так они пошли на него с двух сторон. Но они слишком прямолинейны, идут напролом, выдают свои намерения с головой. Конечно, у них крепко сбитые воинские части, бесстрашные отряды милиции и чека, боеприпасы, воевать с ними непросто, но он, Колесников, противопоставит им маневр, изматывающую, изнуряющую тактику ночных нападений, быстротечных боев, неожиданных отходов. Ему надо беречь теперь не такое уж и многочисленное войско, поддерживать в нем дух непобедимости, веры в успех — ибо только они, эти гогочущие за спиной люди, дадут ему возможность видеть еще голубое небо и яркое солнце, ощущать мягкий податливый снег, радоваться самой жизни, просто дышать. Другие же люди, прежде всего чека, отнимут у него все это в один миг, не колеблясь и не раздумывая, — в чека с врагами не церемонятся, он это хорошо знал. Для них он — преступник, бандит, руки у которого по локоть в крови. Да что это он? Какой он преступник? И он сам, и подчинившиеся ему люди воюют за справедливое народное дело — освобождение всего Черноземного края и России от власти большевиков. Антонов поднял против них тысячи и тысячи людей, и чем черт не шутит, глядишь, и сбудутся его обещания — посадить Колесникова головой Воронежской губернии... Правда, чем черт не шутит! Воронеж — не за горами.

Колесников усмехнулся своим мыслям — какой там Воронеж! Все еще в Калитве топчутся, ни одного уезда взять не смогли, хоть и наскакивали на те же Калач, Богучар, Россошь.

Эти мысли и собственная неустойчивость разозлили Колесникова. Он стиснул зубы, ехал некоторое время, ни о чем не думая. Даже рукой на себя махнул — а, скорей бы все это кончалось. Вон Гришка Назарук... В следующее мгновение передернул обвисшими плечами, ощетинился: ну нет, Иван Сергеевич, шалишь! На тот свет еще успеешь, а этого уж больше не будет. По-

смотри, он какой: снег белый, небушко голубое, чистое, лошадь под тобой живая, горячая, воздух свежий, прозрачный, так и льется в грудь, распирает ее радостью, токами жизни. И чего бы не радоваться, чего хандру на себя напускать? Ведь разбил он красных и в тот раз, две недели назад, и теперь, под Криничной. Сейчас двинут они с Богданом Пархатым на Старую Калитву, выкинут оттуда красных, Белозерова и Качко... Бог ты мой, подумать только: в его родном доме хозяйничают безграмотные лапотники!.. «Убивать. Убивать! — скрипанул Колесников зубами. — Никого не жалеть, никому ничего не прощать. Ни своим, ни красным!..» Безручко прав: хлопцев много по деревням, взамен убитых и раненых они поставят под ружье новые тысячи. Страшно остаться трупом, бездыханным бревном на снежном таком вот поле, ничего не видеть и не слышать, не чувствовать; страшно даже подумать о смерти, о том, что не станет его больше на земле, что не он, Иван Колесников, а кто-то другой будет сидеть на этом вот послушном и хорошем коне, дышать, пить, тискать бабу... Колесников вспомнил взгляд чекиста, которому приказал отрубить ноги и бросить умирающего в снег, отчетливо представил его последние минуты... «Жи-и-ить... Жи-и-ить!» — застонал он в нечеловеческом, животном страхе, затопившем все его существо до краев, помутившем разум, — покачивался в седле, хватал руками воздух, словно искал в нем последнюю, такую ненадежную опору...

Безручко встревоженно окликнул его:

— Ты чего это, Иван? Чи захворав?

Колесников какое-то время не слышал и не понимал начальника политотдела. Открыл глаза, дико, затравленно посмотрел вокруг, тщетно стараясь унять дрожь во всем теле; а зубы, проклятые, сами собою клацали, били чечетку...

— Да так я, так... — выдавил он наконец, и осипший его голос был скорее похож на отрывистый собачий лай. — В голове шось потемнело...

— М-да-а...— не поверил, протянул неопределенно голова политотдела и зычно крикнул начальнику штаба: — Дай-ка фляжку, Иван Михайлович! Чого ты один до нее присосався?! Ивана Сергеевича вон мутит!

Подождал, пока Колесников сделал несколько судорожных больших глотков, сам припал к алюминиевому горлышку жадными, настывшими на холодном ветру губами...

* * *

Колесникова между тем настигали три эскадрона кавалерийской бригады под командованием Милонова. Бригада прибыла наконец на станцию Митрофановка, эшелон еще разгружался, а три эскадрона, выгрузившиеся первыми, бросились за повстанцами в погоню.

— Орудия поворачивай, собаки! — заорал Колесников, быстро оценив ситуацию. — Руденко, мать твою!.. Шо зенки вылупил?! Командуй, ну?! По коннице, залпами!.. Сбивай их с коней, поняв? И пусть хоть один с поля побежит — тебя зарублю, ну?!

Колесников, мечущийся среди своего растерянного войска на храпящем, вскидывающем передние ноги коне, орал до хрипоты, до пены на губах. Он понимал, знал по опыту, что конницу красных надо смять, повернуть ее, опрокинуть. Он не щадил сейчас ни себя, ни своего коня, ни подчиненных — смертным холодом дохнуло вдруг с этого заснеженного, искрящегося солнцем поля. Но почему разведка не предупредила их о настигавшей коннице красных! Где эта лисья морда, Конотопцев?! Почему Сашка не обнаружил красных загодя?!

— Где Конотопцев? — заорал Колесников на Нутрякова. — Куда он, собака, делся?

— Хлопцы говорят, что ранило его, ускакал в Калитву вон той лощиной. — Нутряков пьяненько посмеивался; привстав нетвердо на стременах, тянул руку, показывал.

— Ранило? Ускакал?.. Кто разрешил? — Глаза у Колесникова лезли из орбит. — Бери сам его взвод, погляди, не обходят ли красные справа, там овраг. Чего стоишь, пьяная харя?!

Нутряков оскорбленно дернулся в седле, попытался выпрямиться, развернуть грудь.

— Пэ-эпрашу без зверств, Иван Сергеевич! Я — офицер и не потерплю такого с собой обращения. Если вы привыкли вести себя по-хамски...

— Убью-у! — волком завыл Колесников, выхватывая клинок, замахиваясь им над головой начальника штаба.— Делай, шо сказано, сучья твоя душа!

— Хорошо... Хорошо... — многозначительно, с белым лицом кивал Нутряков, отступая от Колесникова боком, терзая трензелями своего коня. — Раз я сучья душа, клинок на меня поднят... Хорошо.

И поскакал в ту сторону, где должен был находиться взвод разведки, а, нырнув в пологую и длинную лощину, повернул к Новой Калитве.

«Повоюй, Иван Сергеевич, без начальника штаба, — думал он. — Ты умный, смелый... А я пока чекисткой займусь. Обоз-то наш с оружием... где он? Как стало известно красным о его движении? Кто сообщил в чека? Пусть Вереникина покрутится под горячими шомполами, пусть испробует хорошей плетки...»

Колесников, проводив начальника штаба разъяренным взглядом, кинул клинок в ножны, осмотрелся: войско его приняло более или менее боевой вид — впереди рассыпались по снегу, залегли цепи пехоты, повернулись жерлами на конницу красных орудия, ахнул первый выстрел; справа топтался эскадрон Позднякова — он чего-то тянул, не решался броситься на красных в контратаку.

— Поздняко-о-ов! — зычно заорал Колесников.— Долго будешь я... морозить? А?

Тот помотал бараньей белой шапкой, отдал вялую команду — конница вяло же тронулась.

— Шакалы! Сволочи! — выходил из себя Колесников. — На безоружных да на баб вы смелые, а тут в штаны напустили.

Рядом терся Митрофан Безручко, морщился, гладил бедро. Конь его настороженно водил ушами, вглядывался куда-то вперед, призывно ржал.

— Ну, Иван, дадут нам сейчас красные. — Безручко зябко передернул плечами. — Глянь, как прут.

— Дадут, дадут! И тебе первому! — огрызнулся Колесников, напряженно вглядываясь в близкую уже, неудержимой лавой несущуюся с пологого холма конницу красных. Холодом сжалось сердце — нет, не устоять. Это фронтовики, эти не дрогнут. Била по коннице картечь, резали длинными, захлебывающимися от злобы очередями пулеметы, палили вразнобой и залпами винтовки, но лава, теряя конников, неслась и неслась вперед, и вот уже заблистали над головами первых вскочивших на ноги шеренг пехоты безжалостные, острые клинки...

— Пора тикать, Иван, — сказал Безручко. — Близко уже.

— Пора,— рассеянно кивнул Колесников, бросив последний равнодушный взгляд на страшное зрелище: от пехоты в четыреста штыков остались уже какие-то жалкие, разбегающиеся по белому снежному полю фигуры, но и их настигали всадники в буденовках...

Секлетея, дрожа всем телом, шамкая насмерть перепуганным беззубым ртом, объясняла вскочившему в избу Нутрякову, что ее постоялица час назад взяла санки и отправилась в лес — привезти хворосту. Она сказала, что надо же ей как-то и платить за постой, да и дрова кончаются, а зима вся еще впереди...

— Кляча ты старая! Крыса! — вне себя вопил Нутряков.— Я ж тебе сказал: ни шагу чтоб она не делала без нашего ведома, поняла? А где Бугаенко? Где Васька Буряк? Почему упустили?

— Та Буряк же спит, пьяный с утра. А Бугаенко... ну кто знае, Иван Михайлович? Вин же начальник, забот по горло. А тут стреляють, стекла вон трясутся у хати...

— У, с-с-собака! — Нутряков что было силы ударил Секлетею кулаком в лицо, и бабка кулем мягко опустилась на земляной, чисто подметенный пол.

А Нутряков, выскочив на подворье, прыгнул в седло, пришпорил коня, хлестанул его плеткой — понесся понад Доном снежный, бушующий злобой вихрь.

«Ушла. Ушла, змея!» — думал Нутряков, горячил себя и коня, вглядываясь в скользкий пологий спуск к берегу — не хватало еще, чтобы конь подвернул ногу, споткнулся. Надо осторожнее, съехать не спеша, а там, когда выскочит по льду на другой берег... Ну, Катерина Кузьминична, не уйдешь, не успеешь. Тут одна дорога, милая, и я ее знаю, не уйдешь. Уж потешусь я сегодня над тобой, чека, отведу душу. Что там Евсей со своими грубыми приспособлениями для мужиков — кости ломать, руки-ноги выкручивать... Кто из них знает, что такое настоящая пытка?! Кто из них видел человека, у которого в полчаса седеют волосы, а глаза умоляют об одном — убить, не мучить... И теперь этой женщине предстоит испытать нечто невообразимое, жуткое. Только бы догнать ее, схватить. Догнать!..

...Катя, едва услышав далекие пока, но отчетливо различимые выстрелы, татаканье пулеметов, поняла, что красные части предприняли новое наступление. Не раз и не два выходила она на голый, с протоптанными в снегу дорожками двор бабки Секлетеи, слушала, смотрела. В Новой Калитве поднялся явный переполох, забил у штабного дома рельс, грянул выстрел. Новокалитвянский полк в полном составе выстроился у церкви, звучали команды, неслась ругань.

Она поняла, что лучшего случая ей может не пред-

ставиться. Пархатый занят приготовлениями к обороне, Бугаенко где-то при нем, Васька же Буряк, «тайный» ее охранник, с утра пьян. Правда, он заглядывал к ее квартирной хозяйке под благовидным предлогом — не найдется ли у нее стакана самогону похмелиться, и бабка налила ему — нехай идет с богом.

Как можно спокойнее Катя вернулась в дом, сказала Секлетее про дрова, и та обрадовалась предложению постоялицы — да, конечно, нужен хворост! Но ладно ли ей самой, в ботиночках да в пальтишке таком легком — снегу в лесу больше, чем в слободе, увязнешь, Катерина, простудишься. И не боится ли она стрельбы, ненароком подстрелют, антихристы!.. Катя ответила, что это, видно, учения, чего их бояться; валенки надела, из вещей своих, чтобы не привлекать бабкиного внимания, ничего не стала брать — да и какие там вещи!.. Скользнула огородом к Дону, быстро перешла заснеженный, крепкий лед, углубилась в лес. Теперь надо найти тайник, там должно быть оружие — Павел предупреждал, что Наумович распорядился положить в дупло дуба наган, так, на всякий случай. Но зачем он ей? До Гороховки тут недалеко, успеет...

И все же она точно выполнила инструкцию: отсчитала от первой придорожной поляны двести шагов на север, стала внимательно осматривать дуб за дубом — лес стоял тихий, заснеженный, настороженный. Гул далекой канонады здесь усиливался, отчетливей слышались орудия, дробный стук пулеметов — кажется, бой приближался к Новой Калитве.

Наконец Катя нашла дупло, похожее по приметам на тайник. Сунула в него руку — пальцы ее коснулись промасленной холодной ткани...

— Бе́лок обираете, Екатерина Кузьминична? — услышала вдруг Катя знакомый насмешливый голос и обернулась, холодея: на дороге, в двух десятках шагов стоял конный Нутряков. Только сейчас конь, пробежавший эти километры в бешеном галопе, устало и обрадованно фыркнул, замотал головой — шел от него белый жаркий пар.

«Выследил... Неужели конец?! Так глупо...»

Катя на какое-то мгновение потеряла власть над собой, не чувствовала ни рук, ни ног, лишь пальцы ее машинально сжимали теперь уже отчетливо чувствующийся под тканью наган.

«Спокойно! Возьми себя в руки... Ну же! И улыбайся. Улыбайся, черт возьми! Делай вид, что ничего не слу-

чилось, что тебя нисколько не испугало появление Нутрякова здесь, в лесу... Говори что-нибудь. Он ведь спросил про белок — ответь. А может, он и не замыслил ничего. Просто ехал этой дорогой, увидел ее... Ну да, идет бой, Колесников, вероятно, разгромлен, раз его начальник штаба оказался от поля боя за двадцать пять — тридцать километров, рыщет тут по лесу один. И в глазах у него — холод, смерть. Нет, не просто так Нутряков здесь, он гнался за нею, он приговорил ее...»

Спокойно, Катюша, улыбайся! И тяни, разворачивай тряпку, Нутряков хоть и приближается, но еще далеко, еще есть секунды. Вот он вынужден объезжать развесистый дуб, ветви мешают. Он не спускает с нее, своей пленницы, глаз, но даже руку не держит на кобуре нагана, он уверен, что она безоружна, что она действительно ищет что-то в беличьем дупле...

— А правда, похоже, что бедные белочки запасли на зиму орехов, Иван Михайлович,— весело и звонко сказала Катя.— Тут килограмма два, не меньше!

— Половина моих, Екатерина Кузьминична,— в тон Вереникиной отвечал и Нутряков, радуясь, что глупая эта чекистка даже не заподозрила его, никак, вероятно, не истолковала себе его довольно странное появление в лесу.

«Ну кто так старательно заматывал наган?! Зачем! Дорога уже каждая доля секунды!»

— А я еду, смотрю — то ли вы, то ли нет.— Нутряков был уже в нескольких шагах, улыбался ей обрадованно, как старой и хорошей знакомой.

— А я за дровами, Иван Михайлович. «Все, наган свободен, теперь выхватить его из дупла, взвести курок. Патроны должны быть в барабане...»

— А что ж вы саночки бросили, Екатерина Кузьминична? Тут и дров-то, по-моему, нет...

Щелкнул взведенный курок, и Нутряков понял, что просчитался. Он бросил коня в сторону, схватился за кобуру, но было поздно — Катя выстрелила. Нутряков, охнув, схватился за живот, медленно, со стоном сполз на землю. Лежал теперь в трех шагах от Кати, державшей наган обеими руками и не сводившей с поверженного врага настороженных строгих глаз.

— Вы что... же... это, Катя? — мученически улыбаясь, спросил Нутряков. — З-зачем... вы... убили меня? За что?— Пальцы его правой руки шевельнулись, поползли незаметно к кобуре.

— Это вам за Пашу Карандеева, Нутряков. За муки его.

Пальцы Нутрякова расстегнули кобуру, и Катя выстрелила еще раз. Вздрогнувший от выстрела конь шарахнулся в заросли можжевельника, застрял там, зацепился уздечкой за сучья, и стоял теперь, испуганно прядая ушами, безуспешно стараясь высвободить голову из цепких кустов.

— Ненавижу... Я бы тебя по кусочкам... О-о-о-ох...— С этими словами Нутряков бессильно откинулся в снег, раскинул руки...

А Катя пошла прочь — не оглядываясь, не думая о том, что лучше бы ей отцепить от кустов коня и умчаться поскорее от опасного этого места — не скачет ли кто-нибудь за Нутряковым, нет ли погони?..

Ее по-прежнему колотила сильная нервная дрожь, ноги еще плохо слушались, но мысль работала четко: как можно быстрее надо уйти из леса, спрятаться в Гороховке, переждать. А там, лучше всего ночью, уйти в Верхний Мамон...

* * *

Оставив далеко позади эскадроны Милонова, Колесников повернул на юг, к Журавке. Вспомнил вдруг о Вороне, о котором докладывали ему Безручко с Конотопцевым, решил, что лучшего места для отдыха ему не найти: красные слободу не занимали, была она в стороне от района боевых действий, тому же Милонову и в голову не придет, что он, Колесников, может направиться в Журавку. Это выглядело вéрхом тактической безграмотности — возвращаться почти на то же место, с которого только что был выбит, тем более что от станции Журавка до Митрофановки, где разгружался эшелон с конармейцами Милонова, был один железнодорожный перегон, и стоило разведке красных узнать... Но Колесников рискнул. Выслал вперед, на станцию Журавка и в слободу отряд конных, состоящий из разведки и полуэскадрона старокалитвянцев, приказал этому отряду уничтожить связь между станцией и Митрофановкой, подготовить фураж для лошадей и продовольствие для людей, а также хаты для краткого отдыха.

Больше трех-четырех часов Колесников задерживаться в Журавке не собирался — опасно. Красные все равно обеспокоятся отсутствием связи между станциями и за-

держкой поездов, пошлют гонцов, разведку. Тому же Милонову, опытному командиру, обязательно придет в голову мысль, что все это не случайно, комбриг обязательно примет меры. Потому надо действовать быстро, энергично, час идет сейчас за три. Пусть пока Милонов ищет его, Колесникова, где-нибудь под хутором Оробинским, в лесах,— спрятаться от погони в чащобе было бы самым разумным, так бы на его месте поступил любой командир. Но Колесников, мрачно посмеиваясь, гнал свою конницу совсем в другую сторону, в душе похваливая себя за сметливость — не прошли даром бои под Новочеркасском, пригодился командирский опыт. Чего зря переводить людей, от жизни которых зависела его собственная жизнь!..

В Журавку колесниковцы влетели буйным снежным вихрем, затопили небольшую слободу лошадьми, нервными и злыми криками, матом. На станции разведка Сашки Конотопцева устроила настоящий погром: дежурный был избит, связан и посажен в погреб под охрану, телефон разбит, провода порезаны. Испуганно посапывал на станции и прибежавший из Кантемировки, резервом, паровозик — его послали в Митрофановку, к Милонову, но для каких целей, машинист не знал. Паровозную бригаду оставили в будке, локомотив мог пригодиться и самим колесниковцам, черт его знает как повернется дело! А при нужде паровозик можно было выслать навстречу милоновцам, устроить крушение. Бригада также сидела под охраной, машиниста и его помощника для острастки малость побили. Те теперь охали, сидя на засаленных своих креслах, примачивали синяки холодной водой. Кочегар, шустрый длинноногий парень, сунулся было бежать, но ушел недалеко: один из охранников, меткий стрелок, уложил парня двумя выстрелами из винтовки, гордо сказав при этом своим товарищам: «Куды бежал-то? От Васьки Козуха разве сбегишь?!»

Конотопцев, встречавший Колесникова на окраине Журавки, доложил, что «слобода, Иван Сергеич, нашенская, никто из нее носа не высунет. Сено есть, но мало, а насчет жратвы...» Конотопцев добавил, что у журавцев ее не густо, бойцы, правда, словили одного тощего бычка да свинку нашли, курей десятка два... Короче, начальствующему составу пошамать будет чего, а уж рядовым бойцам...

— Ворон тут? — перебил его Колесников.

— Тут.

— Чем занимался?

— Не поверишь, Иван Сергеич — строевой своих бойцов обучал. Мы скачем, а они маршируют вон там, с той стороны Журавки... Чудно! — Конотопцев сплюнул.

— Ничего чудного,— уронил Колесников. — Воевать собирается. Только с кем? Не с нами ли?

— Кто его знает.— Конотопцев снова сплюнул, пожал плечами.— Темная лошадка этот Ворон. Я тебе еще тогда говорил.

— Ну-ну, посмотрим. Веди.

К дому Шматко они подъехали втроем — Колесников, Безручко и Конотопцев. Слезли с лошадей, побросали поводья подскочившим бойцам, вошли в дом. Шматко со своими помощниками, Тележным и Дегтяревым, помогали какой-то бабе накрывать на стол.

— Кто такая? — нахмурился Конотопцев, вошедший в хату первым.

— Это тетка моя, Агафья,— представил Шматко. Он напряженно вглядывался в лица вошедших людей, безошибочно признал среди них Колесникова — именно таким и был он описан в донесениях: рослый, взгляд тяжелый, исподлобья и одновременно властный. Лицо с мороза и ветра красное, злое, походка тяжелая, разбитая — несколько дней, видно, не слезал с коня... Подошел к Ворону, подал холодную, ледяную почти руку, бросил глухо, простуженно:

— Иван Сергеевич.

— Ворон,— в тон ему сказал Шматко, понимая, как много решается сейчас, в это мгновение. Колесников — не дурак, зрелый и опытный командир, безжалостный, жестокий человек. Малейшее подозрение, неповиновение — смерть. Холодом дохнуло в их хорошо натопленной хате. Или гости не закрыли за собою дверь? Да нет, прикрыта, у порога — двое повстанцев, с винтовками в руках, с настороженными взглядами. Ай да Колесников! Обхитрил Милонова, появился в таком месте, где его никто не ждал, даже не предполагал, что он может здесь появиться. Хитер, ничего не скажешь! И предусмотрителен, его так просто вокруг пальца не обведешь. Как не выполнишь сейчас и главного: никто из них, бойцов Ворона, находящихся в хате, не успеет даже наган вытащить... Жаль, очень жаль. Стоило бы рискнуть. Колесников сам пришел ему в руки, упустить такую возможность... Что ему скажет потом Карпунин с Любушкиным?!

И все же Шматко видел, понимал, что момент не самый удачный. Действительно, вряд ли кто-нибудь из них

успеет выстрелить в Колесникова и ближайших его помощников. Скорее всего, из этого ничего не получится, их схватят и растерзают, как уничтожат и весь отряд Ворона. Боевая задача не будет выполнена... Нет-нет, стрелять нельзя. Ему, Шматко, приказано заманить главарей па переговоры в безопасное место, Карпунин и Любушкин не давали ему полномочий проводить теракт, он не имеет права ставить под угрозу задуманную операцию — тем более что бандиты, в общем-то, поверили в его легенду, пусть и не совсем, но поверили: батька Ворон — анархист, воевал вместе с Махно, перед расправой над красным комиссаром не остановится, сам же Конотопцев был свидетелем в Талах. А Безручко — тот, чувствуется, верит Ворону безоглядно. Вон улыбается ему от порога во весь рот, тянет руку:

— Ну шо, Ворон? Як ты тут? Хлопци кажуть, маршируешь со своим войском, га?

Безручко подошел, дохнуло от него морозом и давно немытым телом, табаком. Сжал лапищей руку Шматко, похохатывал:

— Горилка есть?.. От молодец! Гарно ты нас в прошлый раз накачав, аж в очах тёмно було.

Он потер руки, сбросил прямо на пол полушубок, шагнул к печи. Смотрел на весело пляшущий огонь, продолжал, обернувшись:

— Ты, Ворон, маршировать кончай. Зараз покормишь, отдохнем и айда с нами. Пощипалы нас красные, людей богато побили.

— Мы с тобой на эту тему говорили, Митрофан Васильевич, — веско и сердито сказал Шматко. — Свобода для моих хлопцев дороже всего. Калачом их в ваше войско не заманишь.

— А мы и не собираемся никого заманивать, Ворон,— насмешливо и зло бросил Колесников.— Расстреляем двоих-троих, остальные сами побегут.

Сели вшестером за стол. Ворон на правах хозяина разливал самогонку. Колесников остановил его руку.

— Хватит мне. Такой кружкой и коня свалить можно.

Выпил, помотал головой, долго нюхал хлеб.

— Ты вот что, Ворон,— сказал он минуту спустя.— На Дону бывал? Ну, в Вешенской, в Каргинской?..

— В Миллерово был, Иван Сергеевич.

— Хорошо. От Миллерово и до Фомина недалеко.— Колесников грыз податливый хрящ.— Надо поискать там Фомина, потолковать с ним. Сейчас с нами пойдешь, в

Калитву. Завтра, видно, Милонов нам новый бой навяжет, повоюешь. А я погляжу, шо ты за птица. А потом — Дон. Если уцелеешь.— Он болезненно поморщился.— На Дону казаки понадежнее наших будут, говори с ними о совместных действиях. Хватит паразитом у нас на горбу сидеть. Шо комиссара в Талах прикончив — знаю, и шо чекистов гонял тут, тоже знаю...

— Одному, что ли, ехать? — спросил Шматко.

— Ну зачем?! Вот с ними.— Колесников обглоданной костью показал на Тележного с Дегтяревым.— А хлопцы твои, Митрофан правильно сказал, с нами останутся.

— Не поеду! — трахнул кулаком по столу Шматко.— Не имеешь права, Колесников. Я в твое войско не вступал.

— Не поедешь — расстреляю. Сегодня же,— спокойно и жестко сказал Колесников.— И всю твою банду... из пулемета. За невыполнение распоряжения командования.

— Ну ладно, ладно,— миролюбиво гудел Безручко, самолично теперь разливая по кружкам.— Перелякав ты его до смерти, Иван Сергеевич. А хлопец вин гарный, я ще с того разу понияв. Нехай повоюе з нами чудок, а там видно будет. Може, и не его надо посылать до Фомина, а самому мне смотаться. Тут дело тонкое, Иван Сергеевич, дипломатия! — Безручко поднял палец к потолку. — Шо-нибудь там не так ляпнэ... Ну, хлопци, подымайте горилку. За победу!

Все шестеро поднялись, чокнулись кружками, выпили. Колесников, наевшись, видно, отодвинул от себя чугунок с картошкой, сидел мрачный, молчаливый. Безручко рассказывал об утреннем бое, Дегтярев и Тележный слушали его со вниманием, кивали одобрительно и пьяненько — да, так, мол, Митрофан Васильевич, правильно. Шматко, делая вид, что тоже слушает Безручко, размышлял — как быть?

...К вечеру, на общем построении, было объявлено, что отряд батьки Ворона вливается в «дивизию» Колесникова, от которой оставался едва ли полк, и что дивизия следует сейчас в Новую Калитву.

Ночью, на переходе, отряд батьки Ворона целиком бежал.

В Новой Калитве Колесников на скорую руку перегруппировал силы, полк Богдана Пархатого отдал под командование Безручко, сам возглавил конницу. Утром решил выступать навстречу красным частям Шестакова, но Колесникова опередили: ночью батальон курсантов

Воронежских пехотных курсов при поддержке сильного артиллерийского огня ворвался в Новую Калитву, и колесниковцы в панике отступили.

Бои продолжались еще шесть дней. Северный и Южный отряды с конницей Милонова не давали Колесникову закрепиться ни в одном населенном пункте, гнали его на юг, в голую снежную степь. Красные отряды и кавалерийская бригада соединились у хутора Оробинского, действовали теперь мощными объединенными силами смело и решительно.

Колесников отступал, побросав орудия, лишившись значительной части конницы, испытывая большую потребность в боеприпасах. В боях были убиты Руденко, Яков Лозовников, пропал куда-то Марко Гончаров со всей своей пулеметной командой. Исчез и начальник штаба Нутряков — никто не мог сказать, куда делся Иван Михайлович, как сквозь землю провалился. Из штабных остался с Колесниковым только Митрофан Безручко да верный телохранитель Кондрат Опрышко. Командиры — полковые, эскадронные, взводные — менялись иной раз по два на день: одних убивали, другие сбегали.

— Сволочи! Шкуры! Предатели! Мы же за вас воюем! — неистовствовал, белея от обиды и злобы, Колесников, а Безручко помалкивал — что толку ветер дразнить?! Торопил: «На юг, Иван, к Богучару. Там Варавва, Стрешнев. Эти помогут, эти не побегут».

Четвертого декабря, у Твердохлебовки, а потом и у Лофицкой объединенные силы Колесникова, Стрешнева и Вараввы были разбиты. Колесников, прихватив с собою Безручко и два сильно потрепанных эскадрона, бежал в сторону Кантемировки. По пути были Писаревка, Бугаевка — там, говорил он, ждут, там помогут...

...Ночью Колесникова нашли Конотопцев со своим взводом разведки и приехавший вместе с ним Борис Каллистратович. Вынырнул отряд откуда-то из снежной пустоты, внезапно. Лошади под всадниками были мокрыми, блестели заиндевевшей шерстью, тяжело поводили боками — чувствовалось, отмахали километров по пятьдесят, не меньше.

Борис Каллистратович молча протянул Колесникову руку, подал какую-то бумагу. При свете спичек тот прочитал: «Алексеевского и Мордовцева губкомпарт отзывает

в Воронеж на пленум. Разгром повстанцев считается законченным».

— Не все еще потеряно, Иван Сергеевич, — сказал представитель антоновского штаба.— Люди ваши большей частью разбежались, их нужно найти и вернуть. Десяток-другой, как дезертиров, расстреляйте... Уйдите сейчас от погони, пересидите, окрепните. Александр Степанович назначил большой совет командиров повстанческих дивизий и полков, надо прибыть в...— Он наклонился к уху Колесникова, шепотом что-то сказал, и Колесников кивнул — понял, мол.— Что же касается этого сигнала,— Борис Каллистратович кивнул на листок бумаги, который Колесников все еще держал в руках,— то, как видите, связь по-прежнему действует, кое-что о намерениях большевиков мы знаем. Рано они вас... хе-хе... хоронят, Иван Сергеевич!

— Рано. Рано! — мрачно согласился с ним Колесников.

Некоторое время ехали молча. Борис Каллистратович жадно и быстро курил, огонек папиросы часто освещал его твердые, жесткого разреза губы, крупный нос.

— Желаю удачи, Иван Сергеевич,— сказал он бодро.— И ждем вас в назначенный час.

— Счастливого пути.— Колесников приподнял шапку, с минуту слушал, как гаснут в глухой зимней ночи лошадиное фырканье, топот копыт, шорох снега... Потом крикнул в белесую тьму перед собою, в качающееся, фыркающее скопище конских голов и нахохлившихся человеческих фигур:

— Сашка! Конотопцев!

— Тут я! — отозвался начальник разведки и подъехал, поправляя на забинтованной голове малахай. Потянулся шеей — чего?

— Пошукай, Конотопцев, чеку. Из бумажки этой следует, что они где-то тут, поблизости. Может, и побалакаем напоследок.

— Пошукаю,— пообещал Сашка.— У самого такая мысля была, Иван Сергеевич!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

С началом боев Колесников оставил молодую свою «жинку» Соболеву под присмотр Стругова и деда Сетрякова. Фильке сказал прямо: «Утекет — башку срублю,

попяв?» Стругов судорожно кивнул, даже шею зачем-то потер, заверил: мол, не волнуйся, командир, никуда твоя полюбовница не денется. Сетрякову Колесников буркнул на ходу: «Помогай тут Филимону»,— не стал больше задерживаться возле старика. Дед мотнул головой, вытянулся: слушаюсь, Иван Сергеевич, будет исполнено, но и в эту минуту знал уже, что стараться особо не будет. Предстоящие бои с красными, насколько он понял из крикливых разговоров штабных, предстоят серьезные, крови будет много. А кровь лилась и без того: и штабные, и рядовые из полков вошли во вкус, зверели. Пленных вздергивали на дыбу, отпиливали им головы, резали животы и забивали их землей, выкалывали глаза, вырывали языки... Потрясла деда и казнь чекиста Павла. Задним числом Сетряков ругал себя, что не предупредил парня, не сказал ему правду о себе; так хорошо Павло говорил о Советской власти и о них, крестьянах. И вел себя с ним как равный, не то что эти, штабные: чуть что — в зубы, в матюки. А многие из них в сыновья ему годятся, и воевал он побольше каждого, а поди ж ты — шута из него сделали, вроде как Сетряков и не человек, а так... Даже Стругов с Опрышкой и те ни во что его не ставят...

Сетряков, сгорбившись у печурки в пристрое, задумчиво смотрел на огонь, вспоминал свою поездку по тылам красных — много все ж таки полезного привез он тогда из разведки Сашке Конотопцеву. И про Северный и Южный отряды красных узнал, и про конницу, которую ждали из-под Ростова, даже бронепоезд на путях видел. Сашка удивлялся, хлопал Сетрякова по плечам, хвалил: ай да дед! Молодец! Жаль, орденов у них пока в дивизии нету, а то б нацепил. Сетряков улыбался радостно и счастливо — начальство хвалит, как же!.. Совсем по-мальчишески блестели у него глаза и хотелось простить Сашку за обычное его хамство и насмешки.

Но, оставшись один, Сетряков вспомнил и другое: пусть и голодную, но спокойную, уверенную жизнь в той же Гороховке, Ольховатке, Россоши. Народ везде отзывался о Советской власти хорошо, ругал соседей своих, калитвянских кулаков, сдуру или по злобе затеявших братоубийственную бойню: мало им, кровососам, гражданской и других войн. Народ наконец забрал власть в свои руки, строит новую, справедливую жизнь, и чего, спрашивается, этим хохлам надо? Дед внимательно слушал своих собеседников, ни с кем особо не спорил, гово-

рил, что по старости лет «участия в разных там бунтах не приймае», его дело теперь лежать на печи да тараканов гонять — и на него махали рукой: правда что!.. Но сам с собою он толковал, спорил: в банду как-никак пошел по доброй воле, поверил россказням Митрофана Безручко да тех же кулаков — Назарука, Кунахова, лавочника... Теперь, кажись, все оборачивается по-иному. Штабные бросили его со Струговым и Лидкой, ускакали под Евстратовку — шли с той стороны большие силы красных. Одолеют ли калитвяне эти части, нет ли — никто не знал, а он, Сетряков, был уверен, что не одолеют.

Мысли его опять вернулись к чекисту Павлу: если такие люди борются за Советскую власть, то ничем ее, эту власть, не сломить, она будто из железа. Разве выдержал бы кто-нибудь из повстанцев такое зверство?! Куда там! В любую веру после пяти розог обернутся, после первой зуботычины на колени упадут, а Павло... ведь не попросил пощады, не склонил голову!

«Эх, старый хрен,— корил себя Сетряков.— Не предупредил парня, мол, не ходи, Павло, к нам в Старую Калитву, поймают тебя, не отпустят живым...» Он понимал, что корил себя, может, и зря, вины его тут особой нет, но то, что он потом признал Павла, подсказал Сашке... да, тут прощения ему нет. Сказал бы Конотопцеву: не видал, не знаю, первый раз на глаза попадается — глядишь, и отпустили бы парня. А так — казнить и все. Все, дескать, сходится... Жаль Павла, очень жаль!..

Или с Лидкой, пленницей, что вытворяют. Не игрушка это, живой человек, дивчина. А над ней целым штабом измываются, свадьбу эту затеяли — на, мол, Иван Сергеевич, атаман ты наш головастый, награду тебе за успешные бои, за расправу над красными продотрядовцами и сонными красноармейцами!.. Тьфу, паскудники!

Помочь бы, в самом деле, бежать Лидке, да как? Филька с бабкой Авдотьей сговорился, застращал старуху: чуть что — скажи, старая, а не то...— и ладонью по горлу себе провел. И сотворит, бандюга, глазом не моргнет.

Ладно, может, поколотят Колесникова под Евстратовкой, Стругов тогда и сам сбежит, и так уже закрутился, как ужака под вилами. Не будет же он сидеть на Новой Мельнице и ждать, покуда сюда красные явятся — отвечать перед властями придется по всей строгости.

...К ночи прискакал на Новую Мельницу Марко Гончаров. Кинув Стругову поводья, велел поставить коня в

конюшню, а попозже, когда остыпет, напоить. Сказал, что к утру должен вернуться в Криничную, там затевается «серьезное дело», что «красным там крышка». Марко говорил все это с пьяной ухмылкой, глаза его бегали по лицам недоверчиво слушавших Стругова и деда Сетрякова, все искали чего-то поверх их голов и не могли найти. Гончаров плел и плел о скорой победе над красными, что у них силы на исходе, еще день-два и погонят их из Калитвы до самого Воронежа, а там, бог даст, и до самой Москвы.

Сетряков догадался вдруг, что Марко попросту сбежал с поля боя, что «крышка» под Криничной не красным, а наоборот, повстанцам, и Гончаров просто-напросто спасает свою шкуру. Но сюда, на Новую Мельницу, являться сейчас тоже было опасно; Марко, может, и не знал, что красный полк занял сегодня Старую Калитву, утром, не позже, красноармейцы будут здесь... Что-то нужно было Гончарову в штабном доме, но что?

Скоро все прояснилось. Марко выгнал Стругова и его, Сетрякова, в пристрой, велел и бабке Авдотье пойти «прогуляться до соседки», у него-де важный разговор с Лидой, Колесников поручил «побалакать с его жинкой с глазу на глаз». Бабка молчком поскреблась к соседям, а Стругов с Сетряковым потоптались на морозе во дворе да и потянулись в пристрой.

Не прошло и пяти минут, как из дома донесся истошный и тут же задавленный крик Лиды, потом все стихло, как умерло. Сетряков встревожился, хотел было пойти узнать, в чем там дело, но Филька захохотал, грубо дернул старика за рукав полушубка, усадил на место, перед горящей печуркой. «Не рыпайся, дурья голова. Сказано: семейные разговоры у них. Нехай балакають».

Он, оказывается, знал обо всем, посмеивался сейчас, вороша угли в грубке, сплевывал под ноги. К звукам из дома прислушивался чутко, даже дверь открыл, потом и этим не удовлетворился, вышел во двор.

Вернулся довольный, с блудливой физиономией сказал:

— Все там в ладу. Лампа светит, балакають...

Часа через два, к полуночи, сунулся в пристрой Гончаров, рожа у него была красная, довольная.

— Ну, Филимон, пойдешь? — многозначительно подмигнул он Стругову.

— Хай ему черт! — махнул рукой Стругов.— Вы — командиры, вам, может, и простится. А мы с дедом —

люди маленькие... Заявится вдруг Иван Сергеич, шо мы ему скажемо? Лидку он нам стеречь велел.

— Куда он там явится! — захохотал Гончаров. — Красные тут с часу на час объявятся, а Ивану, похоже, того...— И он выставил вперед грязный палец давно не мытых рук, выразительно чмокнул губами: чмок!.. — Да и всем нам... В чека умеют стрелять.

Марко смотрел при этом на деда Сетрякова, и тот похолодел от вида мертвого, ледяного какого-то взгляда Марка; в глазах его стыл смертный, животный страх.

— А мы... як же нам, Марко? — У Стругова сама собою отвалилась челюсть, он медленно, но верно соображал, что и под Криничной Колесников разбит, что гонят его взашей где-то поблизости, и теперь каждый должен подумать о себе.— Сам-то... Иван Колесников... живой ай нет? — спросил он Гончарова, который уже запахивал полы добротного полушубка, собирался уходить.

— Сам-то... Может, и живой,— усмехнулся Гончаров.— Лидку наказывал беречь пуще глаза... Го-го-го... Зря ты, Филимон, отказался. Ох и сладкая, стерва!

Стругов вышел вслед за Марком; дед слышал, как они тихо переговаривались возле сарая, где стоял оседланный уже конь, спорили о чем-то. Потом Гончаров уехал в ночь...

Под самое утро Сетряков осторожно, на цыпочках, прокрался в дом. Филька спал, храпел беззаботно, пьяно — в передней все было разбросано, по полу разлита то ли вода, то ли еще что; у кровати Стругова валялся обрез, и дед поднял его, сунул за печь, в тряпье — пускай этот дурак поищет.

Лида, бедняга, видно, и не ложилась: несчастным белым комочком сидела у себя на кровати в боковухе, плакала.

Сетряков тронул ее за плечо.

— Беги, девка, сейчас же, пока Филька не проснулся. Иди в Старую Калитву, там красные.

Она испуганно и недоверчиво подняла голову, несколько мгновений смотрела непонимающими, затравленными глазами. Сетряков с содроганием увидел в слабом свете керосиновой лампы, стоящей на столе, что шея и грудь Лиды в синяках, что рубаха на ней вся изодрана, и жаль стало дивчину до холода в сердце.

— Тикай, Лидка, ну! — еще раз повторил дед.— Одягайся живее, скоро утро. Пока спит он.

Она поняла наконец, соскочила на пол босыми ногами, стала хватать и натягивать на себя одежду, а дед ушел в пристрой. Сердце его билось с надеждой — ну хоть Лидка убежит, хоть ей он поможет. А завтра, глядишь, он и сам отправится в Старую Калитву к своей Матрене, падет перед ней на колени — прости, мол, старуха. Хочешь милуй, а хочешь — казни.

Сетряков видел, как Лида, в пальто и наспех замотанном вокруг шеи белом платке, тихонько вышла на крыльцо, скользнула за предусмотрительно отпертые им ворота; видел, как побежала она улицей хутора вниз, к мостку через Черную Калитву. Он заволновался: забыл сказать ей, что не надо идти по дороге, лучше напрямую, через снежный луг, но Лида и сама догадалась, сразу с мостка свернула на снежную белую целину...

Несколько минут спустя появилась во дворе бабка Авдотья — и откуда она взялась, ведьма старая! Он уже и ворота запер. Не иначе, огородами пришла, задами!.. Бабка глянула на теплившийся в окошке пристроя огонек, погрозила кулаком, и Сетряков отпрянул к грубке: неужели она видела, что он выпустил Лиду?

Выскочил во двор Филька — расхристанный со сна, взлохмаченный; на ходу всовывал руки в рукава полушубка, матерился. Бегом кинулся к сараю, вывел коня и без седла, бешеным наметом вылетел за ворота, выхватив из ножен шашку.

— Господи, пощади девку! — шевелил блеклыми губами Сетряков.— Невинная душа, жить ей да жить.

Стругов догнал Лиду на середине пути; маленькая, беззащитная фигурка хорошо была видна на белом снежном лугу — полная луна щедро заливала мертвенным светом всю округу. Филимон с угрожающим криком понесся к этой фигурке, прибавившей ходу, стремившейся к близким уже домам Старой Калитвы. Под копытами коня податливо хрустел снег, алчно взвизгивала в морозном воздухе острая, любовно отточенная шашка.

— Дядько Филимо-о-он! Миленьки-и-ий! Пощади-и-и!.. Не надо-о... Беременная я-а-а-а...— страшно, смертно кричала Лида, подняв ему навстречу руки, защищая ими лицо, пятясь в снегу, падая и поднимаясь вновь, а Стругов мордовал плохо слушающегося, отскакивающего от женщины коня, все выбирал момент для точного, разящего удара, и наконец выбрал, хакнул с потягом, с наслаждением...

Спрыгнул потом с коня, повздыхал — может, и не

следовало девку рубить, брать грех на душу?.. Да что теперь!.. Вытер клинок о пальто Лиды, помочился, загораживаясь от ветра, и ускакал восвояси.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Телеграмма из Воронежа была категоричной: губкомпарт вызывал Мордовцева и Алексеевского на пленум, двенадцатого декабря им надлежало отчитаться о разгроме полков Колесникова.

— Какие, к черту, отчеты?! — вспылил Мордовцев.— Чего спешить? Главное, конечно, сделали. Но Колесников жив, с ним немало бандитов, завтра они соберут тех, кто разбежался, снова создадут полки... Разгромить их надо окончательно, а потом уж и отчитываться — хоть на пленуме, хоть где. Живы Варавва, Стрешнев, Курочкин какой-то объявился... Многие из них притихли сейчас, попрятались, но стоит им узнать, что мы уехали... Месяц-другой надо побыть здесь еще; а потом и рапортовать. И чего Сулковский, или кто там сочинял эту телеграмму, спешат?

Алексеевский, соглашаясь, кивнул:

— Ты прав, Федор Михайлович, Колесникова не добили. Рапортовать о его разгроме — значит заниматься показухой. Но что делать, мы с тобой коммунисты, обязаны подчиниться партийной дисциплине.

— Ладно, поедем, — согласился Мордовцев. — Но об этом я там, на пленуме, буду говорить. Какой-то бюрократ сочинил телеграмму, а Сулковский, судя по всему, не вник, подмахнул и с плеч долой. А нам тут — начать да кончить.

— И все же с отдельными бандами теперь воевать проще будет, — подумал вслух Алексеевский.

— Как сказать! — запальчиво, все еще не остыв, возразил Мордовцев. — Они еще много бед нам принесут. Мелкие банды более подвижны, маневренны, ищи их!.. И главное — Колесников живой, черт бы его подрал! Это как флаг. Жаль, не уничтожил его Карандеев. На смерть парень пошел, а дело не сделал. У повстанцев, думаю, нет больше такого опытного в военном отношении командира... А что, Карандееву приказано было теракт осуществить, или как, Николай Евгеньевич?

— Нет, это его личная инициатива. Пошел с разведывательным заданием. Связника, оказывается, бандиты каз-

нили, вот Карандеев и решил, видно, уничтожить Колесникова. Да, если б это получилось... Жаль парня, жаль!

Мордовцев, слушая комиссара, хмурился, расхаживал по просторной сельсоветской комнате (после боя в Лофицкой штаб красных частей вернулся в Твердохлебовку), думал, что чекисты должны были более тщательно продумать эту операцию, предусмотреть все возможные варианты. Он закрыл дверь в смежную комнату, где шумел на плите чайник — бойцы охраны собирались обедать, оживленно переговаривались.

— Ладно, теперь немного осталось. Возьмем под свой контроль... — Мордовцев не договорил, сильно закашлялся, хватаясь за грудь, согнувшись пополам, и Алексеевский твердо решил, что по приезду в Воронеж сразу скажет Сулковскому о болезни губвоенкома, о необходимости срочно положить его в больницу. — Что же касается остатков банд... Ну, за это дело чекисты возьмутся самостоятельно, тут, видимо, потребуется иная тактика.

Алексеевский встал, приоткрыл дверь в комнату охраны, сказал поднявшемуся от «буржуйки» бойцу:

— Дай-ка и нам по кружечке, Махонин. А то что-то мы с Федором Михайловичем озябли.

Через минуту-другую появился красноармеец с двумя кружками, с виноватой улыбкой нес их военкому.

— Токо у нас сахару нету, Федор Михайлович, — сказал он. — Уж который день один кипяток глушим.

Мордовцев молча махнул рукой, взял кружку, грел об нее пальцы.

— Тебе, думаю, попадет от Сулковского. — Он улыбнулся Алексеевскому. — Хотя и меня по головке не погладят, упустили все-таки Колесникова...

— Да брось ты, Федор Михайлович, — бодрее, чем, наверное, следовало, откликнулся тот. — Целую бандитскую дивизию расколошматили. Доберемся и до главаря.

— Хорошо бы, — рассеянно проговорил Мордовцев, плотнее запахивая шинель; подошел к печке, прислонился к ней спиной.

— Между прочим, Федор Михайлович, — Алексеевский думал о своем, — в политическом отношении банда прелюбопытнейшая! Мне, к слову сказать, жаль многих: ведь одурачили крестьян, горы золотые посулили, а это ведь надо суметь!.. Ну, иных, разумеется, запугали дезертиры — те не в счет, у нас с ними особый разговор будет... И Колесников... странно все-таки. Сколько лет в Красной Армии был, эскадроном командовал. Я уточнил

по своим каналам: его и полковым командиром намеревались ставить... А подвернулся случай — врагом стал.

— Врагом он и был, Николай Евгеньевич, — убежденно проговорил Мордовцев. — Не строй ты на его счет иллюзий. Просто выжидал момент... Калитвянские кулаки не просто так в командиры его произвели, их ведь поля ягода! Пусть и не совсем Колесниковы кулаками были, но — из зажиточных, а значит, сочувствовали им, помогали. Другое дело рядовые, тут, конечно, посложнее, тут разбираться надо.

— Написать бы обо всем этом, — задумчиво сказал Алексеевский. Добавил смущенно: — Я, честно говоря, собрал кое-какие материалы, с редактором нашей губернской газеты хочу посоветоваться.

Мордовцев ласково глянул на него, улыбнулся:

— А я это, между прочим, по твоим воззваниям еще понял; носишь что-то в себе, размышляешь, к перу тянешься... А правда, Николай Евгеньевич, кто лучше нас с тобой рассказать про все это сможет? Мы и видели, и чувствовали, а главное — воевали. Пробуй!..

* * *

За Талами, километрах в двадцати от Кантемировки, за дальним бугром показались два всадника. Они, не приближаясь, явно рассматривали отряд — две брички и сопровождающий их эскадрон. Всадники некоторое время двигались параллельным курсом, то пропадая в ложбинах, то снова появляясь.

— Не иначе, как недобитые колесниковцы, — кивнул в сторону всадников Мордовцев. — Видишь: едут и боятся.

— Может быть, — рассеянно кивнул Алексеевский, думая о своем. — Ничего, посмотрят и сгинут. Что им еще остается?

— Федор Михайлович, разрешите пугнуть? — Командир эскадрона, черноволосый, в белой кубанке казачок, вплотную подъехал к бричке, рукоятью плетки показывал в сторону всадников. — Что-то они мне не нравятся. Прилипли, как банные листы...

— Да чего их пугать?! — отмахнулся Мордовцев. — Они и так напуганы. Оставьте, сами уедут. Да и на поезд бы нам не опоздать.

Всадники в самом деле скрылись скоро из глаз, и все успокоились, забыли о них. Тянулась однообразная зим-

няя дорога, колеса бричек тарахтели по мерзлому скользкому тракту, лошади трусили с опаской, фыркали недовольно. Эскадрон шел сбоку, по снежной неглубокой целине — снег податливо шуршал под десятками копыт. Ночь совсем уже растворилась в зимнем белесом мареве, но солнце так и не показалось; кажется, занималась метель, сыпалась с неба сухая колючая пороша, поднялся сильный боковой ветер. Ехать становилось все холоднее; Мордовцев кашлял, и Алексеевский с тревогой поглядывал на него — не заболел бы окончательно.

Бахарев, комендант губчека, ехавший вместе с Мордовцевым и Алексеевским, спрыгнул на дорогу, некоторое время, придерживая болтающуюся на боку кобуру с наганом, бежал рядом с бричкой. Махнул с улыбкой и Алексеевскому — мол, присоединяйтесь, Николай Евгеньевич, хорошо согревает, но тот отказался с ответной улыбкой— не замерз. Он вспомнил, как умело провел Бахарев операцию по разоблачению Выдрина. Несколько дней назад, после памятного разговора с Настей Рукавицыной, Выдрину дали якобы «очень секретную» телеграмму для Карпунина, в Воронеж. Внешне для телеграфиста все выглядело привычным, ничто его не насторожило. В телеграмме сообщалось о намерении Мордовцева выбить Колесникова из Терновки одним полком под командованием Белозерова. При этом говорилось, что будет применен и обходной маневр, отвлекающий внимание повстанцев, — до батальона пехоты с помощью курсантов-пулеметчиков ударят Колесникову во фланг, с высоких меловых бугров. Курсанты-де уже отправились в обход Терновки, взяв круто на юг, а к назначенному часу будут где нужно и огнем пулеметов поддержат пехоту.

Собственно, в этой телеграмме давался один из действительных вариантов наступления на Колесникова, который штабом красных частей был потом отвергнут. Выглядел он убедительным, разведка Колесникова вполне могла им воспользоваться, и если Выдрин не тот, за кого себя выдает...

Ночью Алексеевский сам пришел к Выдрину, дремавшему у аппарата, сказал, что срочно нужно передать «вот это», положил перед телеграфистом текст, на котором сверху было крупно написано: «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». В телеграмме еще добавились просьбы к Карпунину и губкому партии — ускорить продвижение эшелона с кавбригадой Милонова: без конницы, мол, будут лишние потери.

Незаметно наблюдая за Выдриным, Алексеевский видел, как напряглось, изменилось тощее лицо телеграфиста, как, старательно шепча, тот шевелил губами, повторял текст.

— Не дай бог спутать чего, Николай Евгеньевич, — поднял он на чрезвычкома вороватые испуганные глаза, но тот лишь нахмурился — не отвлекайся, Выдрин, нельзя.

Продиктовав, Алексеевский свернул телеграмму вчетверо, сунул ее в карман гимнастерки, ушел. А час спустя в телеграфную нагрянули Бахарев с Розеном, сказали, что велено обыскать помещение — пропал из штабной комнаты важный документ. Выдрин заволновался, залепетал испуганное и просительное: чего, дескать, тут, у своих, искать? К тому же он и не выходил, вот и товарищ Алексеевский может подтвердить. Алексеевский, тихонько вошедший в телеграфную, бесстрастно стоял у притолоки двери в накинутой на плечи шинели, молчал. Бахарев выдвигал ящики стола, рассматривал бумаги.

— Есть! — сказал он сдержанно, потряс какой-то бумажкой. — Она самая.

Это была копия телеграммы, которую Выдрин записал по памяти, сразу, видно, после передачи ее в Воронеж.

— Зачем? — строго спросил Бахарев телеграфиста.

Выдрин трясся всем своим цыплячьим телом, а маленькие бегающие его глаза горели злым огнем ненависти.

— Арестовать! — Алексеевский шагнул к Бахареву, взял у него мятый листок с торопливыми, карандашом написанными словами. Да, текст был почти слово в слово, память у Выдрина неплохая.

— Да это я так... Товарищ Алексеевский!.. Ну, сижу, делать нечего, дай, думаю, напишу...

— А спрятал зачем? Для кого приготовил?

— Да какой приготовил?! Сунул просто...

— Разберемся. Иди.

Выдрина увели, место его заняла Настя Рукавицына, пришлось посылать за девушкой подводу — она жила на самом краю Россоши.

Выдрин запирался недолго: по-прежнему лязгая зубами, обмочившись, он теперь винил Колесникова, втянувших его через подосланных лиц вурдалаков-бандитов, незнакомого ему лично Бориса Каллистратовича, этого недобитого шкурника-белогвардейца, посредника-гонца, жившего неподалеку и возившего копии этих телеграмм в Старую Калитву...

Жалкий был вид у телеграфиста Выдрина, очень жалкий.

...Показался впереди, на дороге, всадник. По всему было видно, что спешил — гнал коня не жалеючи.

Спрыгнув у брички военкома, верховой, с красным от ветра молодым лицом, возбужденный быстрой ездой, кинул к шапке руку:

— Товарищ командующий! Комбриг товарищ Милонов просил передать командиру эскадрона Мелентьеву, чтобы он не задерживался в Кантемировке — бригада уже погрузилась в эшелон...

— Ясно, ясно, — остановил нарочного Мордовцев, сошедший с брички и слушающий доклад также с рукой у папахи. — Я и сам думал, что держим мы комбрига... Ну ладно, до станции тут теперь рукой подать... Мелентьев!— позвал он комэска, и тот тронул шпорами коня, подъехал.

— Мы тут сами, Мелентьев, — сказал Мордовцев. — Скачите в Митрофановку, вас ждут.

— Приказано было до Кантемировки вас сопровождать, Федор Михайлович, — проговорил командир эскадрона в некоторой растерянности.

— Ничего, ничего, — твердо стоял на своем Мордовцев. — Задерживать эшелон мы не имеем права. Да и,— он повернулся, повел рукой, — пусто вокруг, видишь? Кого бояться? Вон до бугра проводите, а там мы сами.

У Чехуровки простились с эскадроном. Мордовцев и Алексеевский пожали руку Мелентьеву, нагнувшемуся с коня, поблагодарили за помощь в разгроме банд. Комэска белозубо улыбался, козырял — мол, чего благодарить, товарищи командиры, наше дело военное... В следующую минуту эскадрон, подчиняясь его воле, резво ушел вправо — покатилось по снежной пустынной степи белое рыхлое облако. А брички одиноко загрохотали дальше.

— Давай остановимся в Смаглеевке, Николай Евгеньевич, — попросил Мордовцев. — Что-то я совсем... — он зябко передернул плечами, — продрог.

Алексеевский выдернул из кармашка часы на цепочке, согласился.

— Давай. Минут тридцать—сорок у нас есть.

В Смаглеевке — соломенной, в печных дымах деревушке — они спросили у катающейся с горки ребятни: где можно остановиться, чаю попить?

Вперед выступила закутанная до бровей девчушка, назвала смело:

— А вона, у Лейбы, Михайлы Тимофеича. Он у нас

самый богатый, — добавила девчушка. — У него мед и самовар есть.

— Ишь ты, все знает! — засмеялся Алексеевский. — Как зовут-то тебя?

— Даша.

— А живешь где?

Девчушка показала снежной варежкой.

— А вона, возле Лейбы. Видишь, хата покосилась?

— Отец твой дома, Даша?

— Не-а! Они с дядькой Герасимом на войне сгинули. Врангеля в каком-то Крыму били... И мамка наша хворая.

— Да-а... Ну, спасибо тебе, Даша.

Лейба — в добротных валенках, в накинутом на плечи кожухе — вышел на крыльцо, встретил приветливо: распахнул ворота, и брички въехали во двор. Хозяин пообещал задать корма лошадям, «нехай командиры не беспокоются и идут себе в избу».

— Говорят, ты самый богатый в Смаглеевке, — шутил Алексеевский, — самовар имеешь. Угостил бы чаем, а, Тимофеевич? Померзли мы в дороге.

— Отчего не угостить? — добродушно гудел Лейба, и в черных его, глубоко посаженных глазах светились спокойные добродушные огоньки. — С морозу чай — в самый раз... — Он поторопил строгим взглядом домашних, застенчиво и с любопытством поглядывающих на заезжих людей, невестку и жену: — Ну-ка, Прасковья, Нюрка, соберить на стол. Да пошвыдче! Живее, ну!..

Вскоре зашумел, заиграл сердитым кипятком на столе ведерный почти, до блеска надраенный кирпичной крошкой самовар...

Колесников за минувшую ночь и половину этого дня * сколотил из разбитых своих полков новый отряд: с конницей и пехотой, вооруженной чем попало, насчитывалось теперь около трехсот человек. Он знал, что Мордовцев и Алексеевский едут в Кантемировку, знал, что сопровождает их эскадрон, связываться с которым не имело смысла: фронтовые рубаки наводили ужас на его конницу, тем более на пеших. Надо было поскорее уйти из Богучарского уезда, где население сплошь помогало Советской

* 11 декабря 1920 года.

власти — сообщало чека и чоновцам о следовании банды, не давало продовольствия людям и корма лошадям, а в селах, где были отряды самообороны, вообще завязывалась перестрелка — там уже не до фуража и отдыха, унести бы ноги. Да, надо скорее вернуться в Калитву, там и с этим отрядом он будет хозяином положения: красные отправили уже конницу Милонова по железной дороге в сторону Ростова, вернулись в Воронеж курсанты пехотных курсов, двинулись куда-то полки Шестакова и Белозерова. Судя по телеграмме, перехваченной свояком, большевики из Воронежского губкомпарта решили, что с ним, Колесниковым, покончено раз и навсегда, отозвали даже своих командиров отчитываться на пленуме, праздновать победу. Оставили в том же Богучарском уезде два батальона пехоты да усилили отряды чека и милиции. Этим отрядам и приказано громить повстанцев до конца, не давать им покоя ни днем, ни ночью.

Эти сведения о силах и намерениях красных удачно добыл Сашка Конотопцев еще до боя у Твердохлебовки: попал в плен знающий эскадронный командир, молодой, насмерть перепугавшийся парень. Он охотно отвечал на вопросы, надеялся, видно, что его оставят в живых, но Сашка потом лично зарубил его...

Словом, о планах красных Колесников, хоть и в общих чертах, знал, усмехался почерневшими от мороза и ветров губами: рано прячете клинки, господа коммунисты! Не один еще из вас ляжет в эту мерзлую землю, отнятую у его батька, а значит, и у него самого, не один еще большевик завопит дурным голосом на самодельной дыбе — Евсей вон мастак на всякие штуки, ему только мигни!

Почти сутки шел Колесников с Мордовцевым и Алексеевским в одном направлении — на Кантемировку, но прятался в логах, лощинах. Круг через Кантемировку давал ему возможность выиграть время и пополнить банду: в тех же Талах к нему примкнули сразу пятьдесят два человека, ждали. В других селах пополнение шло не так успешно, но шло. За день прибавилось в отряде до двухсот штыков, да сабель у него было сто десять, а это уже кое-что, с такой силой можно проучить Мордовцева и Алексеевского...

Двое конных из разведки все время держали их отряд в поле зрения. Отряд явно спешил, эскадрон шел на рысях, быстро катились и брички. Пулемет на одной из них сдерживал Колесникова — у него, кроме сабель, ничего

уже не было, последний пулемет брошен под Лофицкой, а обрезами много не навоюешь.

Не советовал ввязываться в бой и Митрофан Безручко: надо отдохнуть в Калитве, где-нибудь в лесах, залечить раны, собрать заново если не дивизию, то уж по крайней мере полк, а потом думать дальше. Говоря это, голова политотдела морщился, потирал бедро — все еще болело, проклятое, ныло.

За Бугаевкой Колесников решил повернуть на Фисенково, а там, через Криничную, — на Старую Калитву. Дорога была знакомая, ночью он должен быть дома. Конечно, сразу в Калитву соваться опасно, надо послать Сашку, разнюхать — как там да что, не оставили ли красные засаду. А пока побывать на Новой Мельнице, отоспаться, Лидку помять... Все ж таки молодая баба, не в пример Оксане...

Подскочил верхом Конотопцев — с красными, воспаленными от недосыпа глазами, с ухмыляющейся, знающей что-то рожей.

— Иван Сергеич! — негромко, перегнувшись с коня, сказал он. — Эскадрон-то красных... тю-тю! Повернул. Начальнички сами катют.

— Да ну-у? — не поверил Колесников. У него от этой вести радостно екнуло сердце. — Ах, собаки! Думают, курвы, что хана Ивану Колесникову, амба. Что его теперь и бояться нечего. Пришел и мой час, пришел-ел!..

Он окинул повеселевшим взглядом понуро качающееся свое войско.

— Ты вот что, Конотопцев. Ленты красные найдутся? Нацепи-ка на шапки двоим-троим. Флаг бы еще красный... Рубаха красная есть? Давай рубаху, на палку ее цепляй, за рукава. Ленты вон тем нацепи: Маншину, Кунахову, Ваньке Попову... Сам нарядись, за командира будешь... Паняй!

...Через полчаса в Смаглеевку въехал небольшой, по виду чоновский отряд — с флагом, с красными лентами на шапках; бойцы нестройно горланили какую-то разудалую песню.

Конотопцев, ехавший первым, повернул к ребятне у горки, окликнул девчушку с розовыми, как яблочки, щеками:

— Где тут товарищи наши остановились, не знаешь?

Девчушка шмыгнула носом:

— А вона, у Лейбы. Чай небось пьют. У него самовар есть.

— Ага, чай пьют... Ну, спасибо тебе.

Четверка конных поскакала к дому Лейбы; скоро оттуда понеслись выстрелы, всполошившие все село.

Выстрелы эти были сигнальными — теперь на Смаглеевку из ближнего заснеженного оврага кинулась волчьей стаей вся банда...

Мордовцев, вышедший уже после чаепития во двор, видел, как приближались к дому конные — с красными лентами на шапках, со странным каким-то флагом. В следующую минуту отряд подскочил к воротам, открыл стрельбу.

Выскочили во двор Бахарев с оперуполномоченным Розеном; Бахарев бросился к пулемету, но в чекистов били уже со всех сторон, и он упал, схватившись за грудь. Упал и Розен, он был ранен в левую руку; здоровой рукой отстреливался из нагана. Из дома, из окон, вели огонь Алексеевский с уполномоченным продкома Перекрестовым и сотрудником губмилиции Поляковым, но что значили их три нагана против десятков винтовок и обрезов?!..

— Мыкола, кинь-ка в хату бомбу! — отчетливо услышал Мордовцев голос за воротами, и скоро один за другим ахнули в избе два взрыва, завизжали женщины.

Теперь бандиты навалились на плетни и ворота — те рухнули под бешеным напором, конные и пешие разъяренной, ревущей толпой хлынули во двор, хватали выбежавших из дверей и отчаянно кричащих женщин, бросившегося было к погребу Лейбу, мечущихся на привязи лошадей.

— В хату! В хату, Мыкола! И ты, Иван! — тонко и зло кричал Конотопцев. — Гляньте, кто там сховався! Кто в окна стреляв!.. Сюда его, на свет божий!

Схватили Мордовцева, бросившегося к пулемету, заломили руки, ударили прикладом винтовки по голове. Навалились и на Розена — тот зажимал ладонью кровоточащую рану.

— Раздевайтеся! — приказал им обоим Конотопцев.

В одном белье Мордовцева и Розена вывели на улицу, навстречу неспешно приближающимся всадникам, среди которых выделялись двое: один — угрюмый, заросший щетиной, с белыми ножнами шашки, а другой — рыхлый, громоздкий, сидевший как-то боком на вороном коне.

«Это и есть главари, — догадался Мордовцев. — Колесников и как его... Безручкин, что ли... А у Колесникова, точно, белая шашка...»

— Ну что, Конотопцев? — строго спрашивал Колес-

ников; он и Безручко стояли уже перед пленными. — Остальные где?

— Остальные уже там, Иван Сергеич! — Сашка с кривой ухмылкой поднял палец вверх. — Крылышками машут.

— Алексеевский из них кто?

— Та не знаю, Иван Сергеич... Мабуть, там, в хате.

— Ладно, погляжу. Документы забрали?.. Хорошо, глядишь, пригодятся. — Колесников перевел глаза на Мордовцева. — А ты, значит, военком?

— Да.

— Угу... Ну шо: победив Колесникова? А, военком? Штаны-то твои где?

Окружившие их бандиты захохотали, кто-то сзади пнул Мордовцева.

Мордовцев молчал, переступал босыми ногами на снегу. Розен качал на весу раненую руку, морщился.

— Ты гляди, Иван, не плачут коммунисты, прощения не просят, а? — Безручко с иезуитской ухмылкой обращался к Колесникову. — Гордые, мабуть. Нет бы поплакать, на коленки упасть... Терновку нашу спалил, гад! Ну-ка, Мордовцев, подними голову повыше, а то плохо тебя бачу. Шо ты зенки-то опустил? Стыдно, да?.. То-то, не гоняйся за Колесниковым!.. Да не гляди ты на меня так, я не из пугливых, ляканый-переляканый... Дети есть?

— Кончай, собака! — Мордовцев плюнул кровью. — Все одно, недолго тебе осталось!

— О-о, грозит еще. Значит, есть детки, да? Жаль, останется семя, надо и их... А батьку мы зараз вот так! — И Безручко резко взмахнул клинком.

Розена добил Евсей; упросил Колесникова поизмываться над раненым большевиком-чекистом, велел трясущемуся от страха Лейбе принести пилу — мол, сейчас тебе, большевистский прихвостень, дров напилим... Пилы не нашлось, и тогда Евсей развалил пленника надвое страшным ударом сабли...

Вокруг, кровожадно ощерясь, гоготали бородатые, звериные хари, а кони дружно и испуганно вскидывали головы, шарахались в стороны. Пахло горячей кровью...

Принесли документы убитых; Колесников с Безручко, спрыгнув с коней, разглядывали их с любопытством.

— И печатка есть, гляди-ка, Иван! — Безручко подбросил на ладони коробочку, испачканную чем-то фиолетовым. — Будем теперь им на лбы штампы ставить, ага?

Колесников пошел в дом; ходил среди убитых, всматривался в лица. Остановился возле Алексеевского, долго разглядывал его молодое, застывшее в последней смертной муке лицо с курчавой бородкой. Валялся рядом с рукой комиссара наган, из виска все еще сочилась кровь.

«Ну вот, свиделись, — злорадно думал Колесников. — Гонялся-гонялся ты за мной, а сам лежишь... И последнюю пулю себе, выходит, приберег?..»

Колесников потоптался у трупа, жадно вглядываясь в открытые глаза Алексеевского; почудилось, что тот шевельнулся, потянул руку к нагану, и Колесников в страхе отскочил, схватился за эфес клинка...

Оглянулся — не видел ли кто его трусливого прыжка; носком сапога отбил подальше наган... Подумал: а он бы сам не стал стреляться, не поднялась бы рука. Да как это — самого себя?!..

«А я Алексеевского не стал бы убивать, — думал Колесников, уже выйдя на улицу и садясь на коня. — Я б его с собой возил, гнул бы его на свою сторону. Молодой же он был, сломался бы. Сломали бы!» — скрипнул зубами, вспомнив лесное приспособление Евсея, с помощью которого тот выворачивал пленным красноармейцам руки и ломал им кости; в следующую минуту Колесников понял, что ничего из этой затеи у него не получилось бы — был же в его руках парень из чека, страшные муки принял, а не дрогнул.

«И кому вы нужны со своим геройством? — угрюмо думал Колесников, трясясь впереди своего отряда по безрадостной ледяной дороге. — Кто вспомнит о вас? Валяйся там, у окна...»

Повел ссутулившимися, обвислыми плечами, исподлобья, по-волчьи, оглядел расстилавшуюся перед глазами степь. Холодно, кляп ей в рот, этой зиме! Захвораешь еще чего доброго!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В Старой Калитве красных не оказалось, и Колесников, выставив посты, расположился в слободе на короткий отдых. Было объявлено, что «утром полк уйдет», куда и зачем — никто не знал, а штабные будто воды в рот набрали. Безручко на вопросы бойцов похохатывал, жал круглыми плечами, Конотопцев лишь презрительно сплевывал и щурился подозрительно: «А яке тебе дило? Куда

командир поведет, туда и пийдешь. Поняв?» Резко и зло высказался Богдан Пархатый, теперь начштаба при Колесникове. Когда Демьян Маншин на пару с Гришкой Котляровым поинтересовались у нового штабного о дальнейших планах, Пархатый в ту же секунду рубанул: «Мы завсегда будем одним делом заниматься, коммунистов резать. Поняли? Резать и убивать!»

Демьян дернулся от последних этих слов, хотел было возразить, но промолчал; позже признался Котлярову, что сил больше нету заниматься бандитскими этими делами, хватит, сколько уже крови пролили, а ради чего? Воевать больше смысла нету, дорожка тут одна, к расстрелу, надо, пожалуй, бросать и идти в чека каяться, может, и простят — обещают же тех, кто придет с повинной, не трогать. Гришка внимательно слушал Демьяна, вроде бы и соглашался, но сейчас же побежал к Конотопцеву и доложился.

Демьяна стащили с печи, где он, кое-как помывшись в корыте с помощью жены, заснул только что тяжелым и тревожным сном; он и не понял сначала, за что его бьют.

В штабную избу Демьяна ввели трое: Евсей, Кондрат Опрышко и Стругов. Никто из них ничего не объяснял, а Стругов, собачье отродье, все норовил попасть кулаком в зубы.

Колесников со штабными, судя по всему, спать в эту ночь не думали: стол ломился от бутылей с самогонкой и закусок, взвизгивала в соседней комнате гармошка, за ситцевой занавеской пьяно хохотала какая-то женщина. За столом восседали кроме Колесникова Безручко, Богдан Пархатый и старокалитвянские кулаки — Назарук и Кунахов.

Демьян стал перед столом.

— Ну! — грозно уставился на него Колесников и все враз стихло, даже гармошка смолкла. — Шо скажешь, Маншин? Надоело, значит, воевать, а? К бабе своей захотел?.. Так-так. А мы, выходит, свободу тебе должны добывать, лучшую жизню готовить? Землю от коммунистов очищать. Так?

— Да я... Я ничого, Иван Сергеевич, — стал оправдываться, вилять Маншин, сообразивший, наконец, в чем дело. — Брякнув с горячки. Людей, кажу, богато побило, весна скоро, пахать некому будет.

— Ишь, умный какой! Об чем заботится! — гулко затрубил Назарук. — А командиры не понимают ничего,

да? Телячья твоя мозга! Коммунисты тебе знаешь як напашут на спине да чудок пониже!

За столом, поддерживая Назарука, дружно загомонили.

— К стенке Демьяна, чего там! — подзуживал Кунахов. — На кой ляд он нужен нам, такой воин!

— Шомполов ему горячих, чтоб неделю на зад сесть не мог!

— Проучить его, окоротить язык!

Назарук наклонился к уху Колесникова, что-то сказал. Тот властно кивнул терпеливо поджидающему в углу горницы Евсею:

— Всыпь ему!

Евсей обрадованно вскочил, деловито сгреб Демьяна за шиворот, потащил. С порога уточнил у Колесникова:

— Як его казнить, Иван Сергеич: шоб робыв или шоб хворав?

— Чтоб командиров своих почитал, — подал голос Безручко, и все довольно и одобрительно загудели, замотали головами — так, политотдел, так!

Били Демьяна тут же, во дворе штабного дома. Евсей приладил к столбу проволоку, Маншина подвесили за ноги и полосовали вожжами и чем-то тяжелым по спине. Евсей показывал Опрышке и Филимону, куда бить, чтоб побольней и не было крови, а сам все ходил вокруг, приглядывал; потом изловчился и ногой выбил Демьяну четыре зуба.

«Ладно, Иван Сергеевич, ладно, — плакал Демьян, сплевывая кровь. — Думал, и вправду ты за бедняков печешься. А теперь недолго тебе над людьми измываться, недолго. Глядишь, и зачтут в чека твою смерть, простят меня...»

Домой Маншина уже не отпустили: велели умыться и поставили охранять сани с оружием. Он стоял у сарая вместе с другим часовым, слушал фырканье лошадей, шуршание сена и с ненавистью смотрел на ярко светящиеся в ночи огни штабного дома. Разбитые десны болели, во рту от сочащейся еще крови было солоно и горько.

Этой же ночью Колесников побывал дома. Никто из домашних не спал, слух о приходе «полка» распространился по слободе с быстротой молнии. Многие старокалитвяне сбежались на площадь у церкви, сам собою возник сход. В голос кричали женщины, жены, матери и сестры убитых; Колесников подгребал теперь в свое войско

и хромых, и кривых, и всяких. Бабы проклинали войну и эту смертную бойню, которую затеяли их слобожане, ругали Колесникова с Безручко, говорили, что хватит лить кровь, сколько горя и слез кругом... Выделялся в этом праведном женском хоре высокий молодой голос: он притягивал к себе, заставлял прислушиваться, думать. Толпа, стихийно сбившаяся у церкви, обернула сейчас растерянные, большей частью испуганные лица на этот голос, невольно потянулась на него, плотно окружая говорившую — совсем еще девчонку, в вязаном платке и ладном полушубке.

— Кто это говорит? Кто? — тянули шеи те, кто стоял поодаль, кому не было видно девушку.

— Да Щурова это, Танька, — откликались передние. — Комсомол недобитый.

— Сам ты недобитый, дурак! Крови тебе мало?! Залил зенки и гавкаешь. Правильно она говорит.

— Ну нехай пока поговорит. Мы тут уже слухали койкого.

— Ой, дочка,—испуганно всплескивала руками пожилая женщина. — Да что ж она, или не боится бандитов? Они ж, проклятые, ни перед чем не остановятся.

— Цыц, Дарья! Какие ще бандиты?! Думай, шо говоришь. Освободители наши, а ты... Посторонись-ка!

— Это ты, Марко?! — Дарья в прикрикнувшем на нее мужике не сразу узнала Гончарова, заросшего волосом, грязного, с дикими какими-то глазами; за ним молчком лезли еще трое.

— Гончаров! Гончаров! — ледяным ветром дохнуло по толпе, и она вдруг распалась надвое, давая дорогу этим четверым. Гончаров стоял теперь за спиной Татьяны Щуровой, слобожанки и комсомолки, дочки красного командира Петра Николаевича Щурова.

— Вас всех обманули и запугали! — звонко говорила Таня. — Колесников и его штаб — никакие это не освободители, это враги трудового народа. Это изверги и бандиты. Они убивают и мучают невинных людей, они хотят вернуть власть кулаков и ...

Гончаров выстрелил девушке в спину; Таня, широко раскрыв от ужаса и боли глаза, рухнула на истоптанный грязный снег. Марко же, как и трое его дружков, скалясь, палили в воздух из наганов и обрезов, наслаждаясь переполохом.

Повыскакивали на крыльцо полуодетые штабные, клацали затворами винтовок часовые; с колокольни, на

всякий случай, полоснул поверх крыш пулемет, ахнуло еще с пяток выстрелов, потом стихло все, умерло.

Гончаров, ухмыляясь, стоял перед Колесниковым.

— Здоров, Иван Сергеевич!

— Здорово, Марко, здорово!.. Где тебя черти носили?

— Да носили... Х-кха!.. Помирать кому охота? От красных хоронился, чуть было в плен к ним не попав... А тут, чуем, вы до дому повертались.

— Ну, не до дому и не все вернулись. — Лицо Колесникова ожесточилось. — Кто в честном бою полег, а кто в камышах отсиживался да чужих баб тискал.

— Баб много, Иван Сергеевич, не обижайся. Табун еще тебе пригоню... А Таньку, — он наганом показал себе за спину, — жалеть нечего, красная она до пяток.

— Грехи, выходит, замаливаешь, Марко?—усмехнулся, покуривая, Безручко.

— Может, и так. — Гончаров с наглой рожей уставился на начальника политотдела. — Но к Таньке еще шесть комиссаров прибавь и двух милиционеров, без дела не сидели.

— Ладно, потом разберемся, — махнул рукой Колесников. — Холодно тут, айда в дом. Там потолкуем.

...Сейчас, вспоминая все это, животный свой страх перед Гончаровым (этот не остановится и перед ним, командиром, пулю всадит и не охнет), Колесников ехал к своему дому. Особого желания появляться перед родными у него не было; мать, кажется, все ему сказала тогда, на Новой Мельнице, настроила против него, не иначе, и жену, и сестер. Как же: муж — главарь банды, убийца! Да кто бы из них жил сейчас, если бы он не сделал такого шага?! И как им объяснить, что при красных они из нищеты никогда не вылезут, будущая коммуна, уравниловка, не позволит даже самым трудолюбивым крестьянам иметь больше других, хоть ты лоб расшиби! Ведь большевики прямо говорят: все равны, все одинаковы... А! Без толку бабам это говорить, овца и та скорей поймет!

Домашние встретили его молчанием. На приветствие ответила одна Настя, меньшая из сестер, да и то скороговоркой, с оглядом на мать. А уж мать — та вообще за ухват взялась, чугунки ей понадобилось срочно ворошить!

— Переодеться дай!—глухо, отрывисто сказал Колесников старшей из сестер, Марии, и та кинулась к сундуку.

— Оксана где? — спрашивал Колесников у матери.

— Ушла она, — ответила Мария Андреевна, не разгибаясь от печи.

— Ну ладно, вернусь вот...—многозначительно пообещал Колесников; он наскоро переоделся, пожевал картошки с солеными огурцами и ушел, не простившись. И ему никто ничего не сказал вслед.

* * *

По указанию Колесникова выпороли и «бойца для мелких поручений» Сетрякова за потерю бдительности. Имелся в виду побег «жинки» атамана, Соболевой, кончившийся «вынужденной мерой, убийством последней» — так было сказано в приказе, который сочинил новый начальник штаба, Пархатый. Стругову в этом же приказе объявлялась благодарность «за решительные действия, а также за точное исполнение распоряжений командира».

Пороли Сетрякова на виду, за плетнем штабного дома, все те же Евсей с Кондратом Опрышко. Дед повизгивал, дергался в одном исподнем на специально принесенной для экзекуции широкой лавке, слезно просил «Евсеюшку» не позорить его перед честным народом, но Евсей лишь посмеивался, охаживая пучком мерзлой лозы тощий дедов зад, приговаривал при каждом ударе, что «военна дисциплина для усих одна и треба сполнять ее и старикам, и молодым».

За плетнем собралась толпа зевак, парубки улюлюкали, подбадривали Евсея и Кондрата, который сидел на ногах Сетрякова, а сердобольные бабы охали и потихоньку возмущались: да что ж это деется? Старика лупцуют...

Кончилась экзекуция совсем весело: сквозь толпу прорвалась вдруг Матрена, жена Сетрякова, выхватила у Евсея лозу, под хохот и свист парубков сама вытянула деда по спине, а потом велела ему одеваться и повела домой.

Сетряков шел впереди Матрены, опустив от горя седую простоволосую голову, стыдясь смотреть на слобожан—вот тебе и коня дали, и сани... Эх! Старого воробья на мякине провели!..

Сбоку скакал на одной ноге Ивашка-дурачок, выкрикивал обидное:

— Побил комиссаров! Ага! Побил комиссаров!..

...К вечеру банда снялась из Старой Калитвы. Отдохнувший и внешне бодро выглядевший полк тем не менее вяло тащился по улицам слободы, покидал дома с явной не-

охотой. Стало, наконец, известно, что Колесников принял решение уйти в Тамбовскую губернию, на соединение с Антоновым, а если не получится (красные могли перерезать путь на север), то на Украину, к батьке Махно. Можно было пойти и на юг, к Фомину, но юг Воронежской губернии крепко теперь держали чоновцы и отряды чека, пробиться без боя, незаметно, нельзя. А чем еще кончится бой — одному богу известно. Да, надо идти к Александру Степановичу, тот ведь пожелал «лично свидеться и обсудить план дальнейших совместных действий».

Через день с большим, хорошо вооруженным отрядом влетел в Старую Калитву Наумович. Последние сутки он, что называется, висел на хвосте у Колесникова — тот метался между Нижним Кисляем, Калачом и Шиповым лесом, прячась в него от чекистов, как улитка в раковину. Боя Колесников явно избегал. Судя по поведению банды, она стремилась уйти из губернии, скорее всего на Тамбов, и Наумович всеми силами старался помешать ей осуществить этот замысел.

Отчаявшись уйти невредимым и без потерь, Колесников ринулся напролом — снова на Калач, а потом на Новохоперск, где в коротких кровавых стычках потерял многих, в том числе и нового начальника штаба—Пархатого.

«Полк» таял на глазах: бойцы потихоньку разбегались — и от страха за будущую расплату, и от нежелания идти в соседнюю губернию: дома и прятаться лучше, знакомые все места, и убьют — так тоже дома, будет кому и похоронить, и поплакать над могилой...

Такие настроения у повстанцев передал Наумовичу пленный, назвавшийся Григорием Котляровым. Он сообщил, что с Колесниковым осталось человек пятьсот, не больше, но все это «отпетые», эти не побегут и в чека не явятся. Себя же Котляров выдавал за подневольного, он-де никого из красных пальцем не тронул, а просто так на коне скакал да самогонку пил. Наумович сказал Котлярову, настороженно с надеждой заглядывающему ему в глаза, что следствие и ревтрибунал разберутся что к чему, отправил бандита под конвоем в Павловск. В самый последний момент хотел спросить, живой ли там Демьян Маншин?.. Но не спросил, передумал. Да и что бы это дало? Хоть он, Наумович, и отпустил Маншина сознательно, с надеждой — должен же он понять что к чему, не ребенок! — но надежда эта была слабой.

Колесников с боем прорвался через деревню Алферовка близ Новохоперска и Хоперскими лесами двинулся на Каменку, к Антонову. Но цели он своей достиг не скоро...

А Наумович вернулся в Старую Калитву. В потрепанной его записной книжке значились фамилии: Назарук, Кунахов, Сетряков, Ляпота, Прохоренко...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Начальнику Главного оперативного штаба армий Тамбовского края АНТОНОВУ А. С.

РАПОРТ

Настоящим доношу, что 24 февраля сего года в Кабань-Никольское из-под Богучара Воронежской губернии прибыл партизанский отряд под председательством Ивана Сергеевича Колесникова численностью 500 человек при 9 пулеметах. Цель прибытия Колесникова в наш район — связаться с армиями нашего края и решить несколько общих боевых задач. По сообщению Колесникова, Махно разделился на две части, из которых одна пошла на Полтаву, а другая — на Ростов н/Д. Колесников со своим отрядом прошел весь юг России, он очевидец поголовного восстания этого края. Колесников совместно с командиром 3-й бригады 26 февраля осуществил набег на станцию Терновка Юго-Восточной ж. д., где завязался упорный бой с противником, продолжавшийся с 9 утра до 2-х часов дня. Противник упорствовал, но доблестными партизанами был совершенно смят и уничтожен. Удалось уйти 15—20 человекам с одним пулеметом и только благодаря прикрытию артиллерии. Взято в плен 100 человек, один пулемет «максим», три воза винтовок и масса патронов. Убито у противника 150—200 человек. Наши потери ничтожны.

Прошу вас об установлении связи с 1-й армией и отрядом Колесникова, а если найдете возможным, прибыть в наш район для окончательного разгрома противника.

И. ГУБАРЕВ,
начальник штаба 1-й партизанской армии Тамбовского края
27 февраля 1921 года

* * *

В Каменку, в штаб Антонова, Колесников попал лишь в середине марта. Бои с частями Красной Армии следовали один за другим; под Туголуковом красные в короткой схватке вырубили эскадрон повстанцев. Колесников, всячески избегая дальнейших потерь, кинулся на Кропоткино. Но там его встретил сильный артиллерийский и пулеметный огонь, потом навалилась конница, и он спешно по-

вернул на юго-запад. Его отряд перешел железную дорогу в районе станции Бочарниково, укрылся в лесу. От первых легких побед на тамбовской земле остались лишь воспоминания; всюду воронежские повстанцы натыкались на регулярные части Красной Армии, вынуждены были с боями прокладывать себе дорогу.

Наткнувшись в Кабань-Никольском на 3-ю бригаду Первой антоновской армии, на виду у «тамбовских партизан», Колесников на радостях, а главное, для укрепления своего положения, напал на станцию Терновка, перебил около двух рот красных, надеясь на дальнейшее скорое продвижение вперед и на встречу с Антоновым. Но командир этой 3-й бригады Жердев сказал, что Александр Степаныч воюет нынче под Кирсановом, идут там затяжные бои, чем дело кончится — неизвестно. «Бей красных пока здесь, под Никольским, вместе с нами». Жердев доложил рапортом начальнику штаба первой армии Губареву, тот, как это и положено, настрочил свой рапорт Антонову, и дело на этом кончилось. Никаких указаний из Главного оперативного штаба не последовало, Колесников мог, судя по всему, принимать самостоятельные решения...

В лесу, у станции Бочарниково, отряд его простоял всю ночь. К утру выяснилось, что взвода бойцов, примкнувшего в последние дни, нет — как корова языком слизала. Унесли они с собой и два пулемета.

Выслушав доклад Митрофана Безручко о дезертирах, Колесников выматерился, велел строиться, мрачно сказал бойцам:

— Лошадей надо кормить и самим жрать надо. Все наши фуражи остались там, — махнул неопределенно рукой, — никто не подаст, не ждите. Идем сейчас на Хомутовку, возьмем, что сумеем. А не сумеете — пеняйте на себя.

Тронулись в путь. Утро поднималось хмурое, безрадостное. Хрустел под копытами коней мартовский рыхлый снег, лес стоял угрюмый, черный. Бесновался наверху, в вершинах голых дубрав ветер, сердито трепал макушки деревьев, швырял в лица людей то запутавшийся в ветвях прошлогодний лист, то сухую веточку рябины, то клок шерсти. Пахло уже весной, воздух стал теплее; дохнуло из низины влажным перегноем, журчал поблизости ручей, пробовала голос какая-то пичуга...

— Нужны мы этому Антонову, як собаке пятая нога, — сказал вдруг Безручко, ехавший рядом с Колесни-

ковым, и тот, думавший об этом же, вызверился на начальника политотдела:

— Шо за речи, Митрофан?! Стыдно слухать. Бойцам не вздумай глупость эту ляпнуть.

— Та бойцам, понятное дело, не скажу, Иван, — усмехнулся Безручко. — И так уже половины нема.

Они негромко поговорили меж собой, решили, что на ночь надо выставлять усиленные караулы и тех, кто решится покинуть лагерь без разрешения, — стрелять.

В Хомутовке оказался небольшой отряд милиции. С ним быстро и свирепо расправились, никто из милиционеров живым не ушел. Потом набросились на дворы — тащили все, что можно было съесть, резали коров, свиней, ловили кур и гусей, перебили у одного из хозяев целый выводок кроликов. Запахло в Хомутовке жареным мясом, на улицах села горели костры, булькало в реквизированных чанах варево. Не забыли и о лошадях, кормили их сытно, впрок, овес брали с собой — хоть по торбе, по сидору.

На следующий день в Чуевке вакханалия повторилась, многие бойцы ударились в пьяный загул, у зажиточных селян в большом количестве нашлась самогонка, тут, в Чуевке, можно было и постоять дня три-четыре. Но к вечеру Колесникова настиг кавалерийский отряд, в жестокой схватке красноармейцы вырубили до полусотни пьяных повстанцев. Колесникову с Безручко стоило большого труда удержать свое войско от позорного бега — красных было раза в два меньше, но дрались они с отчаянной решимостью и злостью, ни перед чем не останавливались. Сытым же, полупьяным «бойцам» Колесникова вовсе не хотелось умирать в этот распогодившийся, брызнувший ярким солнцем день. Дрались кое-как.

Колесников бросил раненых, увел отряд от окончательного разгрома на Уварово и Нижний Шибряй, потом снова пересек железную дорогу, кружил возле Синекустовских Отрубов, Туголукова, Степановки — ждал появления Антонова.

Дней через десять, когда в отряде у Колесникова осталось около четырехсот человек, разведка донесла: Александр Степанович прибыл, в Каменке. Говорят, раненый, злой, никого не хочет видеть...

Антонов заставил ждать Колесникова довольно долго. Даже в тот день, когда была уже назначена встреча, он

принял командира воронежских повстанцев лишь к вечеру.

За закрытыми дверями штабной комнаты слышался визгливый высокий голос начальника Главоперштаба — Антонов распекал какого-то нерадивого хозяйственника за плохое снабжение армии фуражом и продовольствием.

— ...А чего ты с ним цацкаешься?—кричал Антонов.— Всех, кто нам мешает, — башку долой и в яругу! Никого уговаривать не надо, поймут потом. Подозрительных, которые и нашим, и красным, — в яругу! Предатели в политическом отношении нам вредные. Борьба идет кровавая, смертная. Поймают нас с тобой красные — пуля в лоб...

Александру Степановичу стали, видно, возражать, голос говорившего человека показался Колесникову знакомым — он прислушался...

Антонов снова закричал:

— Я тебя расстреляю, Лапцуй, если ты не обеспечишь продовольствием хотя бы мой резерв. С пустым брюхом и разбитой башкой... вот, видишь?.. воевать не собираюсь. Где хочешь, там жратву и сено для коней находи! Отымай у красных, мотайся по деревням, грабь, а лучше сказать, бери взаймы, потом рассчитаемся... Иди.

«Неужели Ефим?» — успел подумать Колесников, а Лапцуй, калитвянский их житель, дослужившийся в старой армии до поручика, мокрый сейчас от пота, с красным лицом выходил из дверей горницы, ничего, кажется, не видя перед собой. Закрыв двери, Лапцуй с облегчением перевел дух, выхватил из кармана красных галифе платок, вытер лоб и шею, встряхнул пышными кудрями: «Ох, злой нынче атаман, куда к черту!» — сказал он, обращаясь к сидевшим па стульях мужикам и тут же увидел вставшего ему навстречу Колесникова. Развел руки:

— Ива-ан? Ты, черт?

— Я, кто ж еще?!

Колесников шагнул к Лапцую, подал тому руку, но Ефим порывисто заключил его в объятия, даже от пола приподнял.

— Слыхал, слыхал, что воюешь с красными, — радостно говорил Лапцуй, от которого несло водкой и жареным луком. — Молодец!.. Шашка моя целая?

— Целая, вот она, — показал Колесников. — Память, как же.

— И я тебя вспоминаю, Иван. Не помог бы ты мне тогда... а, чего говорить! Давно бы червей кормил.

Так... — Ефим отступил на шаг, разглядывал Колесникова. — Так ты у нас теперь? Или как?

— Да вот, прибыли. — Колесников кивнул за окно, где в отдалении дожидался его отряд. — Так сказать, за подмогой к Александру Степанычу и инструкциями.

— Ну, насчет инструкций не сомневайся, у Степаныча за этим дело не станет. — Лапцуй оглянулся на дверь, из которой только что вышел, нервно засмеялся. — А подмогу... — Он осекся, сменил разговор. — Выглядишь ты, брат, не очень, а? Зарос, глаза провалились. Хворый, чи шо, Иван?

— Хворый не хворый... — Колесников натянуто улыбнулся. — Харчевен в лесу маловато, а так бы ничего. А ты кем тут?

Лапцуй не успел ответить, дверь снова отворилась, в переднюю вышел адъютант Антонова — холеный, чистый, в блестящих сапогах, спросил начальственно: «Кто тут Колесников?» — Оглядел его с головы до ног, брезгливо повел носом, велел снять шинель и шапку, почистить веником сапоги. Хотел потребовать что-то еще, но сдержался.

«Тебя бы туда, где я был, — зло подумал Колесников. — Покрутил бы тогда носом».

— Ты потом ко мне давай заходи, Иван, — сказал Лапцуй. — От церквы второй дом, ставни голубые, увидишь. Живу там у одной...

Колесников торопливо кивнул, пригладил пятерней всклокоченные, давно немытые волосы, шагнул вслед за адъютантом в просторную светлую горницу, где за столом, у окна, сидели двое, выжидательно и молча смотрели на него.

«Который же из них Антонов? — растерялся Колесников. — Надо было бы спросить у этого чистоплюя...» Выбрал крутолобого, с повязкой на шее, в распахнутом френче, доложился по форме — мол, командир воронежских повстанцев прибыл на соединение.

Антонов вскочил, быстрыми мелкими шагами подошел к Колесникову, который стоял навытяжку, подал руку: «Здоров, Иван Сергеевич, здоров!» Бесцветными, водянистыми глазами, в которых стоял погребной холод, равнодушно оглядел Колесникова. Небольшого роста, хилый телом Антонов смотрел на Колесникова снизу вверх, куда-то в подбородок; повернув голову, сморщился от боли в шее.

— Командир дивизии, говоришь? Ха-ха! Ты слышал,

Александр? — повернулся Антонов к тому, второму, но он никак, казалось, не прореагировал.—Мне доложили, Колесников, что с тобой человек триста, не больше.

— Четыреста, Александр Степанович, — несмело поправил Колесников. — Многих побили, кое-кто в лесу... Короче, сбежали...

Он говорил еще, объяснял, что было на пути сюда, в Каменку, но никакого сочувствия, даже понимания в лице Антонова не видел. Понял вдруг, что никому нет здесь до них, воронежцев, дела, что жалкие остатки дивизии вызывают к нему, Колесникову, лишь легкое сочувствие, а может быть и подозрение, неприязнь — зачем пришел? где полки? орудия? пулеметы?.. Но разве не знает Александр Степанович о боях сначала там, на воронежской земле, и теперь у них на Тамбовщине?! Разве не докладывали ему, что Колесников воевал успешно, держал в напряжении целую губернию. И было бы у него побольше оружия!.. Эх, не на такой прием он рассчитывал, ждал, что Антонов, к которому он так стремился, скажет что-то другое и по-другому пожмет руку, а здесь—ледяные, безжалостные глаза, упреки с первых же слов...

Скрипя сапогами, подошел тот, второй, в офицерском, под желтой кожаной портупеей кителе, с лицом припухшим, мятым. Буравил Колесникова угольно-черными глазами, рассматривал откровенно, с заметным интересом. «Богуславский я», — сказал отрывисто, пожал руку Колесникову, сильно и цепко. Прибавил:

— С прибытием, Иван Сергеевич.

— Спасибо, — невеселым эхом откликнулся Колесников и пошел вслед за Антоновым, властным жестом позвавшим его к столу, на котором вперемешку лежали: штабные, исполосованные цветными карандашами карты, полевой бинокль с треснутой линзой, какая-то потрепанная книга, деревянная кобура с маузером, лохматая баранья шапка.

Все трое (адъютант после доклада вышел, явно намеренно, для Колесникова щелкнув каблуками) сели за стол, молчали какое-то время, все еще приглядываясь друг к другу, утверждаясь в своих первых ощущениях. Антонов поправлял на шее повязку, осторожно поворачивал голову туда-сюда.

— Мы посылали тебе целый обоз оружия, Колесников. Где он? — спросил Антонов, глянул исподлобья. Колесников намагниченно разглядывал его руки, с короткими нервными пальцами, с обкусанными ногтями. Он не в

силах был поднять глаза, вернуть себя в нормальное состояние — Антонов странно действовал на него. Колесников с первой же минуты почувствовал, что боится этого человека, боится возразить ему, сказать то, что хотелось.

— Обоз перехватили чекисты, Александр Степанович. Узнали, чи шо...

— Ты мне тут не «чишокай»! — истерично закричал Антонов и ладонью треснул по столу. — Расплодил шпионов в штабе, а теперь «чекисты перехватили»! Я этот обоз по винтовочке тебе собирал, сколько красных положил!..

Антонов вскочил, забегал по горнице, полы его темно-зеленого френча разлетались в стороны от резких движений рук; остановился перед Колесниковым, бил себя тощим кулаком в грудь.

— Я надеялся на тебя, Колесников! У тебя в руках была дивизия! Д и в и з и я! Народ пошел за тобой, поверил. А ты что? Пьянки, гулянки, свадьбы!.. Мало тебе баб?! — Антонов с размаху плюхнулся на стул, тыкал пальцем в карту. — Я планировал совместные действия в вашей губернии. Мощные удары по Борисоглебскому и Острогожскому уездам вынудили бы коммунистов бежать без оглядки на все четыре стороны. А потом ахнули бы и по Воронежу. У Языкова все было подготовлено, продумано... Тьфу! Теперь что? Четыреста человек он привел. Вот спасибо, вот обрадовал! Да ты понимаешь или нет, что загубил в своей губернии такую силищу! Такую силищу! — повторил Антонов, потрясая кулаками. — Наша партия социалистов-революционеров вела все эти годы огромную подпольную работу, ты пришел на готовое и — загубил. Загуби-и-ил, кобелина проклятый!..

«Сейчас он схватит маузер и... тогда все, тогда конец, — тоскливо подумал Колесников. — Хоть в ноги падай, проси пощады».

Заговорил Богуславский; спокойный его голос подействовал, видно, на Антонова. Начальник Главоперштаба обмяк, сидел, внешне безучастный к дальнейшему разговору, по-прежнему морщился. Выпуклый, нависший над глазами лоб Антонова стал красным от крика, повязка на шее мешала ему, раздражала.

— Ты вот что, Иван Сергеевич, — ровно говорил Богуславский. — Маху с дивизией, конечно, дал, жалко. Но хорошо, что сам пришел. Бойцы — дело наживное, проведем мобилизацию, найдем тех, кто дезертировал... Отряд твой полком будет называться, Первым Богучарским, по-

нял? И действовать пока будешь в Борисоглебском уезде. Оружие...

— Оружие пусть добывает где хочет! — крикнул Антонов.—У коммунистов! Ни одной винтовки больше не дам. Вот ему, а не винтовки! — и быстро свернул кукиш, вытянул руку в сторону Колесникова.

— ...Войдешь в состав Первой армии, — продолжал Богуславский. — Подчиняться будешь Ивану Губареву, он теперь этой армией командует, Борщева убили. Набирай силу, Иван Сергеевич, потом снова двинешь на Воронежскую губернию, нельзя оголять наши территории...

Первый помощник и заместитель Антонова, бывший подполковник царской армии Александр Богуславский говорил еще долго. Он, наверное, понял состояние Колесникова, старался сгладить неласковый прием, подбодрял. На словах у Богуславского выходило все хорошо, но Колесников понял, что помощи ему никакой не будет, надо самостоятельно формировать полк, вооружать его, добывать боеприпасы и фураж, продовольствие. А главное — успешно, не жалея себя, воевать, бить красных, стараться смыть «позор» кровью...

...Приказав Безручко вывести 1-й Богучарский полк за Каменку и расположиться на хуторе Сенном, ждать его, Колесников мрачнее тучи направился уже в сумерках к дому, который указал ему Лапцуй — с голубыми ставнями. В ушах его все еще звучали обидные слова Антонова, хотелось им возразить, поспорить и доказать, что воронежские повстанцы бились не хуже тамбовчан, что поначалу и у них были внушительные победы, а теперь и самому тебе, Александр Степаныч, досталось, вон шеей еле ворочаешь. Но что после драки кулаками махать?! К тому же Антонов все прекрасно знает, спорить с ним бесполезно и, пожалуй, опасно — глянешь в его зенки и всякая охота стоять за себя пропадает. Да и верят ли ему, Колесникову, до конца? Тот же Богуславский намекал потом: ты, дескать, Иван Сергеевич, не вздумай выкинуть какую-нито хитрость, верные люди донесут... А чего ему теперь выкидывать? Разве есть путь назад? Одна дорога, надо думать, скоро и конец...

Каменка утопала в грязи. Утром, когда его отряд вышел к селу, шел снег с дождем, улицы раскисли, под копытами коня чавкало. Колесников сидел на лошади понурый и страшно усталый, равнодушный ко всему.

У нужного дома он остановился, сполз с коня, сидел некоторое время на завалинке, без особого интереса приглядываясь к вечерней жизни чужого ему села. Чувствовал он себя разбитым, больным и старым. Захотелось вдруг опрокинуться на эту узкую, неудобную даже для сидения завалинку и лежать, лежать, ни о чем не думая, не шевелясь, ничего больше в жизни не предпринимая. Зачем жил все эти сорок с лишним лет? Для кого и для чего? Зачем он здесь, в Каменке? Что ему надо от этой грязной улицы с незнакомыми людьми и этого дома с голубыми ставнями?! Что вообще теперь ему нужно?

С трудом поднявшись, Колесников ввел коня во двор. На злобный лай лохматой рыжей дворняги вышел Ефим Лапцуй, радостно заулыбался, облобызал Колесникова. Сам завел коня в сарай, снял с него сбрую, дал сена. Делая все это, Ефим без умолку говорил: заждались они с хозяйкой, Раисой. Она баба что надо, отказу ни в чем он не знает. И накормит, и обстирает, и все такое прочее. Лапцуй приглушил голос, стал рассказывать скабрезное, и Колесникова передернуло — ну это-то зачем?! Но Ефим разошелся, не удержать.

«Лечь бы, провалиться в тартарары, больше ничего не надо», — думал о своем Колесников.

В Раисином доме воняло самогонкой — видно, гнали недавно. Хозяйка — приземистая, мясистая, большеротая, в засаленной какой-то одежде (черная ее душегрейка лоснилась на животе и грудях), в черном же платке, охватившем овал носатого неприветливого лица, — на гостя глянула угрюмо, на приветствие буркнула что-то нечленораздельное, что можно было истолковать по-всякому. Колесников понял, что, наверное, перед его появлением был у них с Ефимом какой-то грубый разговор. Но Лапцуй делал вид, что ничего не произошло.

— Раис, приголубь-ка дорогого гостечка, — суетился он возле стола, помогая хозяйке. — Человек с дороги, с боев. Садись, Иван, садись! Ох, и выпьем мы с тобою, дорогой мой земляк!

Раиса молчаливо, но проворно накрыла на стол. Молчаливо же засветила лампу, поставила ее на припечек, и теперь желтый свет пал на небогатое убранство дома, на маленькую икону в углу, над столом, на дешевый ковер с белыми лебедями у кровати, занавески на окнах, на недельного, поди, телка в загородке, у печи.

— Ну! Взяли! — торопил отчего-то Ефим, стукал

кружкой о кружки Колесникова и Раисы, пил жадно, большими глотками, быстро и радостно пьянел.

Пили за Старую Калитву, за спасение Ефима от расстрела и его подарок — белую шашку. Лапцуй принес ее от порога, где Колесников снял свои доспехи, вынимал и задвигал клинок в ножны, смачно целовал эфес.

— Эх, Иван. Если б не ты — жарили б меня теперь черти на сковороде, жарили! Давно бы уже небо не коптил.

— Ну так што! — бросила вдруг хозяйка и захохотала, откинув голову, обнажив удивительно ровные и белые зубы. — Все б небушко чище было.

— Цыц! — прикрикнул на нее Лапцуй. — Что буровишь? И кто б тебя, квазимоду, тешил?

— А нашлись бы, не сумлевайся. Вашего брата хватает, — с вызовом сказала Раиса и резким движением руки сдвинула со лба платок, глянула игриво на Колесникова.

— Ох, стерва! Ох, стерва! — расслабленно и с лаской в голосе говорил Лапцуй. — А сладкая, Иван! Редкая баба!

Ефим снова налил всем в кружки, выпил первым.

— Ты-то сам где эту шашку добыл? — спросил Колесников. — Купил, что ли?

— Да какой купил! — махнул рукой Лапцуй.—В старой армии награда, стало быть. Бунтовщиков в Питере усмиряли, на фабрике одной. Перед строем командир полка и преподнес. Эх, Иван, памятное дело-то. Строй стоит, меня выкликают, выхожу, душа в пятки — шутка, перед всеми-то! А полковой командир как по-писаному: за доблестное выполнение долга... от имени Его Императорского Величества... Чего-то еще, не помню. У меня аж в глотке драть стало. Принял эту шашечку, гаркнул: рад стараться, ваше благородие!.. А потом у Деникина Антон Иваныча красных комиссаров ею полосовал. Попробовала она кровицы... Эх!

Лапцуй выскочил из-за стола, выхватил клинок, махнул им со свистом. Угрожающе вытаращил на хозяйку дома глаза:

— Хошь, телку за один мах башку срублю, а?

— Себе сруби. Дурак, — спокойно сказала Раиса. А потом поднялась, отняла у Ефима шашку, кинула ее к порогу.

— Ты вот что скажи, — спрашивал Лапцуя Колесников. — Как тут у вас?.. Ну, вообще, разговоры какие, настрой? Вера-то есть?

— Вера есть, — мотнул красивой кудрявой головой Ефим. — Без нее — как жа? Не верить, брат, нельзя-а... Александр-то Степаныч... ох, лютой, враз тебя в яругу отправит. У него это скоро... А по правде, Иван, скоро всем конец. И тебе, и мне, и Степанычу, и стерве этой!

— Сам стерва, — беззлобно отозвалась Раиса, по-прежнему глядя на Колесникова. Подлила Лапцую: — Пей давай!

Ефим послушно высосал еще кружку, заорал вдруг такое знакомое, забытое:

— Меня милый целовал,
К стеночке привалива-а-а-л...

Перешел на родной свой хохляцкий язык, придвинулся к Колесникову, обнял за плечи:

— В яком же цэ году було, Иван? Помнишь: посиделки на Чупаховке, Ксюшка твоя... Ты ж на гармонике грав! Та гарно так, я помню. Плясав ще...

— Мабуть, тринадцатый, — стал вспоминать Колесников. — Да, до мировой войны, я ще не служив. А, чого теперь!.. Скажи лучше: на Степаныча надёжа есть? Сила ж у него немалая.

— На Степаныча надейся, а сам не плошай! — засмеялся Лапцуй, загорланил снова:

— Мой миленок как теленок,
Кучерявый как бара-а-н...

Лицо Ефима передернула страдальческая гримаса, он полез с объятиями к Раисе, а та отбивалась, толкала его локтями.

Скоро Лапцуй тут же, за столом, заснул; Колесников с Раисой оттащили его к кровати с белыми лебедями на ковре, сняли сапоги.

— А тебе я на печи постелила, — сказала хозяйка.

Осклизаясь неверными ногами, Колесников полез на печь, ткнулся головой в овчину, тут же провалился в сон. Но спал недолго: почувствовал, что с него стаскивают одеяло.

— Ты, что ли, Рая? — хрипло спросил он, вскинул голову.

— Дак кому больше-то! — с тихим смехом ответила женщина. — Двое мужиков в доме, а я бобылкой спи. Нука, хохол, подвинься. За постой, поди, платить надо.

А, все одно. Платить так платить...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Вокзальный милиционер сообщил чекистам, что с тамбовского поезда сошли два человека, один из которых похож по приметам на Языкова — у него слегка опущено левое веко и соответствует одежда. Второй же, по выправке военный, на карточку не совсем смахивает, на лице усы и слегка прихрамывает, а в розыскной бумаге об этом не сказано. Что делать?

— Куда они пошли, Поляков? — волнуясь, крикнул в телефонную трубку Любушкин; рука его сама собой выдвинула ящик стола, выхватила наган — быть сегодня стрельбе, быть!

— Дак пока стоят, я их, вона, вижу в окно, — докладывал милиционер. — Видать, пролетку поджидают.

— Продолжай наблюдение! Сейчас будем!

Любушкин бросил трубку, сунул наган в карман галифе, приказал дежурному по губчека поднять по тревоге оперативную группу. Через несколько минут шестеро чекистов бежали к железнодорожному вокзалу. На проспекте Революции им повезло, подъехали на конке, остальной путь от Управления железной дороги снова пришлось бежать. Но было уже недалеко.

Группа рассредоточилась, взяла как бы в клещи привокзальную площадь — никто теперь не мог уйти или уехать с нее незамеченным. Шел мартовский холодный дождь, желтые электрические фонари слабо освещали мокрую площадь, мокрые же спины лошадей, тускло отсвечивающие верхи экипажей, редкие зонты. Народу на площади было немного, дождь держал людей под крышей, в зале ожидания, и это обстоятельство было отчасти на руку чекистам. Но только в том случае, если те двое еще здесь...

— Токо что сели и вон туда покатили, Михал Иваныч,—сказал милиционер, показывая рукой направление.

В городе быстро темнело, зажглись уже и уличные фонари, а дождь усилился. С момента отъезда людей, похожих по приметам на Языкова и Щеголева, прошло уже минут семь-восемь, за это время им удалось уехать довольно далеко, а куда — город большой, ищи-свищи. Но все же направление, показанное Поляковым, было ниточкой.

В пролетке, схваченной у вокзала, чекисты двинулись по указанной улице. Булыжник на ней скоро кончился, как кончились и каменные трехэтажные дома — пошли де-

ревянные, приземистые, за высокими глухими заборами. Фонарей здесь почти не было, улица скудно освещалась лишь светом из окон. Лошадь попала в глубокую колдобину, едва не упала, накренилась и пролетка, чекисты поспрыгивали в грязь и в воду, а возница наотрез отказался дальше ехать.

— Куды «давай»? Куды? — замахал он протестующе руками. — Шею кобыле свéрнем, а она у меня казенная.

— За лошадь мы в ответе, поехали! — приказал Любушкин, но малый уперся, ни в какую. Так бы они, наверное, и спорили, и пришлось бы Любушкину лезть за своим мандатом, открываться, но делать этого не пришлось: вывернулась вдруг из-за угла другая пролетка, с провисшим черным верхом, и Любушкин понял, что им крупно повезло. Чекисты тотчас пересели, и Любушкин велел извозчику отвезти их к дому, где сошли те, двое.

— А откедова знаешь, кого вез? — удивленно спросил молодой круглолицый мужик в брезентовом с капюшоном плаще.

— Я все знаю, мне положено.

— А-а... — догадливо протянул возница и вожжами стеганул лошадь. — Но-о, поворачивай.

— Те двое... говорили о чем-нибудь? — спрашивал Любушкин. Он сидел рядом с возницей, заглядывал в его склоненное лицо, торопил с ответом.

— Ты из угро? Или как? — полюбопытствовал возница. Голос у него густой, сочный, как у протодьякона.

— Ну, примерно...

— А, понятно. Чека. — Возница шумно высморкался, хлестнул лошадь, продолжал: — Говорили, как жа. Но я не шибко прислушивался.

— И все же?

— Ну... какого-то Александра Степаныча поминали... А больше... нет, не помню.

«И за это спасибо, — сердце Любушкина взволнованно билось. — Языкова ты, друг, вез, самого Юлиана Мефодьевича!»

— Заплатили тебе хорошо?

— Да какой там! — возница обиженно махнул рукой. — Товарыщи, кабыть, из себя видные, а сунули вроде как нищему. А улица, видал, какая? Вся в ямах, да в грязé. Ноги кобыле поломаешь. Тьфу!

— Тебя как звать-то?

— С утра Семеном кликали.

— Вот что, Семен. Сейчас постучишь в дом, скажешь, мол, недоволен оплатой.

— Раз ты чека, значит, я пулю могу словить, — ровно сказал Семен. — Какой мне антирес? Жись не наскучила. Баба опять же молодая.

— Не бойся,— успокоил его Любушкин.— Постучишь, скажешь. Под пули не лезь. Ну а не откроют... Тогда уж мы сами.

— А, была не была! — засмеялся Семен. — Власти подмогнуть надо. Исделаю. А то так всю жись проездишь на этой кляче, скушно... Но-о!

Чекисты сошли с пролетки, неслышными быстрыми тенями продвигались вдоль домов. У дома с черепичной крышей, в окнах которого не было света, Семен остановился, слез с пролетки, постучал в запертую дверь с низенького, под железным козырьком крыльца. На стук долго не отзывались, потом что-то упало в сенцах, и напряженный негромкий голос спросил:

— Кто тут?

— Да я это, гражданин-товарышш, — обиженно гудел Семен. — Что ж мало заплатили, господа хорошие? Глянул на свету, а там...

— Большевики доплатят, пошел вон, дурак!

Любушкин, держа наготове наган, кивнул растерявшемуся вознице — продолжай, мол, все идет нормально.

— Дык нехорошо, господа хорошие. Кобыла вон в ямину попала, кабыть, ногу сломала, хромат. Обещался — плати.

— Да откройте, Юрий Маркович!.. Сколько этот кретин хочет?

Громыхнул засов, дверь приоткрылась, и тотчас навалились на нее трое, в том числе и возница.

— Не двигаться! Чека! — крикнул Любушкин.

Одни за другим ахнули выстрелы; Семен упал, упал и один из сотрудников чека.

— Не нужно этого делать, Юрий Маркович! — истерично взывал в темноте Языков. — Это ошибка, это...

Выстрелил и Любушкин. Щеголев — фигура его отчетливо теперь была видна в дверном проеме — схватился за грудь, медленно осел на колени. Чекисты бросились в дом, кто-то зажег свет, и в маленькой, с провисшим потолком комнате предстал перед Любушкиным испуганный, с бледным лицом Языков.

— Добрый день... точнее, вечер, Юлиан Мефодье-

вич, — сказал Любушкин, настороженно заглядывая в другую комнату — нет ли в доме кого-нибудь еще?

— Это ошибка, простите... не знаю, с кем имею дело, — Языков затравленно разглядывал чекистов. — Моя фамилия Лебедянский. Георгий Михайлович.

— Может быть, все может быть, Георгий Михайлович. Но вооруженное сопротивление...

— Я же ему говорил. Говорил! — Языков тыкал рукою в сторону распахнутых дверей.

— Михаил Иванович! — позвал один из чекистов. — Человек этот, кучер, живой, кажись.

Любушкин склонился над Семеном. Тот тяжело и хрипло дышал, но улыбался, старался подняться.

— Вот как оно получилось, товарышш... Подстрелили меня. Баба молодая, ребятишков двое... Чуяло сердце.

— Я же тебе сказал, постучи только! — горячо и виновато говорил Любушкин. — Но ничего, Семен, сейчас мы в больницу тебя свезем, все будет хорошо.

— В азарт, кабыть, вошел. — Семен закашлялся. — Эх, думаю, подмогнуть товарышшам. Подмогнул... Две пули энтот урка засадил. Бабе моей скажи, товарышш... С Монастырки я, с того берегу... Аленой ее зовут...

— В пролетку его, Кондратьев! Живо! — распорядился Любушкин, и трое чекистов бережно понесли Семена.

...Второй уж, наверное, час Карпунин спрашивал Языкова о «Черном осьминоге», о связях подпольного центра с антоновским штабом, о поездках его, Юлиана Мефодьевича, в стан Колесникова. Языков упорно, напрочь все отрицал. Смерть Щеголева отчасти развязала ему руки — свидетелей больше не было, оклеветать же можно любого человека. Да, Щеголева Юрия Марковича он немного знал по службе в старой армии, встретились они случайно, в поезде, разговорились. Оказалось, что Юрий Маркович ехал в Москву по каким-то своим личным делам, поезд же будет в столицу через сутки, вот он и предложил Щеголеву переночевать у него дома... Оружие? Понятия не имел, что у Щеголева мог быть браунинг! Стрелять, вообще поднимать шум не было никакой нужды, разобрались бы и так. Да, очень жаль, что погибли люди, и сам Щеголев в этом виноват, но он, Лебедянский, никакого отношения ко всему происшедшему не имеет. Случай, дикий случай!

Карпунин без слов положил перед Языковым фотографии: Юлиан Мефодьевич и полковник Вознесенский были изображены на них в полной военной форме, при

наградах. Языков онемело смотрел на фотографии, даже в руки взял. Потом, судорожно сглотнув, признал, что это действительно он снят то ли в пятнадцатом, то ли в шестнадцатом году. Знал и Вознесенского. Но никакого отношения к «Осьминогу» никто из них не имел — это ошибка.

— Ну какой смысл так наивно от всего открещиваться Юлиан Мефодьевич? — пожал плечами Карпунин. — Мы с вами мужчины, военные люди... Не понимаю, Борис Каллистратович...

Языков вздрогнул. Потом попросил разрешения закурить, прыгающими пальцами никак не мог взять из коробки папиросу. Наконец закурил и немного успокоился.

— Чушь все это! — резко бросил он. — Да, у меня несколько имен, и я не очень афишировал свое существование, дом в Воронеже купил на имя Лебедянского. Что же касается полковника Вознесенского и подпольного нашего центра, то все в прошлом, Василий Миронович. Прошло два года, иных уж нет, а те — далече... Да. Вы победили, и я начал новую жизнь. Я другой, совершенно другой человек! Разве не может кто-то начать все сначала?

— Но зачем, в таком случае, прятаться? — возразил Карпунин. — Это во-первых. А во-вторых, Юлиан Мефодьевич, вы неискренни.

— Георгий Михайлович. И только он.

— Ну ладно, — усмехнулся Карпунин. — Придется мне вас «познакомить» с одним человеком... — Он вызвал дежурного, велел ему позвать Катю.

Вереникина вошла, села против Языкова в кресло.

— Здравствуйте, Борис Каллистратович.

— Здравствуйте... если вам так угодно. — Языков отвернулся.

— Так вот, я обещал вас познакомить, — продолжал Карпунин, убирая со стола фотографии. — Это наша сотрудница, Вереникина Екатерина Кузьминична. Как видите, Юлиан Мефодьевич, она была у Колесникова под своей фамилией, знакома с вами. И теперь, собственно говоря, я не вижу смысла...

— Вы больше ничего от меня не услышите, ни звука! Слово офицера! — взвинченно сказал Языков. — Да, я проиграл, но я никогда не был и не буду предателем. Борьба продолжается. Не все еще потеряно.

— Хорошо, закончим на сегодня. — Карпунин поднялся, встал и Языков. — Идите, Юлиан Мефодьевич, подумайте. В ваших интересах помочь следствию, щупальца «Осьминога»...

— Я презираю вас, Карпунин! И ни на какие сделки со своей совестью не пойду. Знайте это!

— Ваши убеждения — ваше право, — согласно кивнул Карпунин. — Я просто веду речь о вашей судьбе. До свидания.

— Честь имею! — Языков четко повернулся, ушел.

— Не скажет, — подумала вслух Вереникина.— Сильный человек. Я почувствовала это еще в Старой Калитве.

— Ничего, пусть посидит, поразмыслит, — сказал Карпунин. — Будем еще с ним разговаривать. Оставлять подполье из бывших белогвардейцев нельзя! Вместо Языкова найдется другой. Враг опасный, убежденный.

Вошел Любушкин, доложил, что возница, Семен Косоротов, случайный их помощник, умер в больнице.

— Помогите его семье, — приказал Карпунин. — Деньгами, одеждой, продуктами. Наш, советский был человек.

— Хорошо, есть, — эхом отозвался Любушкин.

Позвонили из губкома партии; секретарь Сулковского сказала, что Федор Владимирович просит товарища Карпунина подготовиться к докладу на четыре часа дня, будет присутствовать кто-то из Москвы, из Совнаркома, но она не запомнила фамилии человека.

— Понял, готов. — Карпунин положил трубку, откинулся в кресле, с улыбкой смотрел на Любушкина и Вереникину.

— А ведь переломили мы хребет Колесникову, друзья мои, переломили, — сказал он. — Хоть и рано еще праздновать победу, а все равно. Теперь легче будет. Да и весна на дворе.

Все трое невольно повернулись к окнам — рекой лилось в них мартовское, неудержимо-яркое, напористое солнце.

— Как там наш батько? Ворон? — спросил Карпунин Любушкина, и начальник бандотдела стал рассказывать, что Шматко жив-здоров, наводит контакты с Осипом Вараввой и Стрешневым, после ухода Колесникова на Тамбовщину появились другие мелкие банды, возни с ними предстоит много.

— Колесников вернется, — убежденно сказал Карпунин. — Не поладят они с Антоновым. Да и бьют их там

так, что... — Он не договорил, радостно и светло улыбнулся.

Снова зазвонил один из телефонов, Карпунин, сказав поспешное: «Это Дзержинский!», снял трубку:

— Слушаю вас, Феликс Эдмундович!.. Да-да, Карпунин...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С неделю уже запаршивевшей в тамбовских лесах стаей кружила близ Калитвы банда Ивана Колесникова. От «Первого Богучарского полка» осталось человек восемьдесят, а может, и семьдесят, ленивая эта скотина Безручко не хочет даже пересчитать бойцов, да и ему, Колесникову, как-то все равно. Антонов разбит, их, воронежцев, вышибли из-под Уварова красноармейские части, гнали почти до Новохоперска, и если б не леса и наступившая ночь... Да, ночь многим из них спасла жизни, спасает пока и сейчас. С рассветом отряд прячется в дубравах неподалеку от хуторов и деревень; останавливаться в самих хуторах и слободах стало опасно — почти в каждом селе теперь отряды самообороны, повстанцев гнали кольями и вилами, не давали покоя и чекисты.

Особенной настойчивостью отличается конный отряд Станислава Наумовича, он идет по пятам, навязывает бои, изматывает. Раньше от Наумовича не осталось бы и памяти, два от силы эскадрона вбили бы его отряд в землю, но теперь полсотни, не больше, конных чекистов одним своим появлением на дальнем бугре приводили повстанцев в ужас. Банда держалась на страхе: с одной стороны, всех ждала справедливая кара, трибунал — пора было платить за злодеяния; с другой стороны — расправа «за измену»; Гончаров с Конотопцевым, потеряв всякое человечье лицо и жалость, вершили один суд за другим: за неосторожно брошенное слово, за непослушание и трусость в бою, за сострадание к невинным людям...

Правду в банде найти было нельзя: Митрофан Безручко, вечно теперь пьяный, одобрял действия Гончарова и Конотопцева, а Колесников ни во что не вмешивался. Злобный, с заросшей физиономией, он вообще, кажется, перестал понимать человеческую речь, превратился в глухонемого. Изредка отдавал отрывистые, похожие на лай команды, смотрел на всех подозрительно, исподлобья. Часто раздражался, кидался на рядовых с плеткой и

кулаками, выхватывал из ножен шашку. Никто теперь в банде ничего не объяснял и ни к чему не призывал. Многие понимали, что близится конец, что рано или поздно тот же Наумович подкараулит остатки «полка», навяжет бой и... Надо было спасать шкуры, думать, как быть дальше, что делать, но ни Колесников, ни Безручко с Гончаровым и Конотопцевым ничего не предпринимали. Шла звериная, волчья какая-то жизнь: днем банда пряталась, а ночью, присмотрев хутор, нападала на чей-нибудь хлев, уносила овец или телок, хлеб. Но голод стал преследовать банду — в селах прятали скот или усиленно, с оружием, его охраняли, все реже удавалось отбить и фураж для коней, а на голодном коне не только не навоюешь, а и ноги не унесешь от погони. Голодные, злые «бойцы» и сами очень скоро превратились в двуногих кровожадных зверей — беспрестанно грызлись, так же, как и командиры, хватались за оружие.

И все же здравый смысл самого существования остужал лихие, забитые головы, заставлял многих думать: а что же все-таки дальше? А главное — зачем? Зачем эта вот лесная бесконечная жизнь, разбой и убийства? Раньше повстанцы нападали и казнили большевиков-коммунистов, теперь же никакого разбора не было — убивали каждого, кто противился банде, кто не хотел отдавать хлеб и сено, скот и одежду. Неясно было, что все-таки хотят делать командиры: можно ведь соединиться с другими отрядами, того же Осипа Вараввы и Емельяна Курочкина, Стрешнева и батьки Ворона... Отрядов много, дай им только команду, снова полноценным станет полк, снова в их руках будет и Калитва, и Криничная, и Дерезовка... Чего командиры тянут, чего хотят?

Кто-то из бойцов принес весть из хутора Оробинского (ночью банда ночевала неподалеку от хутора, в дубраве), что большевики приняли какой-то новый закон в отношении крестьян, продразверстку заменили налогом: сдай положенное, а все остальное — твое. Об этом на съезде коммунистов-большевиков говорил сам Ленин. Крестьянам теперь жить будет легче, можно сказать, что совсем станет хорошо, и за что же в таком случае биться? Чего ради прятаться в лесах, жить по-волчьи?! Власть Советская, выходит, снова к крестьянину-хлебопашцу повернулась.

Разговоры эти в банде шли почти в открытую. Марко Гончаров с Конотопцевым били бойцов беспощадно, грозили суровой расправой и смертной пыткой — «а то давно

шось Евсей не робыв», но дальше угроз дело не шло, и сам Евсей примолк, настороженно поглядывал по сторонам... А в одну из холодных темных ночей пропал вместе с Филимоном Струговым. И тот, и другой оставили в своих норах-землянках обрезы и патроны, даже одежду кой-какую побросали.

— Нехай бегут, нехай, — говорил утром Безручко угрюмо слушающим его бойцам. — Далеко не сбегут. А Евсею да Фильке одна дорога, в чеку, а там и трибунал...

Филькиного коня Безручко велел отдать Кондрату, конь у того что-то захромал, скакать не мог, а тощую кобылу Евсея завалили в котел — жрали три дня.

Следующей ночью кто-то тихонько, без шума, придавил Сашку Конотопцева — на шее его видны были синяки. Но Безручко сказал, что Сашка «обожрався конины», случился у него заворот кишок, «тут уж ничого не зробишь». Бойцы молчком выслушали прощальную речь головы политотдела над вздувшимся трупом Конотопцева, молчком же и закопали его в сырую апрельскую землю под развалившимся надвое дубом. Не стало Сашки.

— Так, чого доброго, они нас всех передушат, хлопцы. А? — говорил потом Безручко Гончарову и Колесникову, оставшись наедине. — Ты бы, Иван, поостерегся. Может, охрану тебе усилить? Кондрат, черт косопузый, спать охоч...

Колесников махнул рукой — не надо, обойдется. Опрышко верен ему, это он чувствовал, а кто еще будет рядом с ним? Да и надо ли беречься теперь? Вон каланча эта, Маншин Демьян, глаз с него не спускает, а в глазах... Колесников невольно повел плечами. Сожрал бы его этот Маншин вместе с потрохами. Не может, видно, простить порки. Сам виноват, дурак. Держи язык за зубами. Не только у тебя мысли... А что если выбрать момент, сказать Демьяну: бежим, пока целы, придем в чека с повинной, попросим у Советской власти пощады. Одному ему, Колесникову, не уйти, Гончаров с Безручко по-прежнему следят за ним в десять пар глаз, а то и больше. Нет, не поверит ему Демьян, да и никто другой. Надо будет сказать Кондрату, чтоб всегда был рядом с ним, чтоб спал поменьше...

Так Колесников и сделал, но полностью Кондрату не доверился. Ночами он вообще перестал спать, настороженно прислушиваясь к шороху ветра в голых еще ветвях, фырканью лошадей, тихим голосам часовых. Рука Колесникова постоянно была на винтовке со взведен-

ным затвором, рядом лежал и наган — дешево он свою жизнь не отдаст. Пусть только сунется кто-нибудь. Сволочи, твари паскудные! Он свою жизнь загубил, поверил в их силу и верность, а как только красные прижали — бежать или руку на командиров своих подымать. В сказки какие-то большевистские поверили. Налог большевики вместо продразверстки придумали, эка невидаль! Да, видел он газетку с речью Ленина — Кондрат где-то взял, принес. Обман это крестьянства, пропаганда. Понимают большевики, что конец им приходит, вот и кинулись на новую уловку. Безручко правильно бойцам это растолковывает, газетку эту проработали вчера днем, вслух читали. А может, и зря, что читали. Кто правильно понял, а кто, гад ползучий, притаился, ждет случая, чтобы ему, Колесникову, в горло вцепиться да в чека сдать. А что: могут такого иуду и простить — самого же Колесникова привел!

Ну нет, так просто его не возьмешь, он теперь битый-перебитый, огни и воды прошел. Попробуй, сунься!

Колесников вылез из землянки, прислушался. Где-то поблизости голодная лошадь грызла голые, налившиеся уже весенним соком ветки; тихо переговаривались двое из внутреннего караула — Безручко велел охранять землянки командиров; на хуторе, за лесом, выла собака — ветер доносил ее тоскливый одинокий голос.

Колесников пошел по лагерю тихими, неслышными шагами, подолгу стоя за каким-нибудь дубом или сосной, по-звериному вслушиваясь в привычную уже ночную жизнь леса. И все же он хотел сейчас слышать голоса людей, своих бойцов, хотел знать их мысли. Он видел, что настроение в отряде за последние эти недели сильно изменилось, больше появилось хмурых, чем-то недовольных лиц. Что им нужно? Почему разбегаются из отряда, почему поверили такой лживой, грубой пропаганде: ведь у всех, кто сейчас с ним, — руки по локоть в крови, на что надеяться? По возвращению каждого ждет расстрел, большевики не простят смерти своих комиссаров, зачем же лезть в петлю самому?! Не все еще потеряно, наступили временные неудачи, надо отступить, как это сделал Антонов, набраться новых сил, передохнуть. Есть в российском народе силы, есть! Они не дадут большевикам укрепиться, окончательно захватить власть, пусть и идет четвертый год их верховодства...

— Стой! Хто тут шляется? — грозно спросили из кустов, клацнул затвор.

— Я это, Колесников.

— А... А то чуть пе стрельнув, Иван Сергеевич. — Голос часового насмешливый, знакомый.

— Ты, что ли, Маншин?

— Я.

Маншин вышел из кустов — в руках обрез, шапка натянута до ушей; кутался в свою заячью вылезшую доху.

— Как тут, спокойно? — спросил Колесников.

— А хто на! Вроде, спокойно. — Маншин оглянулся на темный лес, голос его был безразличным, слова Демьян произносил шепелявя, со свистом.

— Что это ты... Зубов, чи шо, нема?

— Нема! — с вызовом сказал Демьян. — Не помнишь разве? Евсей повыбивал... Ты приказал, Иван Сергеевич.

— Зубы я не приказывал выбивать.

— Ну, ладно, не приказывал, так не приказывал. — Маншин сплюнул. — Что не спите, командиры? Час назад Митрофан приходил, теперь ты.

— Так, не спится. Холодно, вши грызут.

— А... А я так думаю, боишься, Иван Сергеевич.

— Чего бояться-то?

— Чего... Мало ли. Шалит народ. Чекисты рядом.

— Сам-то... не боишься?

— Бойся не бойся, конец один, Иван. Скоро уж. Втянули вы нас в бойню. Прощения никому не будет...

Колесников содрогнулся: Демьян посмотрел на него бесстрашно, с каким-то даже вызовом, угрозой. Попробуй скажи ему сейчас слово поперек!.. Как неловко, не вовремя спросил про зубы! Но он ведь не знал, что Демьяну их тогда выбили; доложил Безручко: мол, всыпали Маншину хорошо, а что да как...

— За зубы ты извиняй, Демьян, — сказал Колесников, отвернувшись. — Перестарался Евсей.

— Зубы можно и простить, чего там. — Маншин сунул обрез за веревку на дохе, сказал горько: — Ты меня, Иван, жизни лишил. Это пострашнее. А я ж молодой ще. Да и ты не старый... Обманули вы нас с Митрофаном, брехали все.

— Шо ж мы тебе брехали? Шо большевики хлеб у тебя отымали?

— Да и про хлеб. Отменили вон продразверстку.

— Разверстку отменили, налог назначили. А налог побольше разверстки, за всю жизнь не расплатиться.

Демьян пожал плечами.

— В лесу тут всего не узнаешь. А веры тебе нету, Иван.

— Опасные речи ведешь, Демьян.

— Хуже не будет. Шо вы прикончите, шо трибунал... Полгода уж с вами, кто простит? Крови сколько пролили...

Они повернули головы — кто-то продирался к ним сквозь кусты, сопел напряженно.

— Стой! — вскинул обрез Демьян.

— Не вздумай пальнуть, дурья голова! — раздался голос Кондрата. — А то пальну!..

Кондрат вылез из кустов, сказал запыхавшись:

— Ты куда подевался, Иван Сергев? Я отвернулся по нужде, глядь, а тебя уже черт унес.

— Безручко небось послав? — хмыкнул Колесников.

— Он самый, Митрофан, — мотнул головой Кондрат. — А то, каже, подстрелят еще нашего командира.

«Решил, наверное, что сбежал я, — подумал Колесников. — А куда бежать? И зачем? Тут, в лесу, еще можно поглядеть на белый свет...»

Он пошел назад, к землянке, вспоминая свой разговор с Демьяном, чувствуя, что нет у него в душе никаких сил что-либо предпринимать. Демьяна, конечно, надо бы наказать, но наказание его вызовет новое недовольство в отряде, да и только.

Ночь кончалась. Отчетливее стали видны верхушки дубов и берез, бесшумно, тенью, пролетела над ними какая-то большая серая птица, громыхнул гром. В лесу было холодно, сыро, под ногами Колесникова и Опрышко хлюпало. Молчаливый обычно Кондрат рассказывал Колесникову, что приснилось ему черт знает что прошлым днем: вроде бы у него стало конское туловище с хвостом, а голова осталась человечья, к чему бы это, Иван Сергев?.. Колесников не ответил ничего, неохота было ворочать языком, и Кондрат стал сам с собою рассуждать, вывел, что зря он ел ту кобылу Евсея, вышла она ему боком...

Посоветовавшись с Безручко, Колесников решил вернуться в Красёвское урочище, поближе к Старой Калитве, к дому. Там еще можно рассчитывать на поддержку и на провиант, корм для лошадей — земляки должны помочь. Кое-кому и дома можно будет побывать, проведать своих — ведь целую зиму валандались в тамбовских

лесах, апрель вон на дворе. Весна разгоралась буйная, появилась уже зелень, головы кружились от запахов и, наверно, от тощих животов. Надо, надо побывать в Калитве, глядишь, бойцы и повеселеют...

Но оказалось, многое переменилось за эти три месяца и в самой Калитве. Отряд Колесникова в слободе встретили хмуро, никто, кажется, не собирался больше помогать повстанцам. Да и кому было помогать! Трофима Назарука, Кунахова и Прохоренко вместе с лавочником Ляпотой забрали в чека, держат их где-то, выясняют. Сидел у чекистов и свояк из Россоши. Телеграфист Выдрин попался на шпионаже, просто так дело у него не кончится. Не было никаких вестей и от Антонова, никто не приезжал из тамбовских лесов, не давал о себе знать и Борис Каллистратович. Куда они все подевались?! Наведывался, правда, Шматко, батько Ворон, справлялся у слобожан, где, мол, найти Колесникова? Да кто скажет! И кто из калитвян мог знать о местонахождении отряда? У Колесникова теперь по округе несколько баз, за ночь, бывало, в двух-трех побывают — ищи ветра в поле! На кого теперь можно положиться, кому довериться? И где спокойно, без огляда, можно переночевать, покормить и почистить лошадей, самому помыть завшивевшую башку? У себя, в отцовском доме? Или, может, на Новой Мельнице, в «штабе»? Не иначе, донесут чекистам, и тот же Наумович будет на Новой Мельнице к утру, не позже.

Колесников не стал задерживаться в Старой Калитве ни часу, увел отряд в лес, за хутор Оробинский, приказал рыть землянки. Дело это было привычное и знакомое по Тамбовщине — сколько они там за зиму перерыли нор!

Бойцы хмуро выслушали приказание, молчком взялись за лопаты и топоры. Двое из них, не поделив приглянувшийся бугорок, вцепились друг в друга, разодрались в кровь; обоих по распоряжению «политотдела» выпорол Кондрат Опрышко.

Утром из нового лагеря исчез Марко Гончаров — подался к знакомой бабенке в Новую Калитву, где и был схвачен кем-то из слободских, передан подскочившему на вызов отряду чека. Этот же отряд скоро появился у дубравы (не иначе, Гончаров, сволочуга, указал место лагеря), погнал Колесникова в открытое поле, в степь, на Криничную, откуда двигалась на Калитву крупная часть чоновцев.

— Ну шо, Иван, отвоевались, а? — нервно похохатывал Безручко, оглядывая затравленным бегающим взглядом пустынное пока поле, далекие дома Криничной. Показал на них рукой: — И там нам делать нечего, Криничная поднялась против нас... Да-а... Ну шо за народ, а! Мы кровь за них проливаем, а они нам в карман кладут! Шкуры барабанные!

— Отряд чека небольшой, разобьем его и уйдем в Шипов лес, — принял решение Колесников. — Тут они нам покоя не дадут. А потом на Дон двинем, к Фомину. Казаки покрепче тамбовских брехунов, надежнее... Да, к казакам пойдем!

«Полк», окружив своего замурзанного, заросшего щетиной командира, слушал молча — никто не возразил, но никто и не поддержал: идти так идти, хоть к казакам, хоть к самому черту в гости, все равно. И зенки на мордах вразброд — кто в гриву коня уперся, кто в землю, кто вообще гляделки бог знает куда уставил. Один Маншин, кажется, смотрел на него прямо, да и то посмеивался... Ну, досмеешься, каланча немытая! Вот доберемся до Шипова леса, малейшее нарушение и... — и рука Колесникова сама нашла эфес шашки.

— Чекисты! — крикнул кто-то задний, указывая рукой на вывернувшуюся из-за бугра конницу, и Колесников, скомандовав: «За мной!», выдернул клинок, устремился навстречу отряду. И смяли бы, пожалуй, уступающий по численности чекистский отряд, если бы...

Никто в грохоте боя, в азарте, не расслышал т о г о выстрела, и сам Колесников в первое мгновение не почувствовал боли — кольнуло что-то в спину, ожгло. Удивляясь себе, Колесников стал валиться на шею скачущего во всю прыть коня, а свет уже померк для него, и рухнуло скоро на землю бессильное тело.

— Вот так, Иван, — пробормотал позади, метрах в тридцати Маншин, осторожно оглядываясь — не видел ли кто, как он стрелял? — Попил нашей кровушки, хватит.

— Командира убило-о-о!.. — испуганно завопил кто-то из самой гущи атакующих, и конница, смешавшись, остановилась — многие же верховые бросились кто куда.

Оставшиеся поспрыгивали с коней, кольцом окружили лежащего на земле Колесникова — дергались еще руки и вздрагивали веки. «Сволочи... — отчетливо выговорил Колесников. — Ненавижу!» Через минуту он затих, вытянулся.

— Царство тебе небесное, Иван. — Безручко потянул с потной головы шапку. — Отгуляв, брат.

Справа послышались выстрелы, из близкой уже лощины неслась по направлению к банде конница, и Безручко первым вскочил на коня.

— Кондрат! Опрышко! — гаркнул он. — Клади командира на седло! Ну, живее! В бой с красными не ввязываться, — подал он команду заметно поредевшей банде. — За мной!

Маншин, скакавший в числе последних, выбрал момент, выстрелил коню в голову, полетел вместе с ним на влажную, пахнущую прелым листом землю. «Скачи, Митрофан, без меня», — успел подумать, охнув от боли в ноге; сидел потом у лежащего, бившего копытами коня, глядя на приближающийся чекистский отряд, на знакомое лицо первого всадника в кожаной черной куртке, с наганом в руке.

«Гражданин следователь! Станислав Иванович!» — дрогнуло сердце Демьяна, и он привстал с надеждой, стал махать руками — мол, живой я, не бросайте тут одного!..

* * *

Глухой безлунной ночью в одно из окон дома Колесниковых кто-то осторожно, негромко постучал.

Женщины всполошились, повскакивали с постелей.

— Кто это, мама? — подняла голову младшая из дочерей, Настя, кинулась было отдергивать занавеску, но Мария Андреевна сурово остановила ее руку, подошла сама.

За окном темнела плечистая мужская фигура в лохматой бараньей шапке, черная борода сливалась с шапкой, казалось, что и не человек за окном, а какое-то страшилище, привидение.

— Чего надо? — громко спросила Мария Андреевна, и человек за окном, в котором она признала, наконец, Кондрата Опрышко, подал знак — открой, мол, не с руки мне кричать, услышат.

В сенцах Мария Андреевна еще переспросила, тот ли это человек, кого она признала, и Опрышко отозвался нетерпеливо: «Правильно, это я самый и есть»; шагнул в сенцы, согнув голову в низкой притолоке, зацепил ногой пустое ведро, чертыхнулся.

Мария Андреевна зажгла уже лампу, придерживая

рукой стекло, стояла перед Опрышкой, смотрела на него молча, ждала.

— Сидай, Кондрат, — сказала она, помедлив, так и не услышав от ночного гостя первого слова. — С чем явился в такой час?

Кондрат стянул шапку, сел, кашлянул нерешительно.

— Да с чем... Дурные вести, Андреевна. Ивана вашего убило.

Вскрикнула, зашлась плачем Настя; две других девки, Мария и Прасковья, в белых холщовых рубахах выглядывали из спальни, тянули голые напряженные шеи.

Мария Андреевна поставила лампу на припечек, молчала; лицо ее с сурово поджатыми губами оставалось внешне спокойным, лишь глаза потемнели. Осуждающе глянула на ревущую в голос Настю, села на лавку, в отдалении от Кондрата, застыла изваянием.

— Чуешь, шо говорю? — снова спросил Опрышко, и Мария Андреевна едва заметно качнула головой — да слышу, слышу.

— Похоронить бы его надо по-людски. — Кондрат, освоившись и предполагая, видно, длинный разговор, принялся вертеть цигарку, крупно нарезанный табак сыпался меж его черных, плохо слушающихся пальцев. Продолжал рассказывать: — Он зараз у нас в одной хате спрятан, в подполе. Так спокойнее. А то чека его могут забрать для опознания... Гроши нужны. Одёжу ему новую справить, да на поминки. Командир все ж таки.

— Никаких грошей у нас нема, — сказала Мария Андреевна. — А хоть бы и были, все одно — не дала бы.

— Ты в своем уме, Андреевна? — что-то наподобие удивленной гримасы передернуло волосатую физиономию Кондрата. — Сын он тебе.

— Мои сыны в Красной Армии, — сказала она жестко. — Что Павло, что Григорий. А Иван... Нету никаких грошей, Кондрат. Хороните его сами, раз он вам командир. А то нехай и в том подполе лежит... Сгинул с земли, нехай.

Опрышко поднялся. «Козью ножку» раскуривать не стал, сунул ее за ухо. Потоптался у порога, похмыкал, медленно думая.

— Ну, як знаешь, Андреевна. Тебе виднее, — уронил многозначительное, тяжелое, задом выдавил дверь в сенцы и вывалился прочь.

А на следующую ночь дом Колесниковых запылал высоким жарким костром. Чья-то умелая рука запалила са-

рай, катух для свиней, камышовую крышу дома. Все занялось разом, белым жутким огнем осветило Чупаховку и половину слободы, всполошило Старую Калитву. Соседи бросились было на помощь — с баграми, ведрами, — да куда там! Огонь яростно гудел в провалившейся уже крыше дома, жадно лизал ребра стропил, безжалостным смерчем гулял по крышам сарая и катуха, откуда едва-едва удалось выгнать блеющих от страха овец.

В ужасе метались по двору полуодетые девки Колесниковы, хватали, что попадало под руку, таскали подальше от огня, а старшая из дочерей, Мария, кричала матери: «Да что же вы стоите, мамо?! Хоть кружку воды на огонь вылейте, добро ведь горит!..» А Мария Андреевна будто и не слышала ничего — стояла суровая, безучастная ко всему происходящему, лишь огненные блики пожарища плясали на ее мокром от слез лице.

— За Ивана это, за Ивана, — шептали ее сухие, потрескавшиеся от близкого жара губы. — Нехай горит!..

На черном, обугленном подворье Колесниковых долго еще дымились головешки, безутешно рыдала меньшая из девок, Настя: сгорели ее обновки, платья и вязаный пуховый платок, выскочила ведь в чем была... Старшие сестры беду переносили стиснув зубы, стойко. Перетащили кое-какие пожитки в погреб, поставили там полуобгоревшую койку, перенесли занедужившую мать. Мария Андреевна ничего не ела и не пила, думала о чем-то своем, недоступном дочерям. Отказывалась и от предложения выходить наверх.

— Нет мне прощения людского, нет, — сказала она девкам несколько дней спустя слабым, гаснущим голосом. — Грех на божий свет являться...

Девки ревели в голос, говорили, что не заставляла же она Ивана идти в банду, сам решил. Одумайтесь, мамо! Мало ли как в жизни бывает, там не один наш Иван был... Но она не слушала никого.

Через неделю Мария Андреевна Колесникова умерла.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Заседание коллегии губчека Карпунин назначил на четыре часа дня. Вопрос был важный, актуальный — окончательный разгром банд на юге губернии. С Колес-

никовым, с ним лично, покончено. Вчера в Воронеж Наумович привез из Старой Калитвы Демьяна Маншина, тот утверждает, что именно он убил Колесникова во время последнего боя у Криничной, под хутором Зеленый Яр. И место и время совпадают с рассказом Наумовича, совпадают и детали боя. Смерть Колесникова подтверждают и еще два бандита, брошенные раненными в поле, оба они в голос заявили, что «в Ивана Сергеевича хто-сь стрельнув сзади». Судя по всему, никто не заметил, что стрелял Маншин, тот выбрал удачный момент. Что ж, это хорошо. Операция «Белый клинок» дошла до своего логического конца, завершилась. Обезглавить банду — дело архиважное; жаль, что удалось сделать это только теперь, весною. Ясно, что тем же Маншиным владели сложные чувства и мысли, он долго не решался пойти на такой шаг, не сразу, видно, поверил беседе с Наумовичем, не думал, что с бандами будет рано или поздно покончено.

Конечно, событий за минувшие эти месяцы произошло много, главное из них — состоявшийся в Москве десятый съезд РКП(б), принявший партийную резолюцию о замене продовольственной разверстки натуральным налогом — это выбило экономическую почву у подстрекателей мятежа; крестьянин получил возможность развивать свое хозяйство, иметь излишки продуктов и сельскохозяйственного сырья, распоряжаться ими по своему усмотрению. Резолюция съезда была напечатана в центральных и губернских газетах, в том числе и в «Воронежской коммуне», народ широко оповещен о новой экономической политике партии большевиков; изменились и настроения в бандах, многие пришли с повинной, привлечены Советской властью к исправительному труду. Пришел и Маншин, надеясь, конечно, хотя бы казнью Колесникова искупить свою собственную вину.

Итак, операцию «Белый клинок» можно считать законченной. От полков Колесникова остались мелкие, рассыпавшиеся по югу губернии банды, которыми командуют бывшие его приближенные — Безручко, Варавва, Стрешнев, Курочкин... Банды эти лишились поддержки крестьянства, перестали быть политической силой, превратились в уголовные. Но, разумеется, не стали от этого превращения покладистей, скорее, наоборот: понимая свою обреченность, утроили зверство, не щадят ни стариков, ни детей, ни женщин, по-прежнему истребляют партийных и советских работников на местах. Теперь

преследовать их крупными силами нет смысла, банды чрезвычайно подвижны, осторожны, открытых боев избегают, действуют больше ночами, внезапно. И чека нужна новая тактика, возможно новая, тщательно продуманная операция...

Карпунин позвонил Любушкину, попросил его зайти. Минуты три спустя начальник бандотдела докладывал Василию Мироновичу о завершении работы по «Черному осьминогу»: арестовано более двадцати человек, это в основном бывшие белогвардейцы, осевшие в Воронеже, тесно связанные с Языковым. Все они подтвердили, что ждали сигнала от Юлиана Мефодьевича, готовы были поддержать Колесникова в случае его наступления на губернский город.

— А что сам Языков? — спросил Карпунин.

— По-прежнему молчит, Василий Миронович. Но деваться теперь ему некуда, проводим очные ставки, улики налицо. Признал «Бориса Каллистратовича» и телеграфист Выдрин из Россоши. Помните?

— Да, конечно. — Карпунин закурил, улыбнулся. — Полагаю, встреча этих людей была интересной?

— Вы бы видели их лица! — засмеялся Любушкин.

— Наумович приехал?

— Да, здесь. Пошел определяться с ночлегом. К двенадцати часам, как ты велел, Василий Миронович, будет. Маншин тоже здесь.

— Веришь, что именно он убил Колесникова?

— Верю. Там, понимаешь, Василий Миронович, не только принцип самосохранения сработал. Колесников в свое время приказал Маншина наказать, тот затаил обиду, не простил. Но главное, думаю, не в этом. Маншин из бедняков, разобрался что к чему.

Карпунин вздохнул.

— Да, конечно. Разобрался-то разобрался, но воевал в банде полгода, не думаю, что ангелочком был. Ладно, я сам с ним еще поговорю. А сейчас, Михаил, давай помозгуем перед коллегией — как нам побыстрее с безручками-курочкиными покончить.

Чекисты склонились над списком главарей банд, насчитали их восемнадцать. Банд значилось больше, но не было еще в губчека сведений обо всех, да и главари менялись. Самые же крупные, по сорок—пятьдесят человек, были теперь на учете, знали чекисты и о местах их действий, но все эти сведения мало помогали: банды стали сверхосторожными, почти неуловимыми. Канул как в во-

ду Митрофан Безручко, где-то в Рыжкином лесу затаился Осип Варавва, южнее Богучара ушел Емельян Курочкин...

— Да-а, Шматко и Наумовичу работенка предстоит серьезная, — покачал головой Карпунин. — Да и другим нашим отрядам. Сейчас тактику сменим. Подвижные конные отряды, не больше эскадрона, принесут, на мой взгляд, больше пользы. Губкомпарт нас в этой точке зрения поддерживает. Сулковский сказал, чтобы этим летом, Миша, мы с бандами покончили.

Любушкин покивал согласно, но промолчал. Да и что говорить? Стараться его отдел будет как и прежде, однако, банд много, Безручко может предпринять попытку объединить их силы, ведь практически численность бойцов в рассыпанных сейчас и напуганных разгромом Колесникова повстанческих отрядах достигает двух тысяч человек, это два полнокровных полка!..

Карпунин снял трубку зазвонившего телефона, повоенному четко сказал: «Слушаю, Федор Владимирович»; Сулковский спросил, известно ли в губчека об убийстве руководителей коммуны, что была образована под Верхним Мамоном, и Карпунин ответил со вздохом, что да, известно, и следователь Наумович, кажется, напал на след бандитов.

— Хватит нападать на следы, Василий Миронович,— сурово отчитал председателя губчека Сулковский. — Надо кончать с бандами.

— Сегодня у нас коллегия как раз по этому вопросу, Федор Владимирович. Есть кое-какие новые соображения. Разработали проект «Обращения» к населению губернии. Потом представим на утверждение.

— Хорошо, — согласился Сулковский. — Сейчас действительно пора к слову обратиться, главные силы Колесникова разбиты... Напишите в «Обращении», какие потери понесла губерния от калитвянской этой вандеи, чего нам стоил мятеж.

Карпунин положил трубку, сказал Любушкину, чтобы тот подготовился к коллегии очень серьезно, время еще есть.

Они расстались на несколько часов, каждый занялся своим делом, в душе согласный с требованиями ответственного секретаря губкомпарта. Да, с бандами надо покончить как можно быстрее, много сил и крови заняла эта борьба, много убито, искалечено людей, много нанесено вреда хозяйствам губернии, ее экономике. И нава-

литься бы действительно этим летом на остатки колесниковских полков... Но ни в губкоме партии, ни в губчека не знали, не могли знать, что трудная эта борьба будет продолжаться еще целый год!..

* * *

ОБРАЩЕНИЕ

к трудовому крестьянству Воронежской губернии

Крестьяне, честные труженики и все граждане!

Покончив с врагами на всех фронтах, Советская Россия начала перестраиваться на мирную жизнь. Большинство мобилизованных в Красную Армию отпускается по домам, к мирному труду. Все усилия и заботы Советской власти направлены сейчас на возрождение народного хозяйства, на улучшение работы транспорта, на поднятие промышленности и сельского хозяйства, на то, как скорее выбиться из голода и разрухи, как построить лучшую жизнь без помещиков, фабрикантов и заводчиков, без царя и городового.

Советская власть как власть рабочих и крестьян, выражающая их интересы, внимательно прислушивается к голосу народа. Последние ее мероприятия — декреты о замене продразверстки продналогом, о свободе продажи и обмене продуктов, о кооперации и свободной мелкой кустарной промышленности; эти мероприятия устраняют почву для всякого недовольства, ибо эти новые законы отвечают интересам и желаниям большинства рабочих и крестьян.

Все это начало приводить к тому, что вокруг Советской власти и Коммунистической партии теснее сплачиваются все честные рабочие и крестьяне, не только бедняки, но и середняки. Это значит, что общими и дружными усилиями миллионов Советская Россия скоро сможет залечить свои раны и возродиться на страх врагам и на радость всем трудящимся и угнетенным.

Но есть еще враги, мешающие строить великое дело, есть люди, углубляющие разруху и вызывающие лишнее кровопролитие.

Шайки из бывших злостных дезертиров-шкурников без стыда и совести ищут возможности пожить ремеслом грабежа и убийств. Эти шайки используются бывшими деникинцами, врангелевцами и злейшими врагами Рабоче-Крестьянской Революции, так называемыми социал-революционерами (эсерами), работающими рука об руку с кадетами и анархистами. Все они стараются направить бандитские шайки против Советской власти под Милюковским знаменем «Советы без коммунистов». Это должен уяснить себе каждый рабочий и крестьянин...

Врагам Советской власти удалось осенью прошлого года организовать в Воронежской губернии банду Колесникова, в Тамбовской — банду Антонова. Банды эти сейчас разбиты, сам Колесников убит, остались в пределах Воронежской губернии лишь небольшие шайки бандитов, продолжающие грабить и убивать каждого, кто попадется под руку.

Крестьяне половины уездов Воронежской губернии — Валуйского, Острогожского, Новохоперского, Богучарского, Павловского и Калачеевского — испытали на себе горькую участь бандитизма. Сколько сотен уведено и загнано бандитами лошадей и другого скота, сколько разграблено государственных ссыпных пунктов, сколько бессмысленно вырезано людей!.. Из 4000 зарубленных, застреленных и замученных людей — около 300 коммунистов, остальные — беспартийные, рядовые крестьяне, работавшие в Советах, красноармейцы, продработники.

Бандиты не дали возможности ряду уездов и волостям спокойно и вовремя засеять поля, ссыпные пункты грабились, лошади и другой скот уводились.

Спрашивается, кому все это на руку?

Советскую власть, разбившую миллионные армии Колчака, Деникина, Врангеля, отстоявшую себя от капиталистов всех стран, бандитам не свергнуть. От бандитов страдает прежде всего крестьянин, а радуются буржуй, русские белогвардейцы и заграничные капиталисты — все вместе они радуются беде российских рабочих и крестьян. Для них всякий враг Рабоче-Крестьянской власти — их друг и союзник.

Давно пора покончить с бандами, довольно возиться с ними!

Губернский исполнительный Комитет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов постановляет:

предложить военному командованию Воронежской губернии, губчека срочно принять все решительные меры и в кратчайший срок смести с лица земли всех бандитов и шайки их, имеющиеся на территории Воронежской губернии.

Вместе с этим губисполком постановляет:

предложить лицам, по принуждению или темноте оказавшимся в бандах, немедленно явиться в свой ближайший сельский или волостной Совет, раскаяться и отдать себя в распоряжение Советской власти.

Чрезвычайной комиссии и милиции, всем должностным военным и гражданским лицам приказывается не чинить никаких обид и преследований к добровольно явившимся бандитам и их семействам, а возвращать их к честному труду...

Всем же бандитам, кто не хочет опомниться и потерял всякую совесть перед народом, кто хочет жить разбоем, грабежом и убийствами... таким, безнадежно пропащим, объявляется — СМЕРТЬ!

Советская власть, несокрушимая власть рабочих и крестьян, поставила своей задачей и заботой возродить мирный Труд и все хозяйство страны. Бандиты мешают строить новую жизнь — прочь их с дороги!

Да здравствует Союз рабочих и крестьян!

Да здравствует Коммунистическая партия, направляющая политику Советской власти к мирному расцвету и торжеству Труда!

Воронежский губернский комитет РКП(б)
Губернский исполнительный комитет

— Я думаю, уместно будет поставить и третью подпись, — сказал Карпунин, — «Воронежская губчека». Мы многое сделали, и вправе обращаться с этим доку-

ментом к населению губернии. Кстати, идти могут прежде всего к нам.

— Так или иначе, но и заниматься этими людьми нам, Василий Миронович, — согласился с председателем губчека Любушкин.

«Обращение» с небольшими поправками утвердили на коллегии. Решено было сегодня же представить его в губком партии, а потом напечатать в типографии и разослать по уездам.

Кончился еще один майский день 1921 года.

* * *

Этой же ночью Карпунин с двумя членами коллегии, Вторниковым и Ломакиным, отправились на железнодорожный вокзал Воронежа. Были с ними еще несколько бойцов и представитель губкомпарта — молчаливый пожилой человек в круглых очках.

Карпунин, как председатель губернской комиссии по борьбе с детской беспризорностью, время от времени участвовал в ночных рейдах по злачным местам города, где прятались и дети. Особенно манил их вокзал: здесь легко было затеряться в постоянно меняющейся толпе, улечься спать где-нибудь в укромном уголке, выпотрошить карман зазевавшегося пассажира, сесть на поезд и уехать в любом направлении.

Положение с беспризорными детьми в Воронежской губернии, впрочем, как и по всей России, в этом году было особенно тяжелым. Решением губкомпарта и губисполкома создано уже около двухсот детских домов, находилось в которых почти четырнадцать тысяч детей, но проблема оставалась острой. По-прежнему высока была детская смертность от голода и болезней, многие из беспризорников остались сиротами, из дальних волостей и уездов перебрались сюда, в Воронеж, а город и сам еле сводил концы с концами. И все же детей бросать на произвол судьбы нельзя. Советская власть приняла мудрое и своевременное решение, поручив именно ВЧК заниматься детьми. Правда, в чека хватает и своих дел, но что теперь важнее — добивать банды или заботиться о беспризорниках?

Карпунин, размышляя об этом, ходил с товарищами по ночному сонному вокзалу. На стенах горели закопченые керосиновые лампы, света они давали мало, в зале

ожидания стоял душный полумрак, в котором смешался тяжелый храп десятков спящих людей, тихий говор бодрствующих, лязг ведер поломоек, постукивание костылей двух инвалидов в солдатских шинелях (они тихонько продвигались к выходу на перрон), треньканье балалайки в руках пьяненького мужичка, приглушенная ругань двух баб с мешками у ног... В дальнем углу кружком сидела ватага подростков, азартно резалась в карты. Заметив приближающихся к ним взрослых, подростки насторожились, старший из них — чернявый худой паренек со свежей царапиной на щеке — сунул карты под рубаху, привстал.

Карпунин махнул ему рукой — садись, мол, чего вскочил? Сам опустился рядом с подростками на корточки.

— Развлекаетесь, хлопцы?

— Есть маленько, — протянул чернявый.

— А едете куда?

— А ты кто такой? — резко, даже зло спросил белобрысый паренек в широкополой черной шляпе, съезжающей ему на нос. Паренек высоко задирал голову, смотрел на подошедших подозрительно — по всему было видно, что он в любую секунду мог дать стрекача. К нему и обратился Карпунин.

— Я председатель чека Карпунин. А тебя как зовут?

— Меня-то? — Владелец шляпы цыкнул сквозь зубы, вытер губы грязной ладонью. — Клейменов я.

— А имя?

— Ну, батя с матерью Тимошей звали. А кореша вон Блондинчиком кличут.

— А родители твои где, Тимофей? — мягко спросил Карпунин, напряженно вспоминая, когда и по какому поводу слышал он эту фамилию — «Клейменов»?

Блондинчик шмыгнул носом.

— Их бандиты еще в двадцатом году побили. Батя мой сельсоветчиком был.

— А... Постой-ка, Тимофей! Ты... ты, случаем, не из Меловатки?

— Из ней, — кивнул подросток. — А ты чего — бывал там? Или как?

— Да лично не был, но, понимаешь, вспомнил... Я там работал недалеко, в Павловске.

— Ничего себе недалеко! — хохотнул чернявый, внимательно, как и все остальные подростки, слушающий разговор Карпунина с Блондинчиком. — Меловатка Калачеевского уезда, а Павловск... Ха! Совсем рядышком.

— Ну, для нас эти расстояния... — Карпунин поднялся с корточек. Спросил у чернявого: — А куда вы все собрались?

Тот дернул плечом.

— Харьковский ждем. А оттуда — на Одессу, к морю. Там летом теплее, жрать не так хотца...

— Может, отложим пока поездку, ребята? — улыбнулся Карпунин. — Ехать далеко, да и накладно, если по-честному-то. И там жить на что-то надо.

Чернявый отпрянул в сторону, кивнул своим, и подростки повскакивали, готовые броситься врассыпную.

— Ты чего, чека, забирать нас будешь, да? Так мы чистые, никого не...

— Ну, какой ты чистый, мы видим, — засмеялся Карпунин. — В трех, поди, банях тебя сразу не отмоешь.

— Ребя, шмо-он! — закричал чернявый и первым кинулся было между чекистами, но Ломакин ловко схватил его за кургузый пиджачишко, удержал.

Карпунин взял за руку Блондинчика.

— Идем-ка, Тимофей. В Одессу потом когда-нибудь съездишь. Выучишься вот, повзрослеешь.

Окруженные чекистами, подростки угрюмо шествовали через вокзал.

— Васька-а! За что взяли-и? — завопил кто-то злорадное из темноты, и чернявый покосился на голос, втянул голову в плечи.

— Я читал... в сводке у нас было про твоих родителей, Тимоша, — сказал Карпунин Блондинчику. — Это из банды Колесникова, мы многих уже поймали, кого в боях убили. — Он помолчал, вздохнул: — Звери, конечно, не люди.

— Они... они и мамку, и сеструху, и еще троих... всех наших побили. — Тимоша тихонько заплакал. — Мамка к сельсовету не пошла и доху свою не стала отдавать. А тогда бандит... длинный такой, другой его Демьяном называл, вырвал доху, мамку ударил и снова в сундук полез.

— Демьян, говоришь? — переспросил Карпунин. — А узнать его, если что, сможешь?

— Узнаю, дядько чека, узнаю! Демьян этот не убивал, а только матюкался и толкался. А другой стрелял...

— Так, так, — повторил Карпунин. — Ладно, Тимоша, теперь родителей не вернешь...

Вся живописная их группа вышла уже из вокзала, направилась к грузовичку, стоявшему поблизости.

— А как же ты жил, Тимофей? — спросил Вторников, слушающий их разговор с Карпуниным.

— Да как, дядько... Я тогда утек из дому, боялся, что найдут бандиты и убьют. В Калаче с одним корешем воровали у торговок на рынке, потом в Лисках... А потом Ваську встретили. Мы уже давно вместе ездим. В Ростове были, в Тамбове... А нас расстреляют, да, дядько?.. — Тимоша съежился, стал совсем маленьким, жалким. — Васька говорил: кто в чека попадает, всех к стенке ставят... Но мы токо хлеб и картоху крали, дядько! А так не убивали никого... — Тимоша снова заплакал.

— Да кто тебя расстреливать собирается! — не выдержал Карпунин, чувствуя, что и у самого вот-вот хлынут слезы. — Советская власть за каждого из вас бьется, помочь хочет, а ты... Мало ли что Васька сказал. Учиться будешь, в детдоме жить. А хочешь, так и у меня поживи.

— Брешет он, беги! — закричал вдруг Васька, рванулся что было сил из рук Ломакина и — только его и видели — как растворился за углом дома.

— Стой! Стой, говорю! — закричал, кинулся было вслед один из бойцов, но Карпунин остановил его.

— Не надо. Дальше вокзала он все равно не удерет. Вы двое, — он показал рукой на бойцов, — вернитесь, посидите в зале ожидания до утра, а потом приведете его.

Тимошу Карпунин посадил рядом с собой в кабину, обнял его за плечи. Гомон наверху, в кузове, утих, постучали по крыше — мол, трогайте там, сели. Машина мягко покатила по ночному Воронежу.

Тимоша, видно, размышлял над сказанным Карпуниным. Сказал:

— А я помогал чекистам. В двадцатом году, когда мамку и сестренок побили. Мы с Танькой Ельшиной в Калитву ходили.

— Вот кто ты такой! — воскликнул обрадованно Карпунин. — А что же молчишь?!

— А мне Станислав Иванович наказывал: никому ни слова. Забудь, и все.

— Ну хорошо, молодец. А Станислава Ивановича завтра увидишь. Он здесь, в Воронеже. И человека одного тебе покажем...

* * *

Утром Карпунин вызвал по телефону дежурного, сказал, чтоб принесли им с Тимошей чаю, а потом привели... Кого именно привести, Тимоша не расслышал, да и не

слушал, честно говоря, он во все глаза разглядывал кабинет «самого главного чекиста» с большим столом у окна, зеленой лампой на ней, множеством стульев у стен и портретом Дзержинского над ними. Дзержинского Тимоша знал, видел уже такой портрет. Васька пугал, что не дай бог попасть к Феликсу, вообще, к чекистам, а оказалось, что ничего страшного в этом и нет — так тепло и уютно в этом большом кабинете, и чаю вон сейчас принесут. Хорошо бы с баранками, какие он видел вчера днем у торговки на вокзале — такие большие, румяные... Тимоша проглотил слюну, поудобнее устроился в кресле, согреваясь и успокаиваясь окончательно.

Дежурный принес две большие кружки, сахар и черный хлеб, доложил, что «арестованный доставлен, ждет с охраной в приемной», и Карпунин сказал, пусть, мол, подождет, они вот с Тимошей попьют чаю. Он пододвинул подростку сахар, велел есть его весь, так как он к сладкому не очень, да и зуб что-то со вчерашнего дня поет. Тимоша догадался, что дядько чека хитрит, но сахар съел с удовольствием, а кусок оставшегося хлеба незаметно сунул себе за пазуху — когда еще придется так сладко полакомиться?!

Открылась дверь, вошел высокий худой человек; Тимоша пригляделся к нему и тотчас вспыхнули в памяти страшные картины: расстрелянная, в луже крови на полу мать, два вооруженных обрезами бандита, огонь и грохот выстрелов в их доме, корчившиеся от смертной боли сестренка Зина, братишки, бьющий в нос запах сгоревшего пороха, запах сена в сарае, куда он, Тимоша, кинулся со всех ног и хотел утащить сестренку, но не успел — ее перехватил вот этот длинный, что-то стал спрашивать, угрожая обрезом, а другой бандит, в черном малахае и кургузом зипуне, вырвал Зину у него из рук, ударил ногой, а потом стал стрелять...

Тимоша задрожал как от лютого холода, с ногами забрался в кресло, клацал зубами. Он тянул руку к безмолвно стоящему человеку, что-то хотел сказать, но не мог, лишь судорожно открывал подергивающийся, бледный рот.

Карпунин, внимательно наблюдавший за ними обоими, подошел к Тимоше, положил руку ему на голову:

— Успокойся, сынок. И скажи: знаешь ты этого человека? Видел?

Тимоша немо кивнул, потом отчаянно замотал головой, боясь, что его не поймут, что неправильно истолку-

ют — а ведь это один из тех, двоих, это он был тогда у них дома, в Меловатке, он помогал тому, другому, он шарил потом в их сундуке, тащил материну заячью доху...

— Я понял, сынок, понял! — сказал Карпунин дрогнувшим голосом. Прямо и люто смотрел на Демьяна Маншина, и тот, сразу, конечно, узнав паренька, съежился, поник.

— Да не убивал я мать его, гражданин Карпунин! — истошно, по-бабьи заголосил Маншин. — Котляров все это. А я... Я... его сестренку не давал бить... Господи, да простите меня! Ведь помогнул я вам, Колесникова пришил!..

Карпунин молчал, а Маншин истерически выкрикивал что-то несвязное, катался по полу.

— Встань, Маншин! — приказал Карпунин, и Демьян, всхлипывая, размазывая по лицу слезы, поднялся на дрожащих ногах, с тающей надеждой заглядывая в лица обоих — сурового председателя чека и дрожащего в кресле подростка, с ненавистью и страхом рассматривающего его; именно в глазах этого мальчонки и прочитал Демьян окончательный приговор.

...Тимоша Клейменов, тревожно вздрагивая, спал на узкой железной койке Карпунина, а Василий Миронович расхаживал по кабинету как можно тише, боясь нарушить непрочный сон подростка. Он и сам перенервничал с этой очной ставкой, близко принял к сердцу все происшедшее на его глазах и сам еле сдержался, чтобы не схватить наган и... Конечно, он не имел права вершить самосуд, поддался эмоциям, своему гражданскому, человеческому гневу, но очень уж по-звериному подло действовали тогда, в ноябре двадцатого, этот рассопливившийся теперь Маншин и его напарник, Котляров. Стрелять детей, беззащитную женщину...

Карпунин на цыпочках подошел к кровати, сел на стул возле Тимоши, повернувшегося сейчас на бок, слабо вскрикивающего во сне. Василий Миронович поправил на Тимоше одеяло, постоял, вглядываясь в худенькое, сжатое дурным, видно, сном лицо подростка. Думал, что мальчонке этому неплохо, конечно, будет в детском доме, но кто теперь заменит ему мать-отца, с каким сердцем будет жить человек на земле?

Он вернулся к столу, где по-прежнему горела зеленая настольная лампа и негромко тикали большие, в резном черном корпусе часы; еще походил по скрипучим половицам, потом долго и неподвижно стоял у высокого с двойными рамами окна...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Оставаться в Журавке смысла больше не было. По данным разведки Безручко, Варавва и Стрешнев прятались где-то под Богучаром, в лесу. Но и эти данные были неточными: банды вряд ли осмелились бы находиться поблизости от уездного города, да еще все вместе. Скорее всего, в лесу одна из них, остальные постоянно меняют свое местонахождение — за ночь лошади могут пройти тридцать—сорок километров.

Наумович сообщил Шматко, что на днях крупная банда, примерно сто конных, вошла в Рыжкин лес. Банду видели издали, кто такие — неясно, не разглядели. Искать лагерь в таком лесу — все равно что иголку в стогу сена. Нужно выманить банду из надежного укрытия, навязать ей бой в открытой степи, тогда можно рассчитывать на успех.

Шматко это и сам понимал. Но как выманить? В последние две недели он настойчиво пытался связаться с кем-нибудь из главарей, посылал своих людей в разные концы, слал письма, но нарочные возвращались ни с чем. Банды были явно напуганы событиями последнего времени, прятались где могли — так и прокормиться легче, и уходить от погони. И действовали они очень осторожно, внезапно, быстро — попробуй догони! Наумович со своим отрядом гонял по округе, шел у той или иной банды по следу — каждый день почти то из одного, то из другого села раздавались призывы о помощи, — но Безручко, Варавва и Стрешнев оставались неуловимы. Надо было действовать более активно, что-то предпринимать.

Скоро из Воронежа, из губчека, батьке Ворону пришел новый приказ: разработать совместные действия с Наумовичем, найти Безручко, банду обезглавить. Бывший заместитель Колесникова — наиболее опасная фигура, со временем он может объединить разрозненные остатки полков...

Легко сказать — найти! А где он, этот чертов Безручко?! Ни на какие сигналы не откликается, как будто его и нет на белом свете!

Однако приказ надо выполнять. Шматко снялся из Журавки в середине мая. Полный день и часть второго ушла у Ворона на переход. Особо не спешили, чтобы поберечь коней. Предстоял изматывающий и долгий, видно, поиск Безручко на Богучарщине — силы пригодятся.

В хуторах и селениях Ворон вел себя как всегда: бойцы его заводили скользкие разговоры о большевиках, прославляли батьку Махно, анархию, говорили, что коммунисты у власти долго не продержатся; Колесников хоть и погиб, но есть другие командиры, те же Безручко и Варавва, да и батько Ворон — «мужик с головою». Хуторяне без особой радости подкармливали «банду», больше отмалчивались. За последнее время повидали они в своих краях всякое, многих видели «батьков»! Одних били красные, другие сами куда-то пропадали. Сгинет и этот, Ворон...

В Ивановке (там ночевал Ворон) крестьяне подняли бунт, похватали кто вилы, кто колья, пошли приступом на «банду», а тут и чекисты подоспели — «гнал» Наумович Ворона аж до самого леса, только пыль столбом стояла!..

...В лесу Ворон стал лагерем на берегу озера. Травы и рыбы нашлось здесь вдоволь, было чем питаться и людям, и лошадям. Да и крыша над головой была — с незапамятных времен стоял здесь позеленевший от дождей дом рыбацкой какой-то артели, пусть в нем не было стекол и дверь висела на одной петле — от непогоды дом хоронил почти весь отряд.

Теперь, после «боя» у Ивановки, дня два-три надо выждать. Если Безручко или Варавва здесь, в лесу, они обязательно узнают о том, что Ворон у них под боком. И отчего бы не переговорить с ним? Или хотя бы не прощупать настроение занозистого батька?

Гость явился на четвертый день — маленький тощий мужичишка с корзинкой для грибов. Привел его Петро Дибцов, сидевший в секрете, сказал, что мужичишка этот пытался наблюдать за лагерем с той стороны озера, прятался в кустах. Лазутчик не отказывался. Признал, что «чуток доглядав за Вороном», так ему было велено, что шлет ему привет Осип Варавва.

— Люди его бачили, як ты, Ворон, сражався в Ивановке с чекистами...

— Ну, бачили не бачили, — хмуро отвечал Шматко.— Чего глядеть? Выскочили бы да подмогнули. А так нас этот Наумович по одному как щенят переловит да в трибунал сдаст. Хорошо, что у нас кони добрые... Эх, попался бы мне этот Наумович!..

Мужичишка внимательно слушал; круглые его, свиные какие-то глазки в белых ресницах оглядывали лагерь: он явно считал людей Ворона — губы его шевели-

лись. Выслушав Ворона, согласно покивал заросшей башкой, попросил закурить — мол, у них в лагере с табаком хреново. Дибцов подал ему свернутую для себя цигарку, которую держал за ухом, поднес и огоньку. Лазутчик затянулся, похвалил табак; голодными глазами смотрел и на небольшой чан, в котором варилась уха, сглотнул слюну, но просить еду не стал. Сказал строго, что «тебя, Ворон, ждет завтра на хуторе Стеценково Осип Варавва, но являться надо без отряда, с кем-нибудь вдвоем, иначе Варавва прикажет стрелять. Веры сейчас никому нету, не обижайся, Ворон».

— Да чего тут обижаться, буду, — сказал Шматко, и ни один мускул на его лице не дрогнул.

Гость ушел, не оглядываясь; с тропы вдоль озера свернул налево, скрылся в чащобе, потом желтая его рубаха снова замелькала между деревьев, но совсем в другой стороне — лазутчик путал следы, не хотел, чтобы знали, откуда он точно пришел.

— Ишь, конспиратор, — усмехнулся Прокофий Дегтярев, когда Дибцов рассказал ему о петляющем по лесу посыльном Вараввы. — Такой и зайца обхитрит. Ну хитри, хитри!..

Шматко, Дегтярев и Тележный ушли из лагеря, сели у самой воды на поваленную ветром березу, не торопясь закурили. Утро поднялось над лесом солнечное и тихое. То и дело всплескивала в озере рыба, гонялась, видно, за плотвой щука или крупный окунь, кормились хищники; заливалась над лесом невидимая голосистая пичуга, радовалась солнечному дню, жизни...

Чекисты молчали. Хорошо понимали ситуацию: завтра двое из них могут не вернуться. За последние недели при «странных» обстоятельствах разгромлены несколько банд: Наумович появлялся в самых неожиданных местах и в «неподходящее» время, оказывался в засадах именно в тех селах, где намечался грабеж. В руках чекистов оказались уже Роман Соколов, Игнат Бачевский, Евлампий Бондаренко... Наумович преследует по пятам и многих других батьков, зная откуда-то их укромные хутора и балки, где они прячутся и пируют после набегов. И почему всегда невредимым уходит от чека Ворон? Почему в Талах убит совсем не тот человек, Панов, а все волисполкомовцы живы и здоровы? Не зовут ли Шматко-Ворона в стан Вараввы на казнь? Надо ли рисковать, соглашаться?

Все эти мысли высказал вслух комиссар отряда Тележный. Еще он сказал, что надо посоветоваться с Любушкиным.

— Что советоваться! — возразил Тележному Шматко. — Нам тут виднее.

Ворон задумался. Мысли, высказанные Тележным, были справедливы: Варавва и тот же Безручко знают, что происходит в округе, настороженные и подозрительны ко всем, кто ищет с ними контактов, связи, научены опытом. Могут, конечно, знать они и о подлинных событиях в Талах зимой прошлого года, хотя трудно все это доказать— никто же не слышал разговора Ворона с Пановым... А Варавва и Безручко, судя по всему, ищут подмогу, стремятся к объединению, бывший голова политотдела Повстанческой дивизии намерен, видно, снова собрать под свои знамена отряды головорезов, снова лить кровь, выжидает момент. Но не исключена и элементарная уловка: Ворон разоблачен, и ждет его в хуторе Стеценково расправа...

— Я могу поехать и один, — сказал Шматко. — Риск велик, понимаю. Что они задумали, черт их знает! Ставить вас под удар...

— Нет, Иван Петрович, поедем вдвоем, как приказано. — Дегтярев спокойно смотрел на командира. — В любом случае стрелять сразу они не начнут... Не должны. Какой смысл? Да и ошибок, думаю, особых у нас не было.

— Ошибки были, Прокофий, — покачал головой Шматко. — Не с дураками имеем дело, Безручко — хитер, собаку, как говорится, в военном деле съел.

— Съел-то съел, а трусит. — Дегтярев веткой отмахивался от комаров.

— В любом случае, Иван Петрович, надо дать знать Наумовичу, чтобы был поблизости от Стеценкова, — сказал Тележный. — Ну и мы где-нибудь рядом будем. Если что случится с вами...

— Да ничего не случится, Федор. — Шматко поднялся. — Варавва и Безручко ищут связей, иначе бы они не стали... Впрочем, на эту тему мы уже говорили. Пошли сейчас к Наумовичу Дибцова, пусть только не вспугнет разъезды Вараввы, иначе действительно нам придется туго. Ну а мы, Прокофий, айда собираться. До Стеценкова полдня скакать, переночуем где-нибудь там, а утром понаблюдаем за хутором...

В лагерь командиры вернулись спокойные, с деловыми, озабоченными лицами. Шматко с Дегтяревым осмотрели своих коней, проверили седла, оружие. У костра по-

ели с бойцами свежей ухи, а потом незаметно для многих уехали.

Из сухой извилистой балки хутор Стеценково виден как на ладони. Хутор маленький, в девять дворов, дома — под соломенными серыми крышами, с длинными плетнями и зелеными полосками огородов. Торчит посреди улицы высокий колодезный журавель, возле него — водопой: не меньше полусотни всадников толпятся вокруг, лошади тянутся к деревянному корыту, к воде, слышатся приглушенное расстоянием нетерпеливое их ржание, голоса людей. Сейчас, утром, ветер переменился, дует Шматко и Дегтяреву в лица, доносит звуки хутора. С четырех сторон Стеценкова, на буграх, — парные конные разъезды, пройти или проехать к хутору незамеченным нельзя. Разъездам, ясно, приказано ждать Ворона со стороны Рыжкина леса, ближайшие к чекистам всадники то и дело поглядывали на далекий, у самого горизонта лес, и это обстоятельство веселило Шматко. Вот будет переполох, когда они появятся у хутора совершенно неожиданно.

Так оно и получилось. Едва Ворон с Дегтяревым появились на виду у изумленного разъезда, как грохнул поспешный предупредительный выстрел: стой! ни с места!

Те двое, на бугре, остались где были, а к Шматко с Дегтяревым поскакали семеро верховых, державшие оружие на изготовку.

— Видишь, как други встречают, — улыбнулся Прокофий.

Оказалось, Ворона встречал сам Осип Варавва. Шматко никогда не видел его, знал лишь по приметам, что у Вараввы — сабельный шрам на подбородке, что ездит он на красивом сером коне в яблоках, жесток и охоч до женского пола. Лет ему примерно сорок пять, собой чернявый, с лихо закрученными тонкими усами, одет в черную гимнастерку и кавалерийское, обшитое кожей галифе, на ногах — сапоги со шпорами.

Варавва подскакал; сопровождающие его люди окружили Шматко и Дегтярева, смотрели настороженно, шарили по лицам приезжих недоверчивыми взглядами. Хмуро глядел и сам Варавва.

— Ворон? Откуда взялся? Почему мои люди не видели, как ехал? — спрашивал он отрывисто и недовольно.

Голос у него сиплый, простуженный, говорил Варавва с трудом.

— Плохо, значит, смотрите, — рассмеялся Шматко, показал плеткой. — Вон балочкой и ехали. Чего глава мозолить?!

— Балочкой! — буркнул Варавва, протянул руку, поздоровался сначала с Вороном, а потом и с его заместителем. — А людей твоих там нема, Ворон? В балочке?— Варавва, не оглядываясь, бросил отрывистое: — Фрол! Сгоняй-ка. Да хорошенько там глянь.

— Слухаю! — угрюмый осанистый мужик козырнул, кинув ладонь к шапке, повернул коня, пошел наметом.

К хутору Варавва поскакал первым, кивком головы велев гостям следовать за собой. Шматко ехал чуть сзади Осипа, отмечая в уме, что приметы Вараввы совпали, такой он и есть, и конь его хорош — точеные ноги и шея, мощное ладное тело, длинный ухоженный хвост. Птица, а не конь! Седока он, наверное, и не чувствует.

У дома напротив колодца Варавва спешился, бросил поводья подскочившему малому в красной рубахе и с перевязанной щекой, пошел во двор; двинулись за ним следом и Шматко с Дегтяревым.

Дом был о двух комнатах, дверь в спаленку прикрыта, и Шматко понял, что там кто-то есть, глазами показал Дегтяреву — имей, мол, в виду. Варавва сел на лавку у окна, сели поодаль, у другой стены, приезжие. Трое охранников стали у двери, переминались с ноги на ногу, поигрывали обрезами.

— Ну, что скажешь, Ворон? — спросил Варавва, закуривая «козью ножку» — удушливый дым сизыми волнами поплыл по избе. — Раньше, мне говорили, ты не очень-то про объединение толковал, наоборот, а теперь сам моих хлопцев искал.

— Времена другие, Осип, — спокойно сказал Шматко. — Теперь нас по одному как курчат переловят.

— Ну... дураков — их всегда ловили. — Варавва закинул ногу на ногу, поигрывал носком сапога. — Вот и ты: приехал прямо в наши руки, и пикнуть не успеешь. Ха-ха-ха...

— Не понял. — Шматко внутренне напрягся: что это — очередная провокация, испытание нервов, или действительно бандитам что-то стало известно?

— Да чего ж тут не понять? — Варавва поднялся,

стал расхаживать по земляному, чисто подметенному полу, насмешливо поглядывал на своих охранников. — На хутор Бычок вместе с моими хлопцами был набег? Был. Ты ушел, а их Наумович побил почти всех. Договорились потом на конезаводе конями разжиться, а там нас свинцом встретили. А? В Талах зимой волисполком громили, да оказалось, не тех жизни лишили...

— На конезавод среди бела дня только идиот может нападать, — стал защищаться Шматко. — Там у красных и пулемет теперь стоит, почти две сотни породистых лошадей, еще с екатерининских времен рысаков там выводят...

— Это я и без тебя знаю, — поморщился Варавва. — Вот нам такие и нужны. Видел моего? — Он пригнулся к окну, бросил любовный взгляд на серого своего красавца, загорелое его до черноты лицо смягчилось.

— Вижу, — кивнул Шматко, имея, однако, в виду совсем другое: из спаленки торчали два обреза, под окнами топтались еще трое-четверо рослых молодых мужиков.

— В Бычке, Осип, твои хлопцы пьяные были, вот и попались чека, — продолжал Шматко, — а про Талы и слушать не хочу. Всех подозрительных и сочувствующих Советам переводил и переводить буду. А если кого из наших ненароком и отправил на тот свет, то не велика беда, на то она и война.

— Цэ ты гарно сказав, Ворон! — дверь спальни вдруг распахнулась; поглаживая усы, вышел в переднюю Митрофан Безручко, поздоровался за руку со Шматко и Дегтяревым. Сел за стол. — А все ж таки веры тебе особой нема, Ворон. Стороной держишься, в тот раз, под Калитвой, утик.

— Я ж говорил тебе, Митрофан Васильевич: хлопцы мои свободу любят, никому подчиняться не хотят. Я против них пойду, так не сдобровать и мне. Тут разговор короткий.

— Гм... — Безручко пятерней чесал голову. — Може, и так. А дисциплина, Ворон, должна быть. И совместные действия. Иначе нас красные добьют окончательно.

— Вот за тем и приехал. — Шматко понял, что гроза миновала.

— Вы, хлопци, гэть видциля! — махнул рукою Безручко, выпроваживая охранников на улицу, жестом приглашая к столу и Ворона с Дегтяревым. — А ты, Осип, скажи Дуняше, шоб картох да огиркив принесла. Сегодня моя очередь угощать.

Варавва поднялся, пошел к двери, придерживая шашку, бьющую его по косолапым ногам, бурчал себе под нос: «Тебя, Митрофан Василич, самогонка до добра не доведет. Сколько ее лакать можно?! И так дело, считай, загубили. Лучше б Ворона поспрашивал, врет ведь и не сморгнет...»

В доме появились две женщины, видно, из соседней хаты: молодая и постарше, низенькая, юркая. Шматко глянул на молодую и обомлел: это же Дуня! Ветчинкина! Да и эта, пожилая, была с ней тогда, в поезде...

И Дуня узнала Шматко. Стала, открыв рот, и миски в ее руках дрогнули.

— Ой! — вырвалось у нее испуганно. — Ты, Ваня?

— Я. — Шматко радостно улыбнулся, шагнул ей навстречу, лихорадочно соображая при этом: чем обернется для них с Прокофием давнее это знакомство? Что скажет, что может сказать Дуня? Он-то в самом деле был рад ее видеть, она так хороша была в простеньком своем длинном платье, так ладно обтягивала высокую грудь голубая блеклая ткань, и радостью же лучились синие большие глаза!

— От лярва! — вырвалось удивленное у Безручко. Он подошел к ним, заглядывал Дуне в глаза. — Ты видкиля Ворона знаешь, а, Дунька?

— Для тебя, может, он и Ворон, а для меня — Голубь, — отвечала Дуня, расставляя закуски на столе.— Тебе, дядько, и не обязательно все знать.

— Як это не обязательно! — важно надулся Безручко. — Ты моя племянница, а цэ... ну...

Пока Безручко хватал воздух пальцами, искал слово, Шматко воспрянул в душе — теперь им с Прокофием будет здесь легче, гораздо легче! Случайное дорожное знакомство, радость в глазах Дуни... Тому же Варавве так нужны доказательства преданности Ворона, он ищет, за что бы уцепиться, в чем бы уличить непокорного этого молодого «батька», а тут такая удача! Разве он, Шматко, не может разыграть влюбленного в племянницу Митрофана Безручко парубка?.. И стоит ли, нужно ли разыгрывать? Ведь и он искренне рад встрече, там еще, в поезде, хотелось поговорить с приветливой, приглянувшейся ему женщиной, и кто мог предполагать, что судьба снова сведет их при таких обстоятельствах?!

— Так ты, значит, заодно с дядькой? — негромко спросила Дуня у Шматко, и он насторожился — чего это она интересуется такими делами? И потом: по собственной воле, из интереса, или попросили ее?

— Как иначе, Дуня? — вопросом на вопрос ответил он. — Пока большевики верховодят, хлопцам моим гулять мешают...

Дуня, поставившая уже на стол закуски, выпрямилась, свет в ее глазах угас. Она поджала пухлые алые губы, повернулась, пошла к двери. Шмыгнула вслед за нею и та, другая женщина.

— От лярва! Вредная дивчина! — похохатывая, сказал Безручко, усаживаясь за стол. — Все ей не так, все не эдак... Батьку красные зарубили под Криничной, и Гришку, дружка ейного, на тот свет отправили, а ей все неймется. Бросил бы ты, каже, дядько, цэ дило, все одно красных не сломите... Выпороть бы ее, да жалко — бачь, яка красавица! Да и брат наказывал: сбереги, мол, Дуньку. Одна осталась, мать в семнадцатом померла от тифа, сам... А! — Безручко махнул рукой, нахмурился. Зычно крикнул: — Осип! Ты куда запропав?

Явился Варавва, принес бутыль с самогоном, сам стал и разливать по кружкам. Строго сказал Безручко:

— Давай о деле, Митрофан Василич. Ворон не к Дуне твоей приехал.

— А почему бы и не к ней? — обиделся Безручко.— Чем дивчина худа? Молодым — жить, а нам горилку у них на свадьбе пить. А, Ворон?.. Ну ладно, цэ я так, шуткую. С богом!

Выпили раз, другой. Варавва стал наливать еще. Но Шматко отодвинул кружку.

— Хватит, — сказал он. — Действительно, не за тем приехал. И сам свободу уважаю, гулять по России люблю, а тут, браты, вопрос колом стоит: или мы чекистов— или они нас. Мне этот Наумович — вот где! — И полоснул себя ладонью по горлу. — Как шакал по степи за нами гоняется, сколько хлопцев наших перевел, в трибунал отправил.

— Попался бы он мне в руки! — глаза Вараввы хищно блеснули. — Я б из него кровь по наперстку цедил! По кусочку б резал!.. Ы-ых!..

— А давайте, хлопцы, споймаем того Наумовича, — добродушно и пьяно уже сказал Безручко. — Ну шо вы заладили: Наумович, Наумович! Споймаем та за ноги его и подвесим, нехай висит.

— Я знаю, где он ночевать иногда остается, — вступил в разговор Дегтярев. — С отрядом, конечно, его не так просто взять. Но взять можно.

— Так, так, — тяжело мотал головой Безручко. — Правильно. Я Мордовцева самолично казнил и чекиста этого тож казню. Вот, от Мордовцева печатка осталась.— Из кармана галифе он выхватил печать, подбросил ее на ладони. — На лоб им ставлю... — засмеялся, заколыхался жирным большим телом, закашлялся.

— Дело не в одном Наумовиче, — стал было возражать Варавва, клонить разговор в другую сторону. — Может быть, нам, объединившись, стоит уйти пока в Шипов лес или снова под Тамбов, переждать, а потом уже...

— Нет, Наумович этот как бельмо на глазу, — подливал масла в огонь и Прокофий Дегтярев, прикидываясь чрезмерно пьяным. — Покоя от него нету... Смерть ему!

— Правда, чего с ним цацкаться, — вторил Прокофию Шматко, — сколько он нашей кровушки пролил, этот Наумович! Мне ни одного набега без стрельбы не дал совершить, с десяток хлопцев моих от его пуль полегло.

Ворон гневно говорил еще о стычках с отрядом Наумовича, о том, что тот иезуитски хитер, появляется в самый неподходящий момент (видно, везде у него по деревням натыканы лазутчики), а самого его застать врасплох невозможно. Говорил, притворяясь пьяным, матерился, стучал кулаком по столу, а сам все время думал о печати Мордовцева, которая лежала в кармане зеленого френча Безручко, о последних минутах жизни своих боевых товарищей. В одну из тайных встреч под Богучаром Любушкин рассказал Ворону о гибели Мордовцева и Алексеевского, о том, как измывались бандиты над трупами комиссара и военкома, с какими почестями хоронили их потом в Воронеже, в Детском парке. Длинная, в полверсты, процессия шла по главной улице губернского города, проспекту Революции, семь красных гробов несли весь этот траурный последний путь десятки воронежцев, траурно же, сменяя один другой, рыдали духовые военные оркестры. «Воронежская коммуна» напечатала некролог с призывом отомстить бандитам за смерть революционеров.

И вот один из убийц, Митрофан Безручко, сидит сейчас перед Шматко—Вороном, похваляется зверской казнью штаба Мордовцева. А он, Ворон, вынужден сидеть за одним столом с этим палачом, пить с ним самогонку, улыбаться и поддакивать. Но ничего, ничего. Если удастся заманить тертых и битых этих волков, Безручко и Варавву, в капкан, если поверят они им с Прокофием и говорят сейчас не притворяясь, то... Только бы не переиг-

рать, не дать ни малейшего повода для сомнений, не вызвать пастороженности — Митрофан с Осипом тоже не лыком шиты, не пальцем деланы. Они и сами могут притвориться, убеждать, что верят Ворону и принимают его предложение расправиться с Наумовичем. А сами плетут сеть, заманивают их с Дегтяревым в волчью яму... Впрочем, кажется, все идет нормально; Безручко много и охотно пьет, согласен на все — Наумович сидит у него в печенках и от одного его имени у Митрофана, как он выразился, «свербить у носу»...

«Наверное, у него есть и другие вещи Мордовцева и Алексеевского, — думал Шматко. — У этих палачей какая-то болезненная страсть брать у убитых что-нибудь «на память»...»

Он решил, что потом прикажет тщательно осмотреть все награбленное Митрофаном Безручко, вернет вещи Мордовцева и Алексеевского их семьям... Такая неожиданная, глупая смерть штаба! Зачем было отпускать сопровождающий эскадрон?!

— Где же похоронили Ивана Сергеевича? — спросил Ворон, возвращаясь в мыслях к застолью, стараясь не привлекать особого, повышенного внимания Безручко к своему вопросу — спросил как бы между прочим.

— Та сховалы его, сховалы, — неопределенно махнул тот рукой. — В тайном мисти. Зараз пока пусть полежить в подполи, а потом, после победы, с почестями Колесникова похороним, в Старой Калитве. Нехай там у церкви, на бугре, и лежить, на пас з вами дывыться, як мы новую жизнь правим.

— Что ж не сберегли командира? — вставил с упреком Дегтярев.

— Та шо... Не уберeглы. — Безручко принялся раскуривать трубку. — Стреляють, же, заразы красные. И дуже метко. А в тот раз с тем же Наумовичем и схлестнулись. Иван сам в атаку кинулся, верховодил. Ну а верховодов всегда пуля обласкае... Не лез бы, так ничего б, може, и не случилось. Береженого оно сам бог и бережет.

— Жалко Ивана Сергеевича — вздохнул Ворон. — Глядишь, с ним бы мы и не прятались сейчас по хуторам. Давайте, мужики, помянем нашего командира! — Он приподнял кружку с самогонкой.

Безручко свирепо глянул на Ворона.

— Ты шо? Безручке не веришь?! Га? Да хочешь знать, Колесников мою волю сполняв, я колесо крутыв.

А вин тильки команды подавав та приказы у штаби подмахивав... Зараз я голова, Ворон! И если будешь вякать...

— Ладно, Митрофан, оставь, — поморщился Варавва. — Ворон дело говорит, Ивана Сергеевича надо помянуть, командир он был хороший.

Варавва встал первый, за ним с неохотой поднялся и Безручко, ткнул кружкой в кружку Ворона.

Выпили.

— Дело Ворон говорит и о Наумовиче, — продолжал потом Варавва, пожевав сала. — Словить его, собаку, надо...

— Сме-е-е-ерть! — разозленным бугаем ревел Безручко. Он схватил нож, вытянул руку над столом, и руку эту тут же пожал Дегтярев, за ним Шматко, а последним, чуть поколебавшись, — Варавва. Крепкое это было рукопожатие четверых — не разъять. Судьба чекиста Наумовича была решена!

...День уже клонился к вечеру, когда гости, «сильно шатаясь», садились на коней. Дегтярев никак не мог попасть ногой в стремя, соскальзывал с седла, а Ворон — тот вообще не узнал своего коня, спутал его с вараввинским, но Осип, хоть и подобревший от выпитого, своего красавца-скакуна не дал, разгадал хитрость. Погрозил Ворону нагайкой.

Уже в седле Шматко увидел Дуню: она стояла у плетня, держа ладошку у глаз — солнце светило ей в лицо, смотрела на Ивана чуть растерянно и с ожиданием. Шматко тронул коня, подъехал.

— Скоро увидимся, Дуня. Я приеду, — сказал он намеренно громко, зная, что их слушают, смотрят на них.

— Тебя красные тоже убьют...

— Что ты, Дуня! Я от пуль заговоренный.

— Лучше б я тебя не знала, — печально и тихо проговорила она. — Убили б и убили...

Дуня резко повернулась, пошла прочь, к дому, а Шматко смотрел ей вслед, и сердцу было хорошо, спокойно.

Попрощались с Вараввой и Безручко, договорились напасть на отряд Наумовича совместными силами при первом же удобном случае, отомстить чекистам.

— А хорошо ты с девкой этой, Дуней, комедию ломал, — похвалил Дегтярев, когда они выехали с хутора. — Аж завидки взяли. И она к тебе так ластилась...

— Не ломал я никакой комедии, — вздохнул Шмат-

ко. — Дуня мне и вправду по душе. Вернуться бы сейчас да с собой ее взять...

— Да ты в своем уме, Иван?! — Прокофий даже коня остановил. — Племянница такого матерого бандюги... Ну и ну-у...

Шматко не ответил ничего, пришпорил коня. Далеко впереди синел Рыжкин лес, отдохнувшие и сытые лошади легко несли чекистов, хорошо, наверное, понимая, что возвращались домой...

Примерно через неделю лазутчики Вараввы выследили Наумовича: его отряд остановился на отдых в одном из глухих сел с унылым названием Пустошь. Чекисты, как донес Осипу и Безручко осведомитель, наловили в Богучарке рыбы, развели костры, ужинают. Многие уж завалились спать.

— Ну, Осип, пришел и наш черед, — потирал руки Безручко. — Посылай-ка за Вороном, нехай он потешится...

Гонец ускакал к Ворону, отряд его к утру должен быть в Пустоши, в условном месте у Лысой горы. А Варавва с Безручко засели за карту, тыкали в нее прокуренными, желтыми пальцами, спорили. Местность они знали и без карты, но Варавва хотел показать себя большим стратегом, стал рисовать стрелы и какие-то закорючки, кружки, говорить Безручко, мол, тут, Митрофан, надо все хорошо обмозговать и бить Наумовича наверняка. Безручко слушал Осипа вполуха, после хорошей выпивки и еды его клонило в сон, на всю эту вараввинскую стратегию и тактику он плевать хотел. Завтра, спозаранку, отряды их навалятся на чекиста Наумовича, только перья от него полетят. Главное, снять караулы, чтоб не подняли те шум, внезапно ударить со всех сторон. Перед внезапностью никакому Наумовичу не устоять, пусть он хоть из собственной шкуры выпрыгнет.

Варавва серчал на Безручко, втолковывал ему, что внезапность, конечно, хороший маневр, но у боя есть еще множество других факторов, их все надо учесть. Наумович — опытный и грамотный командир, на мякине его не проведешь.

— Та шо ты его расхваливаешь, Осип? — добродушно гудел Безручко. — Грамотный, опытный... Як шарахнемо на рассвете, в одних подштанниках и побежить.

Безручко живо представил, как бежит по утреннему

селу в одном исподнем ненавистный ему Наумович, а он, Митрофан, догоняет его на коне и заносит уже над его головой шашку. Потом решил, что это слишком легкая смерть для такого опасного чекиста, лучше разорвать его конями или четвертовать... Ладно, чего-нибудь они придумают с Вараввой, попался бы им Наумович живым.

Безручко широко зевал, вожделенно поглядывал на мягкую, приготовленную ему Дунькой постель, потом прилег, распустив на тугом животе ремень, делал вид, что по-прежнему внимательно слушает Варавву...

Снилась Митрофану свадьба: Дунька в белом подвенечном наряде, а рядом с нею — Ворон. За длинным столом полно гостей, жратвы и самогонки. Ворон обнимает Дуньку, жарко целует ее в губы, а обернувшись, принимает обличье... Наумовича.

Безручко охнул, проснулся в холодном поту, с бьющимся сердцем. Толкнул в бок храпящего на всю горницу Варавву:

— Осип! Чуешь? Ты хату зачинив? А то хто сь шастае тут.

Но Варавва не отозвался. Шевельнулся недовольно и продолжал спать.

Соединенными отрядами (набралось около двухсот человек) Безручко, Варавва и Ворон решили ударить по Наумовичу на рассвете следующего дня, наказав бойцам взять главного чекиста живьем. В успехе никто не сомневался — бойцов у Наумовича было не больше семидесяти, удар планировался внезапным, оружие у чекистов — винтовки да наганы.

Но на рассвете повстанцев встретил дружный пулеметный огонь, он косил их как осоку. Пустошь ощетинилась не менее дружным винтовочным огнем, в наступающих швыряли бомбы. Половина бойцов у Безручко полегла, повернули назад бойцы Вараввы, и сам он, раненный в руку, едва ускакал. Чекистов, когда они выскочили из-за домов и сараев на конях, оказалось гораздо больше, чем вечером, надо было спасаться. Ворон подскочил к растерявшемуся Безручко, приказал следовать за собой — он знает балочку, по которой можно еще уйти.

Безручко подчинился, тут уж было не до амбиций; заметно поредевшие отряды Ворона и Безручко скакали вместе по голой открытой степи, петляя как зайцы. Сзади, в Пустоши, шел еще бой, гремели выстрелы...

Только к вечеру, отмахав верст пятьдесят, не меньше, напрочь утомив коней, Ворон разрешил бойцам привал.

Те замертво валились с коней, многие засыпали. Ворон приказал Дегтяреву выставить караулы и боевое охранение, что Прокофий с удовольствием и исполнил, назначив в них только своих бойцов...

А ночью, у костров, спящих бандитов разоружали. И все же без стрельбы не обошлось — проснулся ординарец Безручко и, сообразив, что происходит, заорал дурным голосом, поднял панику...

Скоро все было кончено. В живых осталось девять человек, среди них и сам Безручко. Связанный Митрофан сидел на земле, из носа его текла кровь, а из припухших глаз — злые слезы.

— Обхитрив Ворон, вокруг пальца обвел! — всхлипывал он. — А я-то, дурак, поверив!.. И Дунька еще, зараза! «Не Ворон это, Голубь!» Стервятник он наипервейший, твой Голубь!..

Спустя время, уже утром, когда небольшую группу пленных повели к Богучару, Безручко жалостливым голосом попросил Шматко:

— Прикончи меня здесь, Иван. Все одно трибунал в живых не оставит.

— Нет, Безручко, перед народом ответишь! Перед теми, кого жизни лишал, мучил!.. Легкой смерти тебе не будет, не жди!..

Безручко повесил голову, шел, загребая непослушными ногами песок, корил себя: да что ж он, дурак такой, не видел, что ли, куда совал голову — в ловушку. Заманили его, як хоря глупого, прихлопнули. Все, Митрофан, прощайся с жизнью!..

Безручко, по щекам которого все еще текли слезы, поднял голову, огляделся: плелись впереди него так же понуро опустившие голову «бойцы», весело переговаривались сопровождавшие пленников всадники, а над близким уже Богучаром, над оврагами и блеснувшей полоской реки, на огромное голубое небо неторопливо и уверенно всходило солнце...

* * *

Шматко по-прежнему оставался Вороном, оставались еще живыми и активно действующими Варавва, Курочкин, Стрешнев... И потому в Журавку, к Якову Скибе, поехал Наумович. Якова он нашел быстро (тот копался у себя на огороде), объявил ему, что арестован за пособни-

чество бандитам. Скиба затрясся всем телом, завыл: пощади да прости! Силком же заставили, как тут не пособлять?! А хоть, так и тебе буду служить, дело привычное, гражданин следователь! Знаю, кого Сашка Конотопцев вербовал на соседних хуторах и на станции и кто в бандах был, но спрятался, затаился: вон Филька Стругов аж в Донбасс подался, там же и еще трое калитвянцев...

— Ну что ж, — Наумович раздумывал, хлопал рукоятью плетки по голенищу сапога. — Помоги, пожалуй, зачтется. А удрать вздумаешь...

— Да куды удирать, бог с тобой! Баба вон дохлая, и сам еле ползаю. Токо и силов, что шепнуть кому надо при случае. Ты не сумлевайся, гражданин следователь, я тебе этих бандюков, которые у Колесникова были, помогну поймать. Мы их с тобой як цыплаков в курятнике переловим...

— Мы с тобой! — усмехнулся Наумович. Но Скиба не понял иронии, не до того было, продолжал, радостно захлебываясь, торопясь:

— Вон зраау и берите тут, в Журавке, Степку Богачева да Ваську Навозпова. Кого б еще?.. Мыколу Перевозчикова, чи шо?

Яков сморщил маленький лоб в тугую гармошку, вспоминал, а Наумович по-прежнему брезгливо смотрел на него, на убогое жилище этого человечка, суетящегося у ног, вымаливающего себе послабление...

Он повернулся, пошел. Надо было ехать, ждали другие, важные дела.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

С правого, крутого берега Дона, с лобастых его меловых бугров радостно смотреть на неоглядную светлую даль, на зеленое родное великолепие полей и синюю широкую ленту реки, вдыхать смешанный аромат полевых цветов и трав, густыми волнами плывущий над землей, сознавать себя живым, здоровым, счастливым... Первозданная тишина и кажущийся покой, ослепительно-белые облака, отражающиеся в чуткой и нервной воде, летнее уже, горячее солнце, ласкающее округу щедрыми лучами, заливающее ярким светом горизонт — все это настроило Наумовича на философский лад. Он с полчаса уже, чуть в стороне от Вереникиной, хлопочущей у прибранной, в цветах, могилы Павла Карандеева, сидел на подвернув-

шемся гладком камне, лицом к остроконечному и простенькому обелиску и открывающемуся за ним простору, думал. Думал о мимолетности и вечности человеческой жизни, о суровой простоте ее неизбежного конца и предназначении человека на земле. Станислав Иванович и сам удивлялся этим мыслям: сегодня, в грустный и торжественный час памяти боевого товарища, они явились вдруг незваным, растревоженным роем, будоражили его душу, заставляли и на самого себя смотреть несколько иными, спрашивающими, что ли, глазами: а так ли жил? а все ли отдал делу?..

Решил, что жил и боролся за Советскую власть честно. Мог бы и он погибнуть в кровавой этой круговерти, свистели и над его головой пули. Нет вот в живых Николая Алексеевского, его одногодка, тяжело ранен Федор Макарчук, до сих пор в госпитале, мученической смертью погибли Паша Карандеев, Лида Соболева, Ваня Жиглов, ходила по краю пропасти Катя Вереникина... Они, молодые, отдали свои жизни без колебаний и страха, рисковали собой сознательно, знали, были убеждены, что так надо, нет иного пути. Он, Станислав Наумович, тоже выполнил бы любое поручение партии большевиков, да он, собственно, и выполнял их, просто ему повезло, остался в живых. А значит, будет продолжать дело погибших своих товарищей, защищать революцию, Советскую власть — самое дорогое, что есть у народа, то, что завоевано страданиями и кровью...

Наумович попытался представить себя в недалеком будущем, лет эдак через десять, и не смог. Знал, что десять лет — это слишком большой срок для его надорванного уже сердца. Годы работы в чека не прошли даром. Он пока никому не говорил о своей болезни, но знал об этом, слишком хорошо знал...

Наумович стал размышлять о тех людях, которые будут жить на этой вот земле после него — что это за люди явятся из небытия? Вспомнят ли они о нем, Паше Карандееве, Алексеевском? Будут ли продолжать их революционное дело с такой же страстью и убежденностью, не щадя жизни? Или то, будущее, время совсем не потребует от них жертв? Знать бы... Да и знать бы: кого вообще вспомнят, почему? Хотя каждый живущий на земле оставляет о себе память, добрую ли, худую, — своими делами, судьбой...

Когда Николай Алексеевский был председателем Воронежской губчека, они не раз встречались, спорили до

хрипоты о коммунизме, о человеке, который будет жить в том светлом обществе. У Николая были оригинальные мысли, свой собственный взгляд на вещи, вообще он смотрел на жизнь с какой-то особой гуманистической вершины, воспевал человека, ратовал за бескровные социальные реформы, демократию, мнение большинства... Милый дружище, революция преподнесла тебе суровый урок, заставила взять в руки оружие, защищать свои взгляды и убеждения, саму жизнь. Судьбе было угодно вчерашнего скромного гимназиста бросить в самое пекло революционной борьбы, в девятнадцать лет сделать председателем губчека, потом, через полгода, — Чрезвычайным комиссаром объединенных вооруженных сил губернии. Девятнадцать, всего девятнадцать лет было отпущено Николаю Алексеевскому, по восемнадцать — Лиде Соболевой и Ване Жиглову, двадцать два — Паше Карандееву. Да и Федору Мордовцеву было всего тридцать четыре... Молодые, очень молодые люди!

«Конечно, пройдет время, многие имена забудутся, — думал Наумович. — Не всем из нас удалось свершить в жизни что-то героическое, каждый выполнял свою работу как умел. Но — честное слово! — мы старались выполнять ее хорошо и изо всех сил. Мы верили в будущее, хотели, чтобы те, кто будет жить после нас, были бы счастливы...»

В этом месте своих размышлений Станислав Наумович одернул себя, сказав вслух, что это нескромно, что это все преждевременные мысли. Он сам еще очень молод, жив, хотя и не совсем здоров, и дел у него в чека невпроворот. Конечно, можно и подумать, и поразмышлять при случае, но лучше все-таки отодвинуть эти мысли на потом. Хотя чертовски же интересно заглянуть в будущее, спросить тех, будущих: а знаешь ли, что мы строили для тебя? Бережешь ли? Помнишь?

Удовлетворенно вздохнув, Наумович глянул на часы — ого, уже полдень! За мыслями прошли полчаса, не меньше. Мысленно прикоснувшись к теперь уже прошлым временам и делам, вывел, что мало в чем можем упрекнуть себя и своих товарищей — революции они отдали много, а некоторые из них — все.

И все же промелькнувшие в раздумьях и отдыхе полчаса председателю Павловской уездной чека Станиславу Наумовичу было жалко. Он был человеком дела, ценил каждую минуту.

Катя упросила его оставить на час-другой дела в Ма-

моне, съездить к могиле Павла. Наумович согласился, понимая, что потом это время придется наверстывать — забот все прибавлялось и прибавлялось. Позавчера на хуторе Бабарин среди бела дня переодетые в форму красноармейцев бандиты вырезали семерых коммунаров-первомайцев во главе с Тихоном Васильевичем Басовым. Бандиты были свои, местные, никто из погибших коммунаровцев не поднял шума, не встревожился — доверились мирно подошедшим людям, заговорили с ними...

Следовательский мозг Наумовича два этих последних дня напряженно работал в одном направлении: спрашивал — где могут прятаться остатки колесниковских банд, кто конкретно был на хуторе Бабарин, кто подсказал бандитам о коммуне Тихона Басова, первом коммунистическом ростке новой жизни в их волости? Кто?!

Наумович знал, что непросто будет найти, ухватить ниточку и размотать потом весь клубок страшного этого преступления. Многие еще боятся бандитов, боятся расправы. Конечно, многое с разгромом Колесникова изменилось и во всей губернии, и здесь, в уезде — банды попритихли, попрятались, но, судя по всему, не собираются без боя сдавать свои последние позиции: гибель коммунаров — кровавое тому доказательство. Пришлось отложить в Старой Калитве все дела, приехать сюда, в Мамон, отправиться на хутор Бабарин и снова, в который уже раз, слушать переворачивающие душу рыдания родственников погибших и почти на голом месте строить версии, предположения... Правда, ниточка, а точнее, надежда у чекистов все-таки была: бандитов видела девчонка, спрятавшаяся во дворе под перевернутой дырявой лодкой, но она буквально потеряла дар речи — все происходило на ее глазах... И заговорит ли еще бедное дитя?

Наумович поднялся, подошел к Вереникиной, стоявшей перед нежно-зеленым бугорком могилы Карандеева с отрешенным, печальным лицом. Катя — в темной жакетке, надетой поверх серенького, в мелких цветочках платья — глянула на него заплаканными, далекими какими-то глазами, сказала глухо:

— Паша, когда его привезли на Новую Мельницу, все беспокоился: передайте нашим, что честно помер, ничем Советскую власть не опозорил, не подвел... Это дед один, Сетряков, мне потом рассказывал. Чем-то ему Паша наш понравился. Кстати, Сетряков при штабе у Колесникова был, Станислав Иванович. Лиду Соболеву знал... — Она горько вздохнула, покачала головой: — Бедняга!

Вздохнул и Наумович, не сказал ничего. Нашел он в Старой Калитве деда этого, говорил с ним. Сетряков знает кое-что, но, кажется, запуган, помалкивает. Одно толкует: был при штабе Колесникова истопником, дальше печки не совался, так что... Но так ли это? Надо будет потом поговорить с ним еще, выяснить, уточнить. Случайно ли Павел именно его, Сетрякова, выбрал для разговоров? Не знает ли он, кто зарубил Соболеву? С чего началось восстание в Старой Калитве? Кто мутил народ, подбивал на мятеж? Много, много еще неясного. Те же Трофим Назарук, Кунахов и Прохоренко, старокалитвянские кулаки, в один голос утверждают, что вандею эту затеял в Калитве сам Иван Колесников, что они, зажиточные хозяева, вынуждены были подчиниться под угрозой оружия, помогать повстанцам лошадьми и фуражом, в душе же — всегда были и есть за народную Советскую власть... Хитрят, конечно, изворачиваются. Простые слобожане говорят об этих людях совсем другое, и придется еще покорпеть над страницами допросов, поломать голову над показаниями, ложными и правдивыми, найти истину, чтобы наказать зло по всей строгости и справедливости советских законов...

Был он и на хуторе Зеленый Яр, точнее, на том месте, что осталось от хутора. Помнил о последнем бое, в котором Маншин убил Колесникова, узнал потом, что Безручко, дав крюк и оторвавшись от преследования, вернулся на хутор и якобы велел спрятать тело Колесникова в одном из домов, в подвале. Домов теперь не было, хутор спалили по чьему-то приказу. Торчали лишь печные трубы да тянул в небо сухую деревянную шею колодезный журавель.

Наумович походил по пепелищу, потыкал сапогами в остывшие головешки. Возможно, где-то под ними зарыт и Колесников. Но как найдешь труп? Да и нужен ли он теперь? Банды разбиты, смерть Колесникова подтверждена несколькими очевидцами. Пусть лежит.

Месяц спустя, после сильных проливных дождей, Наумович снова оказался у бывшего хутора Зеленый Яр, проводил со своими помощниками следственный эксперимент. Пепелище не выглядело таким черным и мрачным, как в прошлый раз, но все же селиться здесь никто больше не захотел — одни лихие степные ветры хозяйничали в обгорелых трубах, буйствовал на бывших подворьях чертополох да выла где-то поблизости одичалая собака.

«От хорошего человека хоть бугорок земли остается,— подумал Наумович. — А так вот превратишься в чертополох да и сурепку...»

Станислав Иванович подошел к могиле Карандеева, поправил на обелиске простенькую жестяную звезду, долго смотрел на небольшую фотографию Павла.

— Место тут хорошее, правда, Станислав Иванович?— слабо улыбнулась Катя, отвлекла Наумовича от его мыслей. — Видно далеко. Смотрите, какая красота!

Они в грустном молчании постояли еще у могилы, тихонько потом пошли к ожидающей их бричке. Над головами чекистов по-прежнему блистал голубой летний день, ярко светило солнце и ничто, казалось, не напоминало о вчерашней жестокой, сотрясающей землю грозе с проливным дождем и ослепительными, рвущими тучи молниями — тишь и благодать кругом. Но над дальним урочищем громыхнуло вдруг тревожно и раскатисто, потянул низом холодный, порывистый ветер, запылил па белых донских берегах легкой меловой пылью...

1984—1987 гг.
Воронеж — Старая Калитва

Валерий Михайлович БАРАБАШОВ

БЕЛЫЙ КЛИНОК

Роман

Художник *Н. И. Дьяконова*
Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*
Технический редактор *О. И. Камышанова*
Корректор *И. А. Цеханова*

ИБ 3721

Сдано в набор 8.08.88. Подписано в печать 27.02.90. Г-24907.
Формат $84 \times 108/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарн. обыкн. новая.
Печать высокая. Печ. л. 11. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,48.
Уч.-изд. л. 20,28. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4/4384. Цена 1 р. 50 к.
Зак. 642.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова Степанова, дом 3.


3d


ВАЛЕРИЙ БАРАБАШОВ
БЕЛЫЙ КЛИНОК
ВП